

Норберт Винер



Бывший
вч#де рки#д

R&C
Dynamics

E X - P R O D I G Y

MY CHILDHOOD AND YOUTH

by

N O R B E R T W I E N E R

Simon and Schuster, New York, 1953

НОРБЕРТ ВИНЕР

**БЫВШИЙ ВУНДЕРКИНД
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ**

Перевод с английского Л. В. Руд

R&C
Динамика

РХД
Москва • Ижевск

2001

УДК 92

Интернет-магазин
MATHESIS

<http://shop.rcd.ru>

Интересующие Вас книги, выпускаемые нашим издательством, дешевле и быстрее всего приобрести через интернет-магазин. Регистрация в магазине позволит Вам

- приобретать книги по наиболее низким ценам;
- подписаться на регулярную рассылку сообщений о новых книгах;
- самое быстрое приобретение новых книг до поступления их в магазины.

Только в нашем интернет-магазине Вы можете эксклюзивно заказывать закончившиеся и ранее вышедшие книги.

Винер Н.

Бывший вундеркинд. Детство и юность. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, 272 стр.

В книге «Бывший вундеркинд» создатель кибернетики Норберт Винер рассказывает о своих первых шагах в математике и жизни. Эта книга приобрела огромную популярность за рубежом и спустя почти 50 лет переведена на русский язык.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей математики.

ISBN 5-93972-048-X

© Перевод на русский язык,
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001

<http://rcd.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	7
Предисловие	9
Введение	11
I. Русский ирландец в Канзас Сити	14
II. Настоящие жители Миссури	27
III. Первые воспоминания	34
IV. Из Кембриджа в Кембридж через Нью-Йорк и Вену. Июнь – сентябрь, 1901	48
V. В поте лица своего. Кембридж, сентябрь, 1901 – сентябрь, 1903	57
VI. Забавы вундеркинда	74
VII. Дитя среди подростков. Айерская средняя школа, 1903–1906	86
VIII. Учащийся колледжа в коротких штанишках. Сентябрь, 1906 – июнь, 1909	95
IX. Не ребенок, но и не юноша	106
X. Не на своем месте. Гарвард, 1909–1910	116
XI. Лишенный наследства. Корнелл, 1910–1911	131
XII. Проблемы и смятение. Лето, 1911	143
XIII. Философ вопреки самому себе. Гарвард, 1911–1913	149
XIV. Освобождение. Кембридж, июнь, 1913 – апрель, 1914	162
XV. Путешествующий студент во время войны. 1914–1915	182

XVI. Испытание: преподавательская деятельность в Гарварде и университете в штате Мэн. 1915–1917	201
XVII. Срыв планов, литературная поденщина и война с логарифмической линейкой в руках. 1917–1919	217
XVIII. Возвращение к математике	231
Эпилог	251

ОБ АВТОРЕ

У широкой публики имя Норберта Винера почти всецело ассоциируется со словом и наукой «Кибернетика», которая обязана своим существованием изобретательному уму и творческому воображению профессора Винера. Это наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации как в человеке, так и в машине. Впервые эта наука была представлена в книге в 1948 году под названием «Кибернетика», адресованной миру науки. В 1950 году появилась одна из наиболее популярных книг профессора Винера, посвященная этой же теме, под названием «Использование людей людьми».

Сын известного гарвардского профессора, д-р Винер почти всю свою жизнь провел в научном мире, лишь временами совершая небольшие экскурсии в литературу, деловой мир и даже в мир военных. Некоторые из таких событий описаны в этой книге. В последние годы жизни д-р Винер работал профессором математики в Массачусетском технологическом институте.

МОЕЙ ЖЕНЕ
*Под чьей ненавязчивой опекой
я впервые познал свободу*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор выражает свою признательность за оказанную ему многими людьми помощь при написании этой книги. Прежде всего, большая часть первого варианта этой книги была продиктована моей жене в Европе и Мексике в 1951 году в таких разных местах, как Мадрид, Сент-Жан де Луз, Париж, Тонон-ле-Бэн, Гэрнавака и Мехико Сити. В Мексике мисс Концерцион Ромеро из Государственного кардиологического института помогла мне перепечатать исправленную и дополненную версию. И наконец, в Массачусетском технологическом институте миссис Джордж Болдуин, мой секретарь, проявила огромное терпение по отношению ко мне в течение продолжительной работы по исправлению и отбору материала, что было так необходимо для создания окончательного варианта. Огромная помощь была оказана мне при заключительном печатании книги мисс Маргарет ФицГиббон, мисс Салли Старк и мисс Катарин Тайлер из технологического института, Массачусетс. Поскольку эта книга полностью писалась под диктовку, помощь, полученная мною от разных людей, выполнивших секретарскую работу, является жизненно важным и конструктивным вкладом в ее создание.

Я показал свою книгу многим друзьям и хочу поблагодарить их за данный ими подробный критический анализ и их положительные и отрицательные отзывы и предложения. Наряду с моей женой, которая работала вместе со мной на протяжении всего времени создания книги, я хочу упомянуть д-ра Марселя Моннье из Женевы; мистера Ф. В. Морли и Сэра Стэнли Унвина из Лондона; д-ра Артуро Розенблюта из Государственного кардиологического института в Мехико Сити, д-ра Морица Шафеца и д-ра Уильяма Ошера, также временно работавших в этом институте; д-ра Дану Л. Фарнсворт, декана Ф. Г. Фассета, мл., профессоров Хорхио де Сантьяна, Карла Дойча, Артура Манна и Элтинга И. Морисона из технологического института, Массачусетс; профессоров Оскара Хандлина и Гарри Вулфсона из Гарвардского университета; и д-ра Дженет Риош из Нью-Йорка. Из всех

этих людей мне особенно хотелось выделить профессора Дойча, который дал подробную критическую оценку моей работы, чего я совсем не ожидал от друга, который вызвался прочесть книгу.

В издательстве Саймона и Шустера, мистер Генри У. Саймон осуществил представление этой книги в прессе. Мне хотелось бы выразить мою особую благодарность за его существенные критические замечания и комментарии.

Кембридж, Массачусетс
Июнь, 1952

Норберт Винер

ВВЕДЕНИЕ

Как станет видно из моего повествования, был период, когда я был тем, кого называют вундеркинд, в полном смысле этого слова, поскольку до двенадцати лет я поступил в колледж, мне не было еще пятнадцати, когда я получил степень бакалавра, и мне еще не исполнилось девятнадцать, когда мне присвоили степень доктора. И все же любой человек, достигший пятидесяти семилетнего возраста, вне сомнений, вундеркиндом более не является; и если он достиг чего-то в своей жизни, каким бы явным вундеркиндом он ни был, важность этого факта теряется полностью в свете более крупных успехов или неудач его более поздней жизни.

И все же данная книга не является попыткой дать оценку всей моей жизни как радостной или горестной. Скорее она является исследованием некоего периода, в течение которого я прошел достаточно необычный и ранний курс образования, и за которым последовал другой период, когда стало возможным, что неуравновешенность и нестандартность, столь сильно выраженные в моем характере, переплелись во мне таким образом, что я смог рассматривать себя готовым как для осуществления карьеры ученого, так и для реализации себя в качестве гражданина мира.

Чудо-ребенок или вундеркинд — это ребенок, который достиг значительного уровня интеллектуального развития, присущего взрослому, не выйдя из возраста, обычно посвящаемого образованию в средней школе. Слово «вундеркинд» нельзя интерпретировать как причину для гордости за успех или для сетования на неудачу.

Говоря о вундеркиндах, мы вспоминаем о людях подобных, Джону Стюарту Миллю и Блезу Паскалю, которые преодолели переходный период от раннего развития в юношестве к успешной взрослой карьере, или о их противоположностях, посчитавших, что они слишком своеобразны, чтобы осуществить такой переход. Тем не менее, в самом слове нет ничего, что могло бы ограничивать нас лишь этими двумя противоположными случаями. Вполне возможно, что после проявлений раннего развития, ребенок может обрести место в жизни, где для него успех будет выражаться гораздо сдержаннее, нежели покорение Олимпа.

Причина того, что чудо-дети обычно рассматриваются с позиции огромной неудачи или же огромного успеха, кроется в том, что в какой-то мере они представляют собою редкие явления, известные людям лишь по слухам; именно поэтому широкой публике известны лишь те, чья «жизнь поучительна или же может стать украшением любой байки». Именно трагедия, порождаемая неудачей многообещающего юноши, делает его жизнь интересной для читателя; и всем нам знакомо очарование истории, повествующей об успехе. И напротив, история о скромном успехе человека, детство которого было сенсационно многообещающим, не вызывает подъема чувств и не заслуживает всеобщего внимания.

Такое диаметрально противоположное отношение к ребенку-вундеркинду я рассматриваю как ошибочное и неоправданное. Кроме того, что оно неоправдано, оно еще и несправедливо. Поскольку история о скромных успехах бывшего вундеркинда вызывает в читателе ощущение разочарования, это ведет к тому, что сам вундеркинд начинает в себе сомневаться, что может привести к катастрофе. И необходимо обладать чрезвычайно сильным характером, чтобы достойно сойти с пьедестала вундеркинда на более скромные подмостки обычного преподавателя или же способного, но все же ничем не выдающегося научного работника лаборатории. Таким образом, ребенок-вундеркинд, который на самом деле не имеет какой-либо особенной нравственной силы, вынужден стремиться сделать успешную карьеру в широком масштабе, и за это свое желание он считает себя скорее неудачником, и в итоге становится им.

Сентиментальность, присущая взрослому в отношении к переживаниям ребенка, никоим образом не раскрывает истинного отношения ребенка к самому себе. Взрослый находит милым и правильным, если ребенок смущается и теряется в мире взрослых, окружающих его; однако такие переживания самому ребенку представляются далеко не самыми приятными. Быть погруженным в мир, который он не способен понять, означает страдать от чувства собственной неполноценности, и для него такое состояние лишено какого-либо шарма. Возможно взрослых забавляет, когда они наблюдают за тем, как он барахтается в мире, лишь наполовину понятном ему. И еще более неприятно для ребенка осознание того, что, по сравнению со взрослым в тех же самых обстоятельствах, он не в силах совладать с окружающим его миром, поскольку для него он слишком сложен.

Наш век отделен от викторианской эпохи многочисленными переменами и событиями, и то, что между этими двумя эпохами жил и работал Зигмунд Фрейд, сыграло настолько заметную роль, что в наши дни ни-

кто не станет писать книгу, не приняв во внимание его идеи. Существует великий соблазн написать автобиографию, используя терминологию Фрейда, особенно, если большая часть такой книги посвящена самой что ни на есть фрейдистской теме: конфликту между сыном и отцом. Тем не менее, я постараюсь избежать его терминологии. Я не считаю, что работа Фрейда настолько совершенна, что мы должны сковывать наши идеи рамками терминов, присущих тому, что является нечем иным, как современной фазой быстро развивающегося предмета. И все же я не могу отрицать, что Фрейд совершил переворот в сознании людей и явил свету огромную популяцию бледных и страдающих светобоязнь на эмоциональном уровне существ, трусливо прячущихся в своих норках. Я не принимаю все фрейдистские догмы в качестве несомненной истины. Я не считаю современную моду на эмоциональный стриптиз совершенно полезной вещью. Но пусть читатель не впадает в заблуждение: сходство многих идей этой книги с определенными понятиями Фрейда не является всего лишь случайностью; и если читатель обнаружит, что он может перевести все мои утверждения на язык Фрейда, он должен знать и то, что я сознаю возможность такого изложения и отказался сделать это намеренно.

I

РУССКИЙ ИРЛАНДЕЦ В КАНЗАС СИТИ

Относительно научного мира в первом десятилетии этого столетия у меня сложилось впечатление, что он напряженно-деятельный, и я многое узнал о нем еще ребенком, сидя под рабочим столом моего отца, слушая его беседы с друзьями о превратностях того времени и о событиях, случившихся во все времена. Будучи ребенком, я впитывал в себя истинное понимание многих вещей, и моя детская точка зрения не лишена некоего смысла. Те из нас, кто сделал науку своей карьерой, зачастую могут вытащить из своего детства разорванные и не связанные ни с чем воспоминания, охватывающие многое из того, что мы не понимали в то время, когда эти сведения поступали к нам, и выстроить их в организованную и убедительную структуру.

Сегодня все мы повзрослели и живем в веке, который, может, и является веком утрат и упадка, но это также и век новых начинаний. И в этих начинаниях большая часть принадлежит ученому, а точнее, математику. Я был их свидетелем и их участником. Таким образом, я могу говорить о них не только с пониманием как участник, но, надеюсь, имею право и на выражение некоторых нормативных суждений в качестве объективного критика.

Часть моей работы, возбуждая величайший интерес и любопытство публики, касается того, что я называю кибернетика или наука о процессах управления и передачи информации, где бы они ни происходили, в машинах ли, или в живых организмах. Мне выпал приятный жребий поведать кое-что об этом предмете. Это была не просто догадка, зародившаяся в какой-то момент. Эта идея корнями уходит глубоко как в историю моего собственного развития, так и в историю науки. Исторически она берет свое начало из учений Лейбница, Бэббиджа, Максвелла и Гиббса. Во мне эта идея проросла из того немногого, что я знал об этих ученых, и из того возбуждения ума, которое было вызвано этими знаниями. Поэтому, вероятно, отчет о возникновении моей предрасположенности к этим идеям и о том, как я пришел к тому, чтобы посчитать их значительными, представит интерес для тех, кому еще предстоит пойти по моему пути.

Насколько мне известно, по происхождению я на семь восьмых еврей, и одну восьмую, вероятно, составляет мой далекий предок по материнской линии, который был немецким лютеранином. Из-за того, что я имею еврейское происхождение, мне не раз приходилось обращаться к евреям и иудаизму. Поскольку ни я, ни мой отец, ни, насколько мне известно, его отец не были последователями еврейской религии, я должен пояснить то значение, в каком я имею тенденцию использовать слово «еврей» и все происходящие от него слова такие, как «иудаизм» и «нееврей», получившие свое определение на основе значения корневого слова.

Евреи представляются мне, в первую очередь, как община и социальная группа, хотя большая их часть — это верующие. Тем не менее, когда религия стала менее препятствовать проникновению окружающего общества в их жизнь, а окружающее общество пошло навстречу такому взаимопроникновению, в жизни тех, кто привержен религии, по-прежнему сохраняются факторы, являющиеся продолжением в большей или меньшей степени изначальных религиозных устоев. Структура еврейской семьи более закрытая по сравнению со средней европейской семьей и еще более закрытая, нежели американская. Приходится ли евреям сталкиваться с религиозными или расовыми предубеждениями или просто с предубеждениями против меньшинств, в любом случае им приходится иметь дело с враждебными по отношению к ним предубеждениями, и если даже во многих случаях эта враждебность исчезает, евреи хорошо помнят о ней, и это изменило их психологию и их отношение к жизни. Когда я говорю о евреях и о себе как о еврее, я просто констатирую тот исторический факт, что я родом из тех, кто принадлежит некоему обществу, имеющему определенные традиции и совокупность отношений как религиозных, так и светских, и что я должен сознавать, каким образом я сам и те, что окружают меня, обусловлены самим существованием этой совокупности отношений. Я ничего не говорю о национальности, поскольку совершенно очевидно, что евреи берут свое начало из смеси различных национальностей, и во многих случаях вновь поглощаются какой-то очередной смесью. Я ничего не говорю о сионизме и других формах еврейского национализма, поскольку еврейская нация намного древнее, чем любое из движений подобного рода, и представляет собою нечто большее, чем ритуальные конвенции, и, вполне вероятно, продолжит свое существование даже тогда, когда новое государство Израиль не устоит или отступит перед другими проявлениями национализма. Я не претендую на то, чтобы определить нормативную ценность языка или религии, расы или национальности и чего-то еще. Я имею в виду только то, что

я сам и многие из тех, кто вокруг меня, являемся выходцами из того мира, в котором знание о нашем еврейском происхождении имеет значение для нашего собственного понимания того, кто мы есть, а также для правильной ориентации в мире вокруг нас.

По линии моего отца, Лео Винера, сохранилось мало документов, и большая часть их не может быть восстановлена. В основном это из-за того, что нацисты разграбили русский город Белосток во время второй мировой войны. В этом городе родился мой отец. Говорят, что мой дедушка утратил бумаги, касающиеся семейной родословной, при пожаре, когда сгорел дом, в котором он жил, хотя, на самом деле, из того, что я слышал о нем, могу сказать, что он мог потерять эти документы и в более спокойные времена. Как я отмечу позже, традиционно принято считать, что мы происходим от Моисея Маймонида (Моше бен Маймон), еврейского философа из Кордовы и личного врача визиря египетского царя Саладина. Хотя я являюсь лишь очень дальним кровным родственником своих предков, которые существовали семь столетий назад, мне бы хотелось верить, что наша семейная легенда является истинной, потому что я предпочел бы иметь в качестве предка Маймонида, философа, кодификатора талмудического закона, врача, делового человека, нежели кого-либо другого из большинства его современников. Едва ли это прилично заявлять, что являешься потомком средневекового монаха, если принять во внимание, что тогда в западном христианском мире именно монахи, и только они, относились к категории мыслителей. Но все же боюсь, что, поскольку минуло так много лет, наша предполагаемая родословная является лишь легендой, имеющей под собою весьма шаткое основание, и вероятно, она зиждется лишь на небольшой примеси сефардской крови, которая была впрыснута в наши вены в одну из эпох.

Следующая выдающаяся личность, более, чем наверняка, принадлежащая нашему роду и которая гораздо менее привлекательна для меня, — это Акиба Эгер, великий раввин Позена с 1815 по 1837 год. Подобно Маймониду, он был признан одним из величайших специалистов по Талмуду, но в отличие от Маймонида, он противостоял мирскому образованию, проникшему в иудаизм благодаря таким людям, как Мендельсон. Словом, я испытываю удовольствие от того, что мне не довелось жить в его время, и от того, что он не живет в мое.

Мой отец поведал мне о том, что одна линия нашей родословной восходит к семье издателей иерусалимского талмуда, проживавших в Кротошине в 1866. Я не знаю точно, какой была их родственная связь с моим дедушкой,

Соломоном Винером. Своего дедушку я видел лишь однажды в Нью-Йорке, будучи еще совсем ребенком, и он не произвел на меня какого-либо особенного впечатления. Я полагаю, что он был журналистом какого-то научного журнала и человеком совершенно безответственным, не сумевшим сохранить даже собственную семью. Он родился в Кротошине, но женившись, поселился в Белостоке, где в 1862 году родился мой отец. И все же он сделал одну вещь, оказавшую, хотя и опосредованно, огромное влияние на мою жизнь: он попытался заместить идиш, на котором говорили в его обществе, литературным немецким языком. Преуспев в этом, он приложил все усилия для того, чтобы немецкий стал родным языком для моего отца.

Мать моего отца вышла из семьи белостокских еврейских кожевников. Мне говорили, что в былые времена они были почетными гражданами России. Для еврея это было своего рода дворянской грамотой. Когда, к примеру, Царь прибыл в Белосток, в качестве места для его проживания был выбран дом, принадлежавший семье моей бабушки. Так что их семейная традиция несколько иная, нежели традиция образования моего дедушки. Я подозреваю, что именно сильные деловые качества моего отца дали ему возможность прочно встать на ноги в жизни; и несмотря на то, что он был энтузиастом и идеалистом, он прочно стоял на земле и всегда с большим тщанием относился к обязательствам перед семьей.

Позвольте мне здесь вставить пару слов о структуре еврейской семьи, которая имеет прямое отношение к еврейской традиции образования. Во все времена молодой образованный человек, особенно раввин, не взирая на тот факт, обладал ли он хоть на йоту практическим умом, а также имел ли способности для того, чтобы сделать в жизни хорошую карьеру, всегда представлял собою хорошую партию для дочери богатого торговца. С биологической точки зрения это привело к ситуации, которая резко контрастировала с той, что наблюдалась в христианском мире более ранних времен. В западных христианских странах церковь прибирала к рукам образованного человека, и предполагалось, что, несмотря на то обстоятельство, есть у него дети или нет, став служителем церкви, иметь детей он не имел права, и в действительности он оказывался менее плодovit, нежели кто-либо из его окружения. Еврейскому же ученому, наоборот, положено было иметь большую семью. Таким образом, биологический уклад христиан вел к вырождению каких бы то ни было присущих нации наследственных качеств в сфере образования, в то время как биологический уклад евреев вел к приумножению этих качеств. В какой мере это генетическое различие усилило культурную склонность к образованию среди евреев, сказать трудно. Однако

нет причины полагать, что генетический фактор не имеет значения. Я обсуждал данный вопрос с моим другом, профессором Дж. Б. С. Холдейном, и он определенно придерживался того же мнения. И кроме всего прочего, вполне вероятно, что выражая это мнение, я просто представляю здесь идею, позаимствованную у профессора Холдейна.

Возвращаясь к моей бабушке, хочу еще раз отметить то, что она получила очень незначительную помощь от моего дедушки на протяжении всей жизни, и молодой семье пришлось быстро повзрослеть, чтобы зарабатывать на проживание. Тринадцатилетие — это по еврейским обычаям критический возраст, поскольку именно в этом возрасте мальчик допускается к участию в религиозной общине. В целом, присущее нашей западной культуре продление юношества на тот период, пока происходит обучение в старших классах средней школы и в колледже, совершенно чуждо иудаизму. С момента вступления еврейского мальчика в юношеский возраст ему даруются достоинство и ответственность мужчины. Мой отец, будучи не по годам интеллектуально развитым ребенком, начал содержать себя в возрасте тринадцати лет, давая уроки своим одноклассникам. В то время он уже говорил на нескольких языках. На немецком говорила его семья, а русский был официальным государственным языком. Роль немецкого языка в его жизни была усилена тем обстоятельством, что, поскольку дедушка питал пристрастие к этому языку, мой отец посещал лютеранскую школу. Французский он выучил в силу того, что в образованном обществе пользовались этим языком; а в восточной Европе, особенно в Польше, все еще жили люди, приверженные Ренессансу, и он пользовался итальянским для поддержания вежливой беседы. Более того, очень скоро отец уехал из Минской гимназии, чтобы обучаться в Варшаве, где занятия велись на русском языке, хотя со своими товарищами по играм он говорил на польском.

У отца всегда были близкие отношения с его польскими одноклассниками. Он рассказывал мне, что, насколько ему известно, он был единственным не-поляком в то время, которого причисляли к подпольному польскому движению сопротивления и посвящали во все его тайны. Будучи учащимся Варшавской гимназии, он был современником Л. Заменгофа, создателя эсперанто, и хотя они учились в разных гимназиях, мой отец был одним из первых, кто изучал этот новый искусственный язык.

Позднее это придало вес его заявлению против притязаний этого языка, а также всех других искусственных языков. Он утверждал, и я полагаю, совершенно справедливо, что к тому времени, как сложится достаточная традиция использования искусственного языка, позволяющая передавать

так же точно, как посредством существующих естественных языков мысли и эмоции, необходимо будет развить и пласт идиоматической структуры, равной той, что присуща его естественным конкурентам. Фундаментальная идея отца состояла в том, что в весьма значительной мере языковая трудность отражает ту мысль, которая, появившись, создала традицию применения этой языковой трудности, и что английский язык так же нуждается в своих идиомах для выражения сложных идей, как письменный японский (в котором каждое слово может быть выражено его фонетическими знаками) нуждается в китайских иероглифах для краткости написания. Отец всегда считал Бейсик Инглиш¹ скорее испорченным, нежели упрощенным. Ни один из языков, имеющих адекватные идиомы для сжатого выражения сложных идей, по его словам, не способен служить в качестве легкого средства для выражения беспристрастности между конкурирующими культурами.

После окончания гимназии мой отец поступил в медицинскую школу при Варшавском университете. Смею заметить, что по крайней мере, часть его мотива была общепринятой в еврейских семьях, обычно стремящихся к тому, чтобы один из сыновей получил профессиональное образование, и, если возможно, образование врача. Этот мотив является сильным и вполне понятным для социальной группы, которая долго недооценивалась в обществе. И только Господь ведаёт, какое количество лишённых права проносить проповеди раввинов, неудовлетворённых адвокатов и врачей, не имеющих практики, произвел на свет этот мотив.

В любом случае, мой отец очень скоро обнаружил, что у него нет особой склонности к тому, чтобы стать врачом. Занятия по анатомированию, а также, как я подозреваю, грубость однокурсников, порождаемая желанием скрыть собственную слабость, вызывали в нем отвращение. Так или иначе, вскоре он покинул Варшаву с целью поступить в Политехнический колледж, находившийся в то время в Берлине, и который в данное время уже в течение нескольких лет находится в Карлсруэ.

Отец приехал в Берлин, имея отличное второе образование. В гимназии, где он обучался, в отличие от реальных гимназий и реальных училищ, особое внимание уделялось классическому образованию, и отец имел прекрасные познания в латинском и греческом языках. Однако, в гимназии уделялось внимание и обучению математике. Отец на всю жизнь остался любителем математики и время от времени вносил свой вклад в ничем

¹Basic English — упрощённый английский (*англ.*).

непримечательные американские математические журналы, так что лишь тогда, когда я начал свою работу, что произошло в последние годы моего пребывания в колледже и на последнем курсе перед моим выпуском, я стал ощущать, что во многом обогнал отца.

Я так и не знаю, был ли отец многообещающим инженером или все же многообещающим врачом. Он очень мало рассказывал мне о том времени своей жизни, за исключением того, что в то время он умеренно потреблял пиво, сигары и мясные пирожки, как и любой другой бедный еврейский студент. И я точно знаю, что он работал в чертежной между занятиями по сербскому и греческому, пополняя свой лингвистический запас еще и этими двумя языками.

В Берлине у моего отца были богатые родственники. Они были банкирами, работающими в тесном сотрудничестве с банком Мендельсона, сохранив традиции, уходящие корнями к Мозесу Мендельсону, жившему в восемнадцатом веке. Они пытались уговорить отца присоединиться к ним и стать банкиром, но ему не нравилась размеренная жизнь, его всего еще мучила жажда приключений.

Однажды ему случилось присутствовать на студенческой встрече гуманитарного характера. Речи пробудили в нем толстовца, кем в душе он был с незапамятных времен, и он решил до конца дней своих отказаться от алкоголя, табака и мяса. Это его решение, несомненно, повлекло за собой следствия, оказавшие важное влияние на мое будущее. Прежде всего, не прими отец такое решение, он никогда бы не отправился в Соединенные Штаты, никогда бы не встретился с моей матерью, и эта книга никогда не была бы написана. Тем не менее, справедливости ради, допуская, что все шло своим чередом, надо заметить, что в любом случае меня не воспитывали как вегетарианца, и мне не пришлось жить в доме, напичканном тракатами вегетарианцев о жестоком обращении с животными, от которых ужас охватывал душу и волосы поднимались дыбом, и меня не заставляли следовать по стопам отца в том, что касалось данных вопросов.

Все это лишь рассуждения. А дело заключается в том, что отец вместе со своим однокурсником действительно предпринял совершенно дикое путешествие для того, чтобы найти вегетарианское гуманитарное социалистическое общество в Центральной Америке. Его компаньон передумал, и отец оказался в одиночестве на борту судна, направляющегося в Хартлпул, после того, как он предъявил озадаченному служащему свое удостоверение об окончании русской школы вместо немецких личных бумаг военнообязанного, которые он должен был иметь. Проехав через всю Англию до Ли-

верпуля, он вновь сел на пароход, направляясь в Гавану и Новый Орлеан. Это путешествие заняло две недели, в течение которых отец познакомился с основами испанского и английского языков. Мне говорили, что он изучал английский в основном по пьесам Шекспира. Должно быть, на людей, с которыми он встретился на пристани в Новом Орлеане, его речь, достаточно беглая, но усеянная архаичными словами, произвела достаточно странное впечатление. Поскольку опрометчивое желание найти какое-то общество в Центральной Америке изжило себя, отцу ничего не оставалось, кроме как отправиться в Соединенные Штаты, чтобы начать делать свою жизненную карьеру.

Сейчас, когда я пишу эту книгу, передо мной лежит копия ряда статей, озаглавленных «Опавшие листья моей жизни» («Stray Leaves from My Life»), написанные отцом весной 1910 года для Бостонского Транскрипта — милого, скучного, цивилизованного старого Транскрипта! Когда я осознал, что они были написаны им, когда он был моложе на десять лет, чем я теперь, я испытал шок. Они рассказывали о его юношеских годах и образовании в Европе, о его путешествии в Америку и о его жизни здесь до тех пор, пока он не сделал успешную научную карьеру в университете Миссури. Его статьи наполнены романтической радостью бытия и безрассудным равнодушием к бедности и трудностям, столь характерными для жизнерадостного молодого человека, особенно, если он только что вырвался из жестких лап дисциплины европейской общеобразовательной школы. Dans un grenier, qu'on est bien a vingt ans!¹

Покинувший родину американец, сознательно ищущий богемных удовольствий, обычно плохо бывает подготовлен к такому переживанию и не сознает его реальной значимости для молодого европейца. Его не вынуждали подчиняться жесткой дисциплине, которая является неотъемлемой частью французского лицея, немецкой гимназии и английской привилегированной частной школы. Он не жаждет всей душой, чтобы ему дали время на свободное развитие между неволей во время обучения и более жестким порабощением, когда он начинает зарабатывать на жизнь в этом мире жесткой конкуренции. Для него богемная жизнь — это просто расхлябанный образ жизни, накладываемый на знакомый ему жизненный стиль, где практически не было дисциплины, и получение образования не требовало большого напряжения. И хуже того, это такой расхлябанный образ жизни, когда он освобождает себя от всех требований и норм американского

¹В двадцать лет жизнь прекрасна и на чердаке! (*фр.*)

общества, а также не принимает их и в отношении страны, в которой оказывается. И счастлив он, если сможет противостоять пьянству и не поддастся полностью страстям и праздности.

Напротив, европейский юноша, и особенно европейский юноша последнего столетия, должен был прорвать действенный, жесткий традиционный кокон образования и попробовать себя в свободном полете. И если он попробовал сделать это, участвуя в сдержанных увеселениях Оксфорда и Кембриджа или проводя время с такими же, как он, юнцами за кружкой пива, сдобренной веселой песенкой в немецком университете или в мансардах Quartier Latin¹, это имело мало значения. Странствовать в неизведанных краях было наивысшим утверждением молодости и свободы, а в то время Соединенные Штаты представляли собою неизведанный край.

Таким образом, простодушный рассказ отца написан в истинном и чисто американском духе, обнаруживаемом у Марка Твена и Брета Гарта. Дух этот являет собою квинтэссенцию молодости, храбрости и приключения, видимых сквозь розовые очки. В нем явственно ощущается пыль южных дорог и запах только что вспаханной борозды на канзасской ферме, и слышится шум жестокого западного города и пронизывающего ветра, дующего с вершин Сьерры. И через все это проходит худошавая фигурка моего отца, в очках и готового к действию, живо реагирующего на все странное и удивительное, живущего в полной мере новой жизнью, теряющего и вновь находящего работу, не задумывающегося о завтрашнем дне и испытывающего восхищение от такого времяпрепровождения.

Он был маленького роста, около пяти футов и двух дюймов, очень подвижным, и это был человек, производящий сильное и недвусмысленное впечатление на каждого, кто видел его. Его плечи и грудь были как у атлета, у него были узкие бедра и стройные ноги, и в те далекие дни ему также была присуща энергичность спортсмена. Его темные глаза сверкали за толстыми стеклами очков, выдавая яркость и остроту ума. Его волосы и усы были черными, и оставались таковыми до сорокалетнего возраста, а его лицо было лицом аскета. Будучи любителем пеших и велосипедных прогулок, он часто водил группы молодых людей на экскурсии по стране; я все еще помню фотографию группы молодых людей, среди которых он стоял рядом с велосипедом старого производства с огромными колесами.

У него был резкий и исполненный решимости голос, он великолепно владел английским, впрочем, как и всеми другими языками, на которых

¹Латинский Квартал (*фр.*).

он говорил. Мне говорят, что у него был сильный иностранный акцент, но поскольку я часто слышал его, то не замечал этого, и мне казалось, что его иностранный акцент в английском выражался в большей мере в его чрезмерно четкой дикции и в тщательном подборе слов, нежели в чем-то другом.

Он был живым, обворожительным и интересным собеседником, хотя из-за сильного ума и напористости ему было сложно ограничивать свою долю участия в беседе. Зачастую он выражался великолепными афоризмами, а не просто сводил беседу к обмену мнениями, и это было наилучшим способом заставить собеседника высказаться. Он был нетерпим к дуракам, и я боюсь, что обладая столь острым умом, многих людей он считал дураками. Он был добр к студентам, и они любили его, но также мог подавлять: будучи очень сильной личностью, он физически не мог сдерживать свой напор.

Он с воодушевлением работал на ферме и любил проводить время на открытом воздухе, был неутомим в прогулках пешком. Он был склонен навязывать свои интересы и предпочтения людям, окружавшим его, не сознавая того, что многие из них с большим удовольствием разделяли бы его интересы, если бы не было этого явного навязывания. Собирать грибы, которые считались вполне пригодными для употребления в пищу, и готовить из них блюда было одним из его любимых увлечений. Вероятно, то, что всегда присутствовал бесконечно малый шанс случайно съесть ядовитый гриб, придавал особую пикантность этому увлечению.

Ему было восемнадцать, когда в 1880 году он приехал в Новый Орлеан с пятьюдесятью центами в кармане. Большая часть этих денег была тут же истрачена на обеды, состоящие из бананов, и он был вынужден заняться поиском работы. Его первой работой была укладка хлопка в тюки с помощью гидравлического пресса на фабрике. Однако, когда один из товарищей по работе свалился под пресс и был сильно покалечен, отец потерял интерес к этой работе. Затем он работал в качестве разносчика воды на строительстве железной дороги через озеро Пончартрейн. Он потерял эту работу из-за неуклюжести, присущей юноше, не знакомому с ручным трудом. Затем был период бесцельного бродяжничества по отдаленным местам Юга в компании с одним или двумя такими же, как он, молодыми людьми, после чего наступил период фермерства во Флориде и Канзасе. Наверное, нет более воодушевленного фермера, чем еврей, который решил взять плуг в руки. До самого последнего дня своей жизни он, вероятно, испытывал большее удовольствие от того, что ему удавалось

выращивать более хороший урожай, нежели его соседу — профессиональному фермеру, чем от самого великого открытия, сделанного им в области филологии.

В один из периодов своей фермерской деятельности отец наткнулся на остатки старого общества фурийеров в Миссури. Оно вырождалось, и все более умелые члены покинули его, остались лишь отшельники, бесполезные и некомпетентные идеалисты. Очень скоро отец пресытился всем этим, и хотя на протяжении всей своей жизни он продолжал оставаться толстовцем, он больше не стремился иметь дела с теми, чей идеализм не был до определенной степени разбавлен практическим здравым смыслом.

Я просто не знаю того, как случилось, что отец приехал в Канзас Сити, как и того, чем он там занимался. Был период, когда он работал разносчиком. Случалось ему и мести пол в одном из канзасских магазинов. К этому времени очарование новых американских приключений стало потихоньку меркнуть. Отец понемногу начал завидовать богато одетым покупателям. Он принял решение, что его уделом должны стать удовольствия и прелести жизни. Должно быть, в это самое время он проходил мимо католической церкви, над входом которой надпись гласила: «Даем уроки гаэльского языка». Поскольку ему было присуще любопытство к филологическим познаниям, он не смог пройти мимо. Он стал ходить на занятия; и поскольку был намного одареннее в языках, чем другие, вскоре он сам стал преподавать, а затем возглавил местное гаэльское общество.

Слава о «Русском Ирландце», как его называли, прошла по всему Канзасу. В течение какого-то времени в публичной библиотеке воспринималось как нечто из ряда вон выходящее, когда скромный иммигрант-разносчик заказывал и читал книги, которые никто другой прочесть не мог.

Со временем отец решил покончить с этим аномальным существованием и вернуться к интеллектуальным занятиям, для которых он был создан. Он отважился обратиться к управляющему школьным образованием с просьбой о предоставлении ему работы; и после испытательного периода в одной из диких школ в Одессе, штат Миссури, он был принят преподавателем старших классов в канзасскую школу. Он проявил себя как великолепный преподаватель, способный быть большим другом учащихся, и реформатор, оставивший заметный след в школьной системе образования Канзас Сити. Когда отец преподавал на уроках (но не всегда, когда занимался со мной), он пытался скорее пробудить интерес учащихся, нежели принудить их думать в заданном направлении. Его целью было вызвать к жизни их независимое мышление, а не добиться послушания. Он принимал

участие в их занятиях спортом и экскурсиях, и ему удалось передать им свою любовь к отдыху на природе.

В период преподавания в старших классах канзасской школы отец вместе со своими друзьями совершил путешествие в Калифорнию. Он испытывал особое наслаждение, рассказывая мне о романтическом городе Сан-Франциско, о переходе через Йосемитскую Долину и о посвящении его в члены группы, совершившей восхождение на вершины Сьерры. Он рассказывал мне, что, благодаря приобщению к альпинизму, он познакомился с женщиной-туристкой, в которой романтическая любовь молодого человека к природе и приключениям вызвала крайний интерес. Этой женщиной была мисс Анни Пек, ставшая впоследствии одной из выдающихся альпинисток того поколения и совершившая выдающееся восхождение на вершины Анд, среди которых были Чимборасо и Котопахи. Позже в одном из писем к моему отцу мисс Пек призналась, что ее увлечение альпинизмом возникло прежде всего благодаря его энтузиазму.

Одной из забав моего отца в период его жизни в Канзасе было посещение спиритических сеансов, где он пытался разгадать технику ловкости рук медиумов. Я не думаю, что отца сильно волновали идеи спиритуализма, но наличие шанса для проведения небольшой сыскной работы было привлекательным для его натуры, тяготеющей к приключениям, и возбуждало любопытство ума. Из этой забавы он вынес твердое убеждение, что если в спиритуализме и было что-то, то это что-то явно отсутствовало в тех медиумах, которых он изучал.

В пробуждающейся культуре Среднего Запада в этот период появилось увлечение затейливостью стиля и озадачивающими аллюзиями поэзии Браунинга. Конечно, для человека, имеющего такое широкое культурное образование, как мой отец, ни подобный стиль, ни подобные аллюзии не представляли трудности. Отец становился подобен льву на встречах женского клуба, почитательниц Браунинга, и я полагаю, именно там он и встретил мою мать. И не думая ни о чем, они, вне сомнений, наслаждались, читая вместе такие произведения, как «Кольцо и Книга» («The Ring and the Book») и «На балконе» («On a Balcony»). Меня и мою сестру Констанс называли так в честь персонажей книги «На балконе», так что мы представляем собою нежелательные останки пережитков интеллектуальной эры. Я вынужден полагать, что это безразличие родителей к последствиям того факта, что мне было дано такое невразумительное и необычное имя, явилось неотъемлемой частью принятого ими решения направлять мою жизнь по заданному курсу вплоть до самых мельчайших деталей.

Мой отец выбрал для себя профессию преподавателя языков. Он с такой же легкостью мог бы стать и преподавателем математики, поскольку у него был и талант, и интерес к этой области знаний. Более того, во время обучения в колледже большую часть математических знаний я получил от него. Бывают моменты, когда я думаю, что для отца было бы лучше, если бы он сферой своей деятельности выбрал математику, а не филологию. Преимущество математики заключается в том, что это такая научная сфера, где очень ясно видны ошибки и их можно исправить или перечеркнуть одним росчерком пера. Это сфера знаний, которая часто сравнивается с шахматной игрой, но в отличие от шахмат, в математике имеют значение самые лучшие моменты, переживаемые человеком, а не самые худшие. Единственно допущенная невнимательность в шахматной игре ведет к поражению, в то время, как единственный удачно разработанный подход к проблеме среди тех многочисленных, что были отправлены в мусорную корзину, создает репутацию математика.

Что касается филологии, то эта сфера зависима от тщательной оценки целого ряда небольших размышлений, а не от механического продвижения вперед на чисто логических выкладках. Для человека, обладающего интуицией и воображением, филология — это наука, где он с легкостью может ступить на неверный путь, и в которой, идя по пути ошибок, он может никогда не осознать этого. Математик, совершающий серьезные ошибки и не способный обнаруживать их, — это не математик, но филолог с замечательным воображением может далеко зайти в своих заблуждениях, пока одна из совершенно явственных ошибок резко не остановит его. Заслуги моего отца в филологии не вызывают сомнений, но его сангвинический темперамент принес бы больше пользы под дисциплинирующим воздействием науки, в которой дисциплина является автоматической вещью.

Итак, этот странный молодой человек стал моим отцом и учителем. В 1893 году он женился на моей матери, мисс Берте Кан, дочери Генри Кана, владельца универмага в г. Сент-Джозеф, штат Миссури. Позвольте мне кое-что рассказать о моей матери, о ее семье и образовании.

II

НАСТОЯЩИЕ ЖИТЕЛИ МИССУРИ

Генри Кан, отец моей матери, был немецким евреем, иммигрировавшим из Райнланда, и владельцем универмага в г. Сент-Джозеф, штат Миссури. Его жена принадлежала семье Эллингеров, по крайней мере, два поколения которой уже жили в Соединенных Штатах. Я полагаю, что бабушка моей матери не была еврейкой. Этот факт, похоже, внес особенную традицию в семью Эллингеров, которая выражалась в том, что дочери того поколения стремились выйти замуж за евреев, каковым был их отец, а сыновья женились на нееврейках, каковой была их мать. Как бы то ни было, но даже сто лет назад в этой семье наблюдалось состояние нестабильности между ее еврейским происхождением и ее проникновением в нееврейское общество.

Об этой тенденции, выразившейся в различии при заключении брака сыновьями и дочерьми, я слышал несколько раз и при разных обстоятельствах. Мне рассказывали об одной семье в Нью-Йорке, где жена была голландкой, а муж священником китайской протестантской церкви. Все сыновья от того брака, похоже, затерялись в американском сообществе, взяв себе в жены американских девушек и предав забвению часть своей родословной, уходящей корнями на Восток. Дочери же, наоборот, все вышли замуж за китайцев и уехали в Китай. В то время мотивом для такой дифференциации была, как мне кажется, чрезвычайная нужда китайских юношей в женах с западным образованием и воспитанием, которая давала дочерям необычайно благоприятные возможности для замужества в Китае в противоположность американским бракам, обусловленным, по крайней мере, частично ограничениями расового предубеждения. Мне неизвестно, существовали ли также, хоть в малейшей степени, подобные мотивы в семье Эллингеров; но все же интересно наблюдать одно и то же явление, возникающее при разных обстоятельствах. Сыновья следуют по стопам отца, дочери же — по стопам матери.

Оказывается, что семья Эллингеров свою американскую родословную ведет из штата Миссури, а может, и из более южного края. Ее члены сочета-

ли в себе истинно южный аристократический взгляд на мир с абсолютной непредсказуемостью. Многие мужчины из этого рода бросили свои семьи и безупречный образ жизни, пристрастившись к великим просторам. Существует легенда, что один из Эллингеров, в конце концов, стал настоящим бандитом в одном из западных штатов и был застрелен при сопротивлении аресту.

Даже, если забыть об этих радикальных проявлениях индивидуальных особенностей, Эллингеры представляли и поныне представляют независимый род. Лишь в более поздний период истории существования этой семьи постепенное сглаживание этих особенностей позволило им занять полноценное место в обществе согласно их истинным способностям.

Мы уже привыкли к тому факту, что почти все мы являемся потомками иммигрантов. Но в середине прошлого столетия это было не так. Сегодня плавящийся котел не просто плавится, но и сплавляется. И это происходит намного проще в наши дни, поскольку он не имеет в своем составе чуждых и тугоплавких металлов, которые прошли закалку. Семья иммигранта, которая уже почти совсем затерялась в общей американской панораме, более не сталкивается лоб в лоб с другим иммигрантом, только что, можно сказать, сошедшим с трапа корабля. И нет более конфронтации между нашим американцем с континентальной родословной и новичками, между теми, кого называют иммигрантами, и старыми американцами, формирующими стабильную лестницу социального восхождения, на которой каждый человек имеет строго зафиксированное место.

Одними из первых иммигрантов, на долю которых выпало наиболее легкое в эмоциональном смысле время, и которым было проще во многих других смыслах, были подневольные люди из Восточной Европы, которым терять было буквально нечего, кроме своих цепей. Но американизации и последующему восхождению по социальной иерархической лестнице иммигрантов, принадлежащих к более высокой касте в европейском обществе, предшествовало лишение всяких привилегий и выделение для них одной из низких ступеней на социальной лестнице.

Все это было неизбежным и даже, вероятно, являлось существенной частью порядка, к которому иностранец должен был приноровиться, чтобы занять какое-то место в обществе, совершенно непохожем на то, в котором он родился. Сегодня, тем не менее, иммигрант является не только бенефициарием, но и благодетелем той страны, в которую он иммигрировал. Его родная культура часто несет в себе богатство, которое не должно быть утрачено, не должно потеряться в общей дымке некой традиции, скупо рассе-

янной по континенту. Его искусству и мышлению, его фольклору и музыке присущи такие грани, которые заслуживают того, чтобы быть включенными в убранство Америки. Однако при наличии напористого вторжения новичков из старого мира это наследие иммигранта было трудно признать и оценить. Ему предписывалось, не протестуя, принять низкое положение в социальной иерархической структуре, отведенное для него, и он успокаивал свое уязвленное самолюбие тем, что другой вновь прибывший иммигрант подвергался такому же уничтожению.

В таком обществе и в такое время респектабельность являлась бесценной жемчужиной. Шмидт становился Смитом, а Израиль Левин — Ирвином Ли Вайном. Евангелическое (а также, про между прочим, раввинское) религиозное предписание избегать даже проявления зла интерпретируется как предписание избегать проявления зла и грубости, и более того, зла и грубости как таковых. Сильный человек действительно может проигнорировать такое общество и жить в соответствии с собственной системой ценностей. Для менее же сильного человека намного проще принять данную систему ценностей и пасть ниц перед миссис Гранди¹. Лишь человек, подобный моему отцу, который был готов бросить вызов самому Иегове², мог противостоять ортодоксальной религии Гранди.

Специфические разочарования иммигрантов и еврейских семей семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов были усилены общим моральным застоём Золотого Века. Это был век, в котором субсидии, выдаваемые на поддержание объединения торговцев виски, были переданы на проведение Гражданской войны, в этот век умер Линкольн, но Даниэлы Дрю и Коммодоры Вандербильты были живы, и не просто живы, но и очень деятельны. Энтузиазм и преданность временам Гражданской войны уже изжили себя, а энтузиазм и преданность двадцатого столетия еще не вошли над горизонтом. Во всем ощущался общий спад и разочарование. Это разочарование, должно быть, на Юге, потерпевшем поражение, ощущалось более сильно, а также и в штате Миссури, который был почти «прихожей» Юга.

Кроме того, когда общество и время переживали все эти стрессы и напряжение, в семье моей матери переживались разногласия более личного порядка. В ее семье произошел раскол из-за разрыва между родителями. Мать моей матери была человеком, обладающим большой общей культу-

¹Литературный персонаж, законодательница общественного мнения и приличий. — *Прим. пер.*

²Имя Бога в Ветхом Завете. — *Прим. пер.*

рой, а также сильными и неукротимыми эмоциями. В ней присутствовала огромная, неуправляемая жизненная энергия, способствовавшая ее долголетию, и проще говоря, ее было слишком много для того, чтобы ее более спокойный и менее энергичный муж смог ее выносить.

И ко всему этому, одна из старших сестер матери, претендующая на то, что она представляет собою женский ум семьи, смотрела свысока на своих сестер. Это привело к окончательному разрыву, причем мои мать и отец были с одной стороны, а большая часть семьи с другой. Одной из причин этого разрыва был традиционный конфликт между Немецким евреем и Русским евреем и их различие в социальном статусе. Все это подкреплялось прямодушием и наивностью моего отца в том, что касалось социальных вопросов.

В любом случае, моя мать при поддержке моего отца постепенно порвала отношения со своей семьей. Несмотря на то, что зачастую она не понимала отца, она глубоко любила его и восхищалась им бесконечно. И все же, это был нелегкий шаг для моей матери. Ей с детства потворствовали, поскольку она считалась в семье красавицей. Я помню одну из ее фотографий, которая была сделана, когда мне было около четырех лет. На ней она была чрезвычайно красива в модном в то время коротком жакете из меха котика. Я очень гордился той фотографией и ее красотой. Она была маленькой женщиной, здоровой, сильной и полной жизни, какой она и осталась по сегодняшний день. Она до сих пор носит себя с достоинством женщины в расцвете сил.

В семье, где она родилась и родословные корни которой были перемешаны и присутствовал аристократизм южан, этикет играл неоправданно большую роль и распространялся на сферы, которые можно было отстаивать по закону. И это маленькое чудо, что моей матери пришлось — и она поняла, что ей нужно будет это сделать — взять на себя тяжелую задачу умерить энтузиазм и необузданный нрав моего выдающегося и рассеянного отца до уровня, соответствовавшего нормам общества.

Требования, предъявляемые нашим обществом к мужчине и женщине, и дозволения сильно отличаются. Мужчине может быть позволена некоторая степень несоответствия, если он личность и гений. Но предполагается, что женщина должна быть хранительницей ортодоксальных и светских добродетелей, действительно нуждающихся в том, чтобы их культивировали. Мужчина может позволить себе иметь необузданный нрав, не вызывая при этом нареканий, женщина же должна быть мягкой и учливой. Когда родился я, к проблеме прямодушия моего отца добавилась проблема воспитания

ребенка с очень похожими качествами характера, с тем же необузданным нравом и тем же сопротивлением к приручению; и неудивительно, что порою моя мать ощущала себя в полной растерянности. Позже, когда приходили в столкновение крутой нрав отца и мой собственный, мать могла лишь выступать в роли миротворца, не высказывая ни своего мнения, ни убеждений, которые она могла бы привлечь в качестве довода для восстановления мира. Мне было трудно понять ее в этом. В моих столкновениях с отцом, весьма драматичных по своей сути, я мог лишь в общем признать принцип, который я должен был уважать, даже если интерпретация этого принципа отцом причиняла мне страдание. Моя мать едва ли могла позволить себе такую роскошь. Когда муж — фанатик, жена должна быть конформисткой. Как много ученых, будучи не от мира сего, как евреев, так и христиан, должно быть, зависели в самом своем существовании от своих жен-конформисток!

Когда мои родители заключили брак, отец был уже профессором современных языков в университете штата Миссури, находившемся в городе Колумбия. Он преподавал французский и немецкий языки, и мои родители принимали участие в незатейливой общественной жизни маленького университетского городка. Они жили в пансионе вместе с другими преподавателями факультета, а 26 ноября 1894 года родился я.

Конечно, я не помню этот город, из которого меня увезли во младенческом возрасте, но в семье рассказывались истории о пансионе и друге отца тех дней В. Бенджамине Смите (который позже преподавал математику в Тулейнском университете). Он был очень близким другом отца и великим балагуром. Однажды Смит вернулся в пансион и обнаружил, что вместо цветного официанта огромных размеров работал худой маленький парнишка. «Сэм, — прорычал профессор Смит, — ты что, усох!» Смущенный официант бегом выбежал из комнаты и так и не вернулся.

Я хотел бы упомянуть об отношении Смита к людям негритянского происхождения, поскольку именно из-за вопросов, касающихся расизма, несколько лет спустя прервалась дружба моего отца со Смитом. Смит, будучи непримиримым бунтарем, опубликовал псевдонаучную книгу о неполноценности негров, и это было чересчур для либерализма моего отца и его уважительного отношения к фактам.

Я уже вышел из младенческого возраста, когда мои родители решили переехать, и их выбор пал на Бостон. Мотив для этого переезда коренился глубоко в самом штате Миссури. Один из политических деятелей Миссури решил, что было бы неплохо пристроить на место отца одного из своих

родственников или приспешников. Мой отец имел такой успех, что одному человеку было не по силам долее управлять всем факультетом современных иностранных языков в университете Миссури. Было решено, что у каждого из отделений (немецкого и французского языков) будет свой руководитель. Когда отцу предложили на выбор одно из этих отделений, он предпочел отделение немецкого языка. К сожалению, протеже или родственник семьи того политика метил именно на это место, и когда это разделение произошло, отец остался не у дел. У отца нигде в стране не было академических связей. Он приехал в Бостон просто после некоторых раздумий, поскольку пришел к выводу, что лучше всего искать работу там, где она была.

Вскоре он привлек к себе внимание профессора Фрэнсиса Чайльда, научного редактора «Шотландских Баллад»¹. Чайльд исследовал шотландские баллады и их аналоги в различных языках Европы и Азии, и ему нужна была помощь для сопоставления их источников. В качестве задания отцу было поручено исследовать южные славянские языки. Он оказался настолько полезным для Чайльда, что Чайльд помог ему найти место в Бостоне. Отец сначала преподавал в Бостонском университете и в музыкальной консерватории Новой Англии, а также выполнял кое-какую работу для департамента по составлению каталогов в Бостонской публичной библиотеке. В конце концов, Чайльд добился для него места в Гарварде, где он преподавал славянские языки, что для Гарварда было впервые, и как я полагаю, впервые для всей страны. Постепенно он продвигался по служебной лестнице от ассистента профессора до профессора, кем он оставался, пока не ушел на пенсию в 1830 году.

Однако в течение многих лет ему приходилось подрабатывать, так как жалования было недостаточно. Хотя затраты на проживание были невелики, жалование было еще меньше. Отец в течение нескольких лет продолжал работать в музыкальной консерватории Новой Англии и Бостонском университете, а также выполнял отдельные работы для Бостонской публичной библиотеки. Кроме того, он проводил значительную работу по этимологии для нескольких изданий Merriam-Webster Dictionary²; выполняя эту работу, он подружился с профессором Шофилдом, который был также из Гарварда. В более поздние годы основным источником денег на мелкие расходы для отца был Радклиффский колледж, который на протяжении целого ряда лет обеспечивал профессоров Гарварда добавками к жалованию.

¹ Scottish Ballads (англ.)

² Словарь Вебстера (англ.)

Профессор Чайльд был выдающимся и весьма демократичным человеком, а также искренним другом моего отца. Однажды отец увидел, как какой-то невысокого роста, близорукий, энергичный молодой человек выходит из дома Чайльда. Когда отец вошел в дом, Чайльд сказал ему, что он только что упустил случай познакомиться с Ричардом Киплингом. Похоже, что когда-то Киплинг несколько оплошал при знакомстве с Чайльдом, который в момент его прихода поливал розы в саду, одетый в старую поношенную одежду. М-р Киплинг принял его за приходящего садовника. «А, — сказал Чайльд, — какой-то рабочий забрел вчера за изгородь моего сада и пьянствовал, вдыхая аромат моих роз. Это был мой брат.»

III

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

То, что фрейдисты (я не имею в виду самого Фрейда) ввели ограничение в отношении ребенка, утверждая, что он обладает чрезвычайно малой ментальной жизнью за пределами элементарной сексуальности, является плохой услугой. Многие фрейдисты с подозрением смотрят на все другие воспоминания, вынесенные из младенческого возраста и очень раннего детства. Я абсолютно не склонен отрицать того факта, что существует детская сексуальность, и что она имеет важное значение. Но это все слишком далеко от исчерпывающего описания ранней ментальной жизни ребенка, как эмоциональной, так и интеллектуальной.

В моей памяти живут вполне сознательные воспоминания о времени, когда мне было два года, и мы жили в двухэтажном доме на Леонард Авеню, довольно мрачном и непривлекательном районе между Кембриджем и Сомервиллем. Я помню лестницу, ведущую в нашу квартиру; мне казалось, что она ведет вверх до бесконечности. Даже в то далекое время у нас, похоже, была няня, так как я вспоминаю, как ходил с нею делать покупки в одном из маленьких магазинчиков, о котором мне говорили, что он находился в Сомервилле. Весь район представляется смещением улиц, принадлежащих несогласованным между собой системам двух городов, и я отчетливо помню острый угол, на котором эти улицы пересекались перед нашим бакалейным магазином.

За углом находилось зловещее и наводящее ужас здание, бывшее, как я узнал, больницей для неизлечимых больных. Оно стоит до сих пор, и сейчас это Больница Святого Духа. Я совершенно уверен, что в то время я не имел четкого понятия о том, что такое больница, но достаточно было слышать тот тон, каким упоминала моя мать или няня об этом месте, чтобы душа моя наполнялась унынием и дурными предчувствиями.

Это все, что я могу действительно вспомнить о Леонард Авеню. Позже мне говорили, что когда мы жили там, у моей матери родился еще один ребенок, который умер в день своего рождения. Мне было тринадцать лет,

когда мне об этом сказали; это известие потрясло меня до крайности, поскольку я боялся смерти и придерживался успокаивающей веры в то, что наш семейный круг никогда не будет разорван смертью. У меня нет непосредственных воспоминаний об этом ребенке, и я так и не знаю, был ли это мальчик или девочка.

Мы провели лето 1897 года, когда мне исполнилось два с половиной года, в отеле Джеффри, в Нью-Гемпшире. Там было озеро с гребными шлюпками, а рядом была тропинка, ведущая к горе, название которой запомнилось мне как Моноднок. Мои родители взбирались на эту гору, естественно без меня, а меня они брали в близлежащую деревню, где они по какой-то причине заходили к кузнецу. У кузнеца палец ноги был раздавлен лошадью, наступившей ему на ногу, и мне было страшно слушать рассказ об этом, так как уже в то время я испытывал непереносимый страх перед увечьями.

Учебный год 1897–98 застал нас на улице Хиллиард в Кембридже. У меня сохранилось смутное воспоминание о фургоне, перевозившем наши вещи с Леонард Авеню. С этого момента мои воспоминания становятся более яркими и более точными. Я помню свой день рождения, когда мне исполнилось три года, и друзей моих юных лет, Германна Горварда и Дору Киттредж, детей профессоров Гарвардского университета, живших на той же улице. Стыдно признаться, но мое первое воспоминание о Германне связано с нашей с ним ссорой на его собственном дне рождения, когда ему исполнилось пять, а мне было три года.

Родители рассказывали мне, что, когда мы жили на улице Хиллиард, у меня была учительница французского языка Жозефин, девушка-француженка, работавшая у нас. О самой Жозефин я ничего не помню, но я помню учебник для детей, который она использовала, и в нем были написаны названия и даны рисунки ложки, вилки, ножа и кольца для салфеток. Французский, выученный мною тогда, я, должно быть, забыл очень скоро и основательно, поскольку, к тому времени, как я снова стал изучать французский язык в колледже в двенадцать лет, в моей голове не осталось и следа каких-то былых знаний по этому языку.

По всей вероятности, именно Жозефин водила меня на прогулки на улицу Брэттл и вокруг Радклиффских высот. Темнота, которая теперь вспоминается как приятная тень от деревьев на улице Брэттл, в то время меня пугала; я абсолютно не помню расположение близлежащих улиц. На углу, где пересекались улицы Хиллиард и Брэттл, стоял дом с наглухо заколоченным окном, которое страшно пугало меня, потому что было похоже на

слепой глаз. У меня было такое же чувство страха и клаустрофобии, когда плотник по просьбе моих родителей закрыл коридор, соединяющий столовую в нашем доме с кладовой дворецкого.

Недалеко от нашего дома стояло старое школьное здание, но я не помню, было ли это заброшенное здание или же в нем шли занятия. Улица Маунт Оберн была всего через несколько домов от нас, а за углом размещалась кузница, к которой вела дорожка, выложенная по краям булыжником, окрашенным в белый цвет. Однажды я попытался поднять один из них и унести, за что получил хороший нагоняй. Аллея, прилегавшая сбоку к нашему дому, вела в маленький сад, где старый джентльмен по имени мистер Роуз, по крайней мере, мне он казался старым — выходил подышать воздухом и выкурить свою трубку. Позади сада был еще один дом, в котором жили два мальчика, взявшие меня под свое крыло. Я помню, что они были католиками, и в их доме висело распятие Христа, на теле которого были раны, а на голове — терновый венец; я воспринимал распятие как изображение жертвы жестокости и несправедливости. У них также в горшке стояло растение, которое они называли Вечным Жидом, и чтобы мне было понятно это название, они рассказали легенду, которую я не понял, но которую воспринял крайне болезненно.

У меня очень мало сохранилось воспоминаний об отце, связанных с этим ранним периодом моей жизни. Мать занимала огромное место в моих ранних воспоминаниях, отец же представлялся необщительным и строгим человеком, которого я лишь иногда видел в библиотеке, работающим за своим огромным столом. У меня нет воспоминаний о том, чтобы он проявлял какую-то холодность или же суровость, и все же низкий тембр мужского голоса уже сам по себе в достаточной мере пугал меня. Для очень маленького ребенка мать — это единственно родной человек, поскольку именно она проявляет заботу и нежность.

Обычно мать читала мне в саду. Теперь я знаю, что дворик этот представлял собой клочок земли перед нашим домом, покрытый травой, но тогда он казался мне огромным. Книга, которую она любила читать, была «Книга Джунглей» («Jungle Book») Р. Кипплинга, а ее любимым рассказом — «Рикки-Тикки-Тави» («Rikki-Tikki-Tavi»). В то время я уже и сам начал читать, но мне было всего три с половиной года, и поэтому многие слова были трудны для понимания. Мои книги не были специально адаптированы для моего возраста. У моего отца был старый друг, адвокат по имени Холл; один его глаз был слеп, и он был глух на одно ухо; он отрешился от человеческого общества, и ему неведомы были потребности маленького ребенка. В мой день

рождения он подарил мне том из «Естественной Истории» Вуда (Wood's «Natural History»), посвященный млекопитающим. Книга была перепечатана с энной копии мелким шрифтом, и буквы и ксилографии местами были размыты или заляпаны чернилами. Мои родители потеряли подаренный мне экземпляр, и чтобы не огорчать старого джентльмена очень скоро достали еще один, и я любил прикасаться пальцами к картинкам еще до того, как научился с легкостью читать эту книгу.

Мне никак не удается вспомнить еще одну книгу, полученную мною в качестве подарка примерно в это же время. Я знаю, что это была детская книга по элементарной науке, и я знаю, что наряду с многими прочими вещами в ней рассказывалось о солнечной системе и о природе света. Я знаю также, что это был перевод с французского, по крайней мере, на некоторых из ксилографий были представлены виды Парижа. Тем не менее, название книги мне неизвестно, и я полагаю, что увидел ее уже после того, как мне исполнилось пять лет. Возможно, это был перевод книги Камиля Фламариона. Может, кто-либо из моих читателей узнал эту книгу, и если бы я имел возможность взглянуть на нее, сравнив с картинками, сохранившимися в моей памяти, я несомненно смог бы узнать, та ли это книга, на которую я ссылаюсь. Поскольку я сделал свою карьеру именно в науке, и поскольку эта книга была моим первым знакомством с наукой, то мне бы очень хотелось взглянуть на то, с чего я начал.

Я не могу вспомнить большую часть своих игрушек того времени. И все же есть одна, сохранившаяся совершенно четко в моей памяти, — это маленькая модель боевого судна, которую я волочил на веревочке. В тот период была испано-американская война, и игрушечные боевые корабли были повальным увлечением среди мальчишек. Даже сейчас я припоминаю белую краску и прямые мачты кораблей того периода перед появлением дредноутов, с их маленькими башенными палубами второй батареи, и лишь на нескольких из башенных палуб находились орудия более крупного калибра.

Моя детская располагалась в задней части дома и отделялась одной или двумя ступеньками от остальных комнат на втором этаже. Однажды я споткнулся и пролетел через этот небольшой пролет ступенек, сильно разбив при этом подбородок; шрам заметен и сейчас, и это одна из причин, почему я ношу бороду. Я также порезал руки о металлические ребра моей маленькой детской кровати, на которой спал. Я все еще помню, каким неприятным было это ощущение.

Я помню те песни, которые пели мне родители перед сном. Моя мать была страстной поклонницей оперы «Микадо» («The Mikado»), и арии из

этой оперы являются одними из самых моих ранних воспоминаний. В моем детстве определенную роль играли и песенки из различных водевилей, среди них такие как «Та-га-га — boom-de-ay» и «Ш-ш-ш! Привидение идет». Мой отец предпочитал «Лорелею» и русскую революционную песню, которую я совсем не понимал, но звуки ее сохранились в моей памяти и по сей день.

Моя сестра Констанс родилась ранней весной 1898 года. Повитуха, добродушная ирландка, Роуз Даффи, была моим особенным другом, и в честь нее я назвал свою тряпичную куклу. Она жила на Конкорд Авеню вместе со своей сестрой, мисс Мэри Даффи, занимающейся их домашним хозяйством. Когда я навещал их, мне предоставлялась возможность полакомиться имбирным печеньем и печеньем из мелассы.

Мне рассказывали, что появление моей сестры вызвало во мне сильное неудовольствие. И, конечно же, спустя несколько лет, когда она подросла достаточно, чтобы проявлять себя как личность, я начал ссориться с ней, и ссоры эти были достойны осуждения, однако впоследствии все это было компенсировано годами дружбы и доброго отношения. Появление маленького ребенка в доме многому научило меня. И я так и не смог забыть ощущения некоего налета таинственности вокруг этих бутылочек и пеленок.

В то лето отец путешествовал по Европе. Для меня было особенным удовольствием получать его открытки из городов с чужими названиями; он писал текст на этих открытках печатными буквами, принимая во внимание то, что я был еще мал, чтобы понять его почерк. Также в то лето я начал читать некий журнал по естественной истории, в котором были картинки различных птиц. Я даже припоминаю забавные, старомодные рекламные объявления на страницах того журнала, но его название стерлось в моей памяти.

В то время отец знал многих из тех, кто работал в публичной библиотеке Бостона. У одного из них, мистера Ли, была жена, создававшая иллюстрации к детским книгам, а также сама писавшая для детей, и маленькая дочь моего возраста. Они жили на Джамайка Плейн, в двух шагах от парка Франклина. Я помню, как читал книги миссис Ли и играл с их маленькой девочкой в каменных гротах парка. Я помню поездку по дороге от Центральной площади и по мосту Коттедж Фарм, по той части Бостона, которая полностью изменила свой облик с того времени. Я часто читал книгу «Арабские ночи» («The Arabian Nights»), принадлежавшую дочке мистера Ли. Несколькими годами позже она заболела диабетом, что было смертным

приговором для молодых в те годы, когда еще не было инсулина. Мистер Ли отдал мне ее книгу, а также кое-что еще из ее вещей, однако всякий раз, когда я читал эту книгу, меня охватывала грусть.

Еще одна из тех книг, которые я читал в то время, была «Алиса в стране Чудес» («Alice in Wonderland»), но понадобились годы, чтобы в полной мере ощутить прелесть юмора Льюиса Кэрролла, а тогда все эти метаморфозы, происходящие с Алисой, вызывали во мне нечто, похожее на ужас. Более того, когда я прочел «В Зазеркалье» («Through the Looking Glass»), я потерял всякое чувство юмора и решительно отнес ее к разряду суеверных.

Я был ребенком, которого легко было напугать. Однажды, когда родители взяли меня с собой в старый Театр Водевиля Кейта, поскольку меня не с кем было оставить дома, я увидел, как два клоуна колотили друг друга. После одного из ударов, на одном из актеров внезапно появился ослепительно яркий рыжий парик, и это так напугало меня, что я разрыдался, и меня пришлось увести из театра.

На следующий год, когда отец вернулся из Европы, мы продолжали жить в том же самом доме на улице Хиллиард. Меня отправили в детский сад на Конкорд Авеню, располагавшийся напротив Гарвардской Обсерватории. Я так и не забыл ни грубых вязаных свитеров, ни длинных детских рейтузов, которые я носил, ни игр с другими детьми, ни тех бумажных сеточек, которые нам приходилось плести. Там я встретил свою первую любовь, милую маленькую девочку, чей голосок очаровал меня, и рядом с кем мне было очень хорошо. Я припоминаю радостное посещение нами, детьми из детского сада, близлежащего сада, где под густыми кронами деревьев росли крокусы, тюльпаны и ландыши.

Мы провели лето 1899 года в Александрии, штат Нью-Гемпшир. В чetyре с половиной года я был достаточно взрослым, чтобы выглядывать из окна поезда и наблюдать за быстро пробегающим мимо ландшафтом. Тогда техника, связанная с железными дорогами, уже представляла для меня интерес. И у меня, похоже, был собственный игрушечный паровозик к тому времени, что усиливало мой интерес.

С того времени до 1933 года у меня не было случая посетить еще раз Александрию. Когда я все же вернулся туда, то обнаружил, что все, сохранившееся в моей памяти об этом месте, совершенно точно совпадает с тем, что я увидел: Бристоль с его памятником, посвященном Гражданской Войне, и старой муртирой, стоящей в центре деревенской площади; озеро Ньюфаунд, пансион, где мы останавливались, домик напротив пансиона, где жил коллега моего отца, с чьим сыном я играл. Все было таким, каким

запомнилось мне. Я обнаружил, что деревня Александрия не изменилась совершенно, как не изменился и Медвежий Холм, куда водили меня мои родители через сосновый лес, и откуда отцу пришлось нести меня на плечах, как неизменны остались и индейские трубки его обитателей. Все оставалось почти таким же, как рисовалось в моих воспоминаниях. Я хорошо помню текстильную фабрику в Бристоле с ее шумными станками, куда отец водил меня мальчиком.

Следующую зиму, то есть 1899–1900, мы провели в доме на две семьи на улице Оксфорд в Кембридже. Мои родители уже планировали отдать меня в школу, и однажды мы отправились с визитом к мисс Болдуин, директору школы Агассиз, жившей через два дома от нас. Тогда не было принято окончательное решение отправить меня в школу. Мисс Болдуин, чрезвычайно выдающийся педагог и весьма достойная женщина, была негритянского происхождения. Она начала работать в школьной системе Кембриджа в 1880 году, в то время, когда еще не вымерли полностью гуманистические тенденции в отношении отмены рабства, и снобизм Новой Англии еще не приобрел аристократический лоск Запада, как это случилось в начале двадцатого столетия.

Когда мы жили на улице Оксфорд, я получил в подарок на день рождения журнал «Св. Николас» («St. Nicholas Magazine»). Я очень хорошо помню тот день, когда почтальон принес мне один старый номер и один свежий номер, датированный 1899 годом, и с того момента наступил новый век, шел 1900 год. Журнал «Св. Николас» стал для меня откровением, и большей частью он состоял из материалов, от чтения которых я, будучи ребенком, получал удовольствие. Мне сложно понять, как новое поколение детей обходится без этого журнала или равного ему. Журнал «Св. Николас» всегда признавал за ребенком право считаться по большому счету цивилизованной личностью, не взирая на то небольшое количество лет, что им прожиты, и почитал ниже своего достоинства предлагать ребенку пищу для ума, которая по своей сути не была бы достойна ума взрослого. Каким образом современное поколение детей может довольствоваться вульгарными и бессодержательными комиксами, с одной стороны, и, с другой стороны, великолепно художественно оформленными, но литературно бездарными книгами, для меня остается великой тайной. Дети моих дней решили бы, что современные дети позволяют себя обманывать.

Осень отмечала триумфальное возвращение адмирала Дьюи в Бостон после испано-американской войны. Мои родители повели меня на парад в честь этого события; однако я не ощутил и не был способен ощутить

историческую важность этого события, поскольку война ассоциировалась скорее с определенными военными игрушками, которые «бабахают», а не с чем-то, что ведет к потере реальных человеческих жизней.

Еще одним четким воспоминанием о той зиме является воспоминание о рождестве. Я проснулся утром задолго до рассвета, чтобы проверить свой чулок и узнать, что же Санта Клаус положил в него. В то время я не знал, что мой отец был Санта Клаусом, но я был признателен за те конфеты и игрушки, и маленькие шутки, написанные на листочках бумаги, которые я находил вместе с мандарином, и орехами, и леденцом в моем чулке. Более крупные подарки находились под елкой, и моей сестре и мне необходимо было подождать до утра, чтобы взглянуть на них, но мы вкладывали в слово «утро» весьма широкий смысл, и спускались вниз, где стояла елка, около четырех утра.

Есть в моей памяти некоторые крайне отрывочные воспоминания. Наша соседка, боевая ирландка, жена полицейского, отважно выдворяет каких-то мальчишек-проказников, вторгшихся в ее крепость. Кажется, она выгнала их метлой. Я часто катался по тротуару на своем трехколесном велосипеде и во время моих ежедневных катаний встречал скучных друзей моего отца. В нашей округе жил одноногий мальчик, всегда приводивший меня в недоумение тем, что появлялся то с искусственной ногой, то без нее; он обычно ездил в школу на велосипеде мимо нашего дома.

Картины страданий и увечий странным образом вплетаются в мои ранние впечатления. Я сомневаюсь, что большая часть моего интереса к этим вещам проистекала из каких-то гуманных соображений или же из истинного сострадания к страданию. Часть моего интереса представляла собой жестокое любопытство ребенка, а другая часть его была подлинным страхом перед несчастным случаем, уже коснувшимся людей, знакомых мне, и который, вполне вероятно, мог произойти и со мной. Где-то в это время мне пришлось пережить небольшую операцию по поводу тонзилита и аденоидов, и я уже познал ужас того частичного затемнения сознания, последовавшего за введением анестезирующего средства. Но я не чувствовал связи между этой маленькой хирургической операцией и моим ужасом перед увечьем. Это все повторение наблюдения, вполне знакомого фрейдистам и достаточно хорошо объясненного ими.

Мой отец гордился своими прежними фермерскими успехами, и он стремился стать землевладельцем. Это его желание было замешано на его приверженности к толстовству и его гордости за то, что ему удалось преодолеть традиционные ограничения еврейского народа. Весной 1900 года

он купил ферму своей мечты в Фоксборо. Дом стоял довольно далеко от дороги, окруженный рядом катальповых деревьев, в честь которых была названа эта ферма: ферма Каталпа.

Я не помню, что отец выращивал на том месте, хотя представить его, не занимающимся работой на ферме, я не могу. Я уверен, что то лето расширило мои знания о деревенской жизни, а также о деревьях и растениях Новой Англии. Деревенские дети, живущие на соседней ферме, стали верховодить мной, полагая, что это их право верховодить городским мальчиком, и как-то накормили меня дорожной грязью. Тогда я нашел более подходящих товарищей для своих игр в деревне, по крайней мере, желающих принять меня в свою компанию. Они познакомили меня с существованием дождевых червей и поразили мое воображение, продемонстрировав мне, насколько малые неудобства терпят эти черви, если их разрезать на две части. Жестокость этого процесса вызвала у меня лишь едва ощутимые угрызения совести.

Я очень мало помню о Фоксборо, но полагаю, что самой значительной вещью, касающейся этого места, для нас всех была сплетня о церкви, недавно основанной там Святым Роллерзом. Я также помню мальчика, старше меня по возрасту, взявшего меня на бейсбольный матч между Фоксборо и Атлборо. Секреты бейсбола мне были непонятны, и лишь намного позже я начал проявлять интерес к этой игре.

Начало лета ознаменовалось приездом моей бабушки Винер из Нью-Йорка в сопровождении моей кузины Ольги. Тогда бабушка казалась мне старой женщиной, хотя в то время ей не могло быть намного больше лет, чем мне теперь. Она всегда была одета в темную одежду, как пожилая женщина из Европы, и у нее определенно были иностранные манеры, что проявлялось в том, как она жестикулировала своим указательным пальцем и как качала головой. Она была маленькой, активной женщиной, на которой лежала печать страдания; и из того, что я слышал о своем дедушке, я знаю, что с этим человеком невозможно было прожить жизнь без страданий, хотя бы из-за его характера и расточительности. В Европе бабушка была вынуждена сама зарабатывать на жизнь; и теперь, когда все остальные Винеры, следуя примеру моего отца, переехали в Америку, она переезжала от одного ребенка к другому, в соответствии с их финансовыми возможностями.

Бабушка всегда говорила с сильным иностранным акцентом и никогда не могла различить такие слова, как «kitchen» и «kitten»¹. Она читала собственную газету, издаваемую на иностранном языке, как я узнал позже,

¹Кухня и котенок (англ.). — Прим пер.

на идиш. Приезжая к нам из Нью-Йорка, она всегда привозила сладости и игрушки, но мы любили бы ее, если бы она этого и не делала. Моя мать, всегда с подозрением относившаяся к нью-йоркским родственникам отца, как человек, представлявший собою второе поколение семьи, жившей в этой стране, не могла не любить бабушку или Grossmutter², как мы ее называли, чтобы не путать с бабушкой Кан.

Кузина Ольга была умной девочкой девяти лет, на четыре года старше меня. Ее мать, тетю Шарлотту, покинул муж, и было важно, чтобы у Ольги была возможность провести здоровые летние каникулы в деревне. Она и ее мать вечно не ладили между собой. Жизнь нью-йоркских улиц заставляла взрослеть раньше времени, и моя мать воспринимала это тяжело.

Мы с Ольгой часто ссорились. Однажды, я не помню почему, мы сильно повздорили. Ольга сказала мне, что Богу известно все, и что он не одобряет моего поведения. Тогда я заявил, что не верю в Бога. Увидев, что вслед за моими словами, не пала молния с небес, чтобы поразить меня на месте, я, упорствуя в своем безбожии, сказал об этом моим родителям. В отношении моего отца к сказанному мной я нашел достаточно понимания, чтобы и дальше придерживаться этой точки зрения.

Я так и не помирился с Иеговой и скептиком остался до настоящего дня, и все же я с недоверием смотрю на скептиков, создающих из своего скептицизма позитивную религию и остающихся Безбожниками в том самом духе, в котором могли бы быть священнослужителями.

Под катальпами росли кусты сирени, и в них я нашел гнездо с голубыми яйцами. Ольга сказала мне, что поскольку я прикоснулся к этим яйцам, их мама-птица покинула гнездо и никогда не вернется, и что птенцы не вылупятся из яиц или же умрут. Поскольку мне было всего пять лет, из-за сказанного ею я предстал перед своим внутренним взором как убийца, и зародившееся в связи с этим чувство вины долгое время не давало мне покоя.

Отец брал меня на экскурсии по окрестностям ради того, чтобы просто побродить или же как-то приобщить меня к своему любимому занятию — собиранию грибов, и некоторые из этих экскурсий оказались полезными для моего образования. Например, он сводил меня в литейный цех и в механическую мастерскую, что располагались по соседству. В доменную печь засыпался скрап, а не руда; и я видел, как металл разливали в формы для чушек и в формы более сложной конфигурации для деталей, которые впо-

²Бабушка (нем.)

следствии обрабатывали на станках. Механическая мастерская работала как с медью, так и со сталью. Наблюдать за тем, как белые и желтые стружки свивались в завитушки под давлением инструмента было истинным удовольствием.

Отец все это время пытался устроить меня в школу, но часто наткнулся на препятствия, хотя я не совсем ясно представляю, в чем заключались эти трудности. Я полагаю, что я просто был слишком мал, чтобы соответствовать нормам, установленным школьным советом. Мне сделали прививки, чтобы я мог посещать деревенскую школу, и я ходил в нее несколько дней, пока отец не перевел меня в маленькое красное школьное здание в деревне, где один учитель обучал детей всех возрастов, собранных в один класс. Все, что я помню об этой школе, так это то, что рядом со школой был пруд, и что была зима, и дети катались по льду на коньках и без них.

Как-то весной 1901 года в Кембридже, когда мне исполнилось шесть лет, мы сняли комнаты в пансионе на Конкорд Авеню напротив Гарвардской Обсерватории. Мы вернулись в Кембриджский пансион, поскольку подумывали о поездке в Европу летом. Мои родители были заняты тем, что покупали необходимые для поездки вещи, а также игрушки и другие забавы, чтобы было чем занять меня и мою сестру на корабле. У меня совсем немного воспоминаний о том времени, но я помню, как я снова встретился со своим другом Германном Говардом, и что девочка, которая была старше меня, Рене Метивье, проживавшая в том же самом пансионе, опекала меня. Она научила меня делать воздушного змея и запускать его, и я помню, как мы вместе ходили на улицу Черч, чтобы раздобыть материалы для змея. В те дни улица Черч в Кембридже имела больше ремесленных мастерских, чем теперь. Когда я ходил в детский сад, наш воспитательница водила нас туда, чтобы посмотреть на замечательные секреты кузниц, мастерских по ремонту колес и столярных мастерских.

Есть еще кое-что, что я хотел бы добавить, говоря о моих ранних воспоминаниях. Вероятно, читателю чрезвычайно интересно узнать, каким образом раннее интеллектуальное развитие вундеркинда отличается от развития обычных детей. И все же, ребенок, вундеркинд он или нет, не может провести сравнение более ранних стадий своего интеллектуального развития с развитием других детей до тех пор, пока он не достигнет уровня общественного сознания, возникающего в более поздний период детства. Если мы говорим, что этот ребенок — вундеркинд, мы делаем заявление, касающееся не только обсуждаемого ребенка. Это заявление касается скорости его интеллектуального развития относительно других детей. И это

именно то, что могут наблюдать его родители и учителя намного раньше, чем он сам. На ранних стадиях обучения ребенок является нормой сам для себя, и если он приходит в растерянность, то единственное, что можно сказать в этом случае — это повторить слова индейца: «Я не заблудился, это выгвам заблудился.»

Я все еще был ребенком, может, семи или восьми лет, когда узнал достаточно об интеллектуальном развитии других детей, чтобы как-то в своем разуме прокомментировать относительную скорость обучения других и мою собственную. К этому моменту более ранние стадии процесса обучения чтению или наипростейшим аспектам арифметики отступили в прошлое так же прочно, как и воспоминание ребенка со средним уровнем развития о том, как он учился говорить. По этой причине все, что я должен сказать относительно этих вещей едва ли будет отличаться от истории любого другого ребенка, за исключением лишь года и месяца моей жизни, когда я проходил различные стадии развития.

Итак, отметим: способность любого ребенка обучаться на ранней стадии развития является чудом, даже если потом этот ребенок, по нашему мнению, становится в некотором роде тупоумным. Когда ребенок начинает говорить — это значит, что он овладел первым в своей жизни иностранным языком. Между рождением и двумя годами наблюдается развитие новых умственных навыков, и в более поздней жизни нет развития, равного этому, и вот отсюда-то ребенок и становится либо гением, либо идиотом. Это скорее развитие навыка делания, нежели развитие мысли о делании; спонтанный рост новых талантов, а не работа ребенка в качестве собственного самосознающего школьного учителя. Все дело заключается в том, что в моем случае начальная стадия чтения приходится на возраст, не превышающий и в два раза тот, когда многие дети переживали начальную стадию развития речи, а также в том, что я учился читать, а не думать о процессе чтения. Позже, когда я прочел свои первые учебники (дома под руководством моих родителей), я научился различать заглавные и прописные буквы, а также рукописный шрифт. У меня сохранились воспоминания лишь о препятствиях на этом моем пути, что же касается большей части заданий — они выполнялись спонтанно и бессознательно. Я помню, что сходство между *i* и *j* озадачивало меня, и что в старых книгах *s* выглядела удлинённой и сильно напоминала букву *f*. Я помню, что письмо вызывало у меня трудность механического порядка, и что мой почерк в самом лучшем его исполнении в течение очень долгого времени оставался намного ниже принятого в классе стандарта. Что же касается арифметики, я считал, используя пальцы, и

продолжал делать это даже после того, как такой счет стал недопустимым согласно нормам, принятым в школах. Меня приводили в замешательство вещи, которые считались аксиомами, например, $a \cdot b$ равно b умноженному на a , и я пытался понять это, рисуя прямоугольник из точек и поворачивая их через прямой угол. Я не особенно быстро выучил таблицу умножения, а также многие другие вещи, которые необходимо было запоминать механически, однако с самого раннего детства мне легко давалось понимание принципов достаточно сложных операций. Я помню старый учебник Уэнтворта «Арифметика» («Arithmetic»), в котором я с легкостью читал рассуждения о простых и десятичных дробях задолго до их изучения в школе. В целом, для меня были характерны две прямо противоположные вещи: отсутствие техники быстрого и точного сложения и умножения и понимание, почему различные законы арифметики — коммутативные, ассоциативные и дистрибутивные — являются истинными. С одной стороны, мое понимание предмета было слишком быстрым, чтобы я тут же мог им манипулировать, а с другой стороны, мое проникновение в природу фундаментальных знаний заходило слишком далеко, чтобы я мог найти объяснения в книге, посвященной манипуляции. Но если мы вновь обратимся к начальной стадии развития в области арифметики, то я скажу, что мне это так же трудно вспомнить, как и начальные стадии развития навыков чтения и развития речи.

Такое отнесение трудной и поистине умственной части моей работы на уровень, где нет полного осознания, не является характерным лишь для моих детских лет, это продолжается и по сей день. Я не имею полного представления, каким образом у меня зарождаются новые идеи или каким образом мне удастся разрешать те явные противоречия между идеями, уже существующими в моем разуме. Я не знаю, являются ли мои идеи моими господами или слугами в тот момент, когда я думаю, и если вдруг они решаются как-то сами по себе, приобретая вполне понятную и употребляемую форму, они делают это на таком глубоком уровне моего сознания, что большая часть таких решений приходит во время моего сна. Я вынужден говорить об этом повсюду, и все же я не могу найти в истории развития моего собственного разума никакого более или менее сильного отличия между стремлением в детстве к детским знаниям и между силой и стремлением в моей взрослой жизни к познанию нового и непознанного. Сейчас я знаю больше и обладаю более полным набором практических навыков, но зачастую мне сложно ответить на вопрос, когда и как я приобрел эти практические навыки и это новое знание.

То, что я действительно унаследовал от отца, — это великолепная память. Под этим я не имею в виду, что мой отец и я не имеем ничего общего с совершенным образом рассеянного профессора, и что мы не способны забывать о вещах из повседневной жизни. Я имею в виду то, что если нас осенил ряд идей или нам открылся какой-то новый взгляд на вещи, это становится неотъемлемой частью нас самих, и несмотря ни на какие превратности судьбы, мы не способны утратить это. Я помню последние дни жизни моего отца, когда он умирал от апоплексического удара, и когда его замечательный ум отказался служить ему даже в том, чтобы узнавать любимых им людей, что были вокруг него. И я помню, что он разговаривал на английском, немецком, французском, русском, испанском языках, как если он обладал даром говорить на языках. Он уже не понимал того, что видел вокруг себя, и все же, говоря на всех этих языках, он употреблял их правильно как лексически, так и грамматически. Рисунок прочно вошел в ткань, и ни износ ее, ни ветшание не в состоянии его уничтожить.

IV

ИЗ КЕМБРИДЖА В КЕМБРИДЖ ЧЕРЕЗ НЬЮ-ЙОРК И ВЕНУ

Июнь — сентябрь, 1901

Г. К. Честертон как-то заметил, что нет лучшего способа увидеть Лондон, чем совершить кругосветный вояж из Лондона в Лондон. Мы не можем оценить какой-либо жизненный опыт до тех пор, пока мы не попробуем нечто совершенно иное, чтобы оно стало ориентиром для нашей оценки. Я уверен, что я никогда бы не научился понимать Новую Англию, если бы не провел какой-то отрезок своей жизни далеко за ее пределами, лишь тогда я смог увидеть великие черты ее духовного характера, раскрывшиеся передо мной как географическая карта.

В конце весны 1901 года, когда мне было шесть с половиной лет, а моей сестре около трех, наша семья отправилась на корабле Фолл Ривер в Нью-Йорк, где мы должны были остановиться у родственников моего отца. Они жили где-то на Шестидесятых улицах между Третьей и Четвертой Авеню. В то время Верхняя часть Четвертой Авеню не была такой престижной, как Парк Авеню; этот район был лишь немногим благороднее трущоб Ист-Сайда. Типичный старомодный дом, в котором жили наши родственники, находился на верхнем длинном пролете лестницы, ведущей с улицы к дому. Это был темный, душный, перенаселенный дом. Окна располагались лишь на фасадной и на задней его сторонах. И в этот дом, уже до отказа заполненный жильцами, необходимо было втиснуть еще четверых визитеров из Бостона. Однако вблизи от нас располагался Центральный Парк, до которого можно было пойти пешком, минуя особняки, тянувшиеся в то время вдоль Пятой Авеню, а зоопарк Центрального Парка был всегда для нас восхитительным местом.

Мой дядя, Джейк Винер, был единственным представителем истеблишмента. Он был квалифицированным печатником, выполняющим акцидентные работы, и знал свое дело очень хорошо. Самое большое удовольствие он получал от занятий гимнастикой. Когда-то он занимал третье место в

упражнениях на брусьях в рейтинге Америки. Если когда-либо кто-то и был создан для занятий спортом, так это, несомненно, дядя Джейк. Я уже рассказывал о том, какими мощными плечами обладал мой отец, плечи же его брата Джейка были огромными, а его тело — мускулистым, как тело борца. Ростом он был даже ниже моего отца; ноги были тонкими и непропорционально длинными. У него был втянутый мускулистый живот как у атлета. Его лицо с одной стороны было искажено из-за какой-то травмы, полученной им в раннем возрасте, вызвавшей некроз одной стороны нижней челюсти. Он был очень добр к нам, детям, и я помню, как он демонстрировал нам шутовской колпак с колокольчиками, который он надевал на одной из вечеринок для жильцов. В то время ему едва исполнилось тридцать лет, и он был неженат, хотя позже женился и обзавелся семьей.

Моим тетям выпало больше возможностей для получения культурного образования, нежели дяде Джейку. Они сохранили много русских культурных традиций, хотя позже пришли к выводу, что французские культурные традиции имеют большую для них ценность с коммерческой точки зрения, так как они торговали одеждой. У тети Шарлотты, Ольгиной матери, был муж, который впоследствии ее бросил. Она разошлась с ним, но судьба заставила ее еще раз познать такое же горе. Как и ее сестра, Августа, которая так никогда и не вышла замуж, она занималась шитьем. Они обе были исключительно умными женщинами; и если бы им была предоставлена хотя бы половина возможностей, выпавших на долю моего отца, они сделали бы в жизни карьеру, которая могла бы сравниться с его карьерой. Они бегло говорили на нескольких языках, и позже, прожив несколько лет в Париже, обе стали ценными помощницами в бизнесе нью-йоркского модельера женской одежды, где они выдавали себя за француженок.

Тетя Шарлотта продолжала работать, будучи уже в весьма преклонном возрасте, и умерла относительно недавно в результате несчастного случая. Она обладала ярко выраженной типичной еврейской внешностью и напоминала некоторых из тех французских евреек, с таким жизнелюбием изображенных на полотнах Дю Морье. Тетя Августа внешне очень напоминала ее, хотя из них двоих была более привлекательной. Как и сестра, она тоже дожила до весьма преклонного возраста. Была также и тетя Адель, которая позже вышла замуж, и на короткое время поселилась рядом с нами в деревне, а затем переехала на побережье Тихого океана; ее я почти не помню.

Был у них и третий брат, Мориц; он был старше моего отца. Однажды он исчез из поля зрения семьи на долгие годы. Последнее место его пребывания, о котором известно, был Колон или, как его тогда называли,

Аспинвол, и как раз в то время разразилась печально известная эпидемия желтой лихорадки. Моя бабушка всегда говорила о нем, как если бы он был жив и мог вернуться в любую минуту; но глубоко в сердце она знала, что он давно мертв. И все же, хотя прошло столько лет, когда мои дочери предаются мечтаниям о внезапном богатстве, всегда допускается отдаленная возможность, что однажды очень старый джентльмен, вернувшийся из далекого далека, скажем, из Австралии, где он сколотил состояние, войдет в наш дом, и под наплывом сентиментальных семейных чувств, оставит нам свое богатство.

Пока жива была моя бабушка, визит в Нью-Йорк означал бесконечную череду визитов вежливости к троюродным, и так далее, братьям и сестрам и их друзьям. Теперь я знаю, что это неотъемлемая часть структуры еврейской семьи, но в то время я даже не знал, что принадлежу еврейской семье. Моей матери необходимо было подбирать нужные слова для описания тех качеств родственников отца, которые, по ее мнению, не были достойны подражания; но слово «Нью-Йорк», произносимое с весьма презрительной интонацией, подходило для этой цели как нельзя лучше.

Однако ребенок, главным образом, интересуется тем, что относится к кругу его детских интересов, и из всей семьи меня интересовала, в основном, Ольга. Она показала мне несколько трюков, проделываемых городскими детьми, к примеру, подкладывание кнопок на проезжую часть дороги, чтобы проезжающие автомобили расплющивали их, и мне кажется, что мы часто играли с ней в казино. Дядя Джейк показывал мне иногда фокусы с картами, и учил, как можно строить домики из колод старых карт. Были у Ольги и миниатюрные детские карты, которые она покупала в ближайших канцелярских магазинах; колоды этих карт всегда были неполными, и они гондились разве что для построения из них карточных домиков.

Пыхтящие паровозики, проходящие по надземке над Третьей Авеню, изумляли меня. Обычно мы ездили на них в центральные большие магазины за покупками. Воспоминание о том, как я тащился за матерью, когда она делала все эти покупки, является одним из неприятных, хотя только так можно было снарядить меня для предстоящего путешествия по океану, а также купить игрушки, чтобы развлекать в пути мою сестру Констанс и меня. Я помню маленький парусник, который я пытался пускать в озерах Центрального Парка. Ни у моего отца, ни у меня не было ни знаний, ни опыта для того, чтобы мы могли осуществить это.

Среди подарков, купленных для путешествия, были научно-экспериментальные наборы для детей; они назывались «Забавы с электричеством»,

«Забавы с магнетизмом» и «Забавы с мыльными пузырями». Любопытно, расширило ли современное поколение, вдохновляемое Чарльзом Аддамсом, рамки этих забав, включив в число наборов «Забавы с атомной физикой», «Забавы с токсикологией» и «Забавы с психоанализом». Включили они их или нет, но наборы из моего детства были абсолютно изумительными, и даже сегодня я помню подробности экспериментов, содержащихся в них.

В конце концов мы пересекли гавань до Хобокена на пароме, чтобы взойти на борт корабля Голландия–Америка Лайн. Мы путешествовали вторым классом, что было самым дешевым способом путешествовать, какой только могла себе позволить семья с детьми в те дни, когда третий класс был предназначен для очень бедных. Я вспоминаю, как даже в свои ранние поездки в западном направлении после Первой Мировой Войны я смотрел вниз с палубы второго класса на пестрое собрание пассажиров третьего класса, зачастую одетых в свои национальные одежды, сбивавшихся в группы из-за двусмысленности, вызывающей чувство дискомфорта, которая была характерна для среднеокеанического пути тех дней.

Корабль — это восхитительное место для ребенка. На борту было несколько других детей, с которыми я мог играть; а морская болезнь, в основном, присуща лишь взрослым. Я всюду проказничал, и меня часто надлежащим образом выдворяли из рабочего коридора судна. Мне доставляло удовольствие смотреть вниз с палубы на постоянно меняющуюся и напоминающую мрамор водяную пену. На корабле были объявления на английском, немецком и голландском языках, привлекавшие мое внимание, в то время я уже прилично знал немецкий, — я не помню, каким образом я выучил его, — чтобы обнаружить сходство между немецким и голландским в объявлениях, висящих в каютах. Я несомненно досаждал пассажирам, отдышающим в шезлонгах, как это всегда случается с детьми на борту судна, но однажды я сильно поплатился за это, когда один из разгневанных пассажиров зажал меня под шезлонгом и щекотал до тех пор, пока я не потерял всяческое терпение. И наконец, однажды я проснулся и обнаружил, что двигатели судна не работали, а через иллюминатор мне в лицо заглядывал Роттердам.

Мы сели в купейный европейский поезд до Кельна. У меня в памяти до сих пор сохранились образы железнодорожного вокзала, гостиницы, где мы останавливались, и собора. Машины-автоматы в Германии были намного больше и красивее, чем те, которые я видел дома, и поджаренный миндаль, продававшийся ими, явился новым лакомством. В конце концов, мы выехали в предместье Кельна, где жил двоюродный брат моего отца.

Я уже сказал, что у меня были какие-то отрывочные знания немецкого языка еще до того, как мы отправились в Европу, но я сомневаюсь, что они были достаточными для того, чтобы мой отец мог сказать, что я знал немецкий. Мой отец признавал лишь совершенство во всем, что касается языков, как и положено человеку, которому языки давались очень легко, и который познавал их досконально. Его стремление достигать совершенной правильности в языке было тяжелым испытанием для его студентов, но еще более тяжелым для семьи. У моей матери способность говорить на иностранных языках была, пожалуй, выше средней, и она достаточно прилично знала немецкий. И все же, она немела перед профессионализмом отца. Она восхищалась его знаниями иностранных языков, и без всякой на то необходимости, позволяла себе полагаться лишь на его знания в жизненных ситуациях. Что же касается меня, то до тех пор, пока я не уехал из дому и не женился, и лишь благодаря чуткости моей жены, я осмелился говорить на иностранных языках, не испытывая при этом чувства вины, которое всегда вводило меня в сомнения и заставляло заикаться на каждом слове.

Путешествовать по Европе в сопровождении моего отца означало видеть ее глазами европейца. Строго говоря, я так и не познал тот период, характерный для каждого начинающего туриста, когда каждая дверь и каждая стена представлялись своего рода крепостью, в которую ему необходимо было проникнуть. Поскольку даже в этот первый мой визит моя неадекватность как чужестранца казалась совершенно неприметной из-за более сильной и совершенно иного рода неадекватностью, присущей ребенку. Во время моего второго посещения Европы, когда я был уже молодым человеком, она показалась мне почти такой же знакомой, что и Соединенные Штаты из-за воспоминаний о моем первом пребывании в ней при постоянном присутствии моего отца, и из-за всего того, что мне удалось изучить и прочесть о ней. Так что сравнить неизвестную Европу с известной мне Америкой я практически не мог.

Я не могу сказать, что мне не пришлось попадать в просак или пережить несколько горестных моментов, что постоянно случается с невинными молодыми людьми за границей. Но эта, так сказать, болезнь была скоротечна, и она была значительно облегчена за счет прививки в виде моего предыдущего посещения Европы. Мне всегда казалось, что Генри Адамс, тяжело переживавший отчаяние туриста, был подобен человеку, впервые заболевшему свинкой, будучи уже в возрасте двадцати лет. У Адамса так и осталась аллергия к современной Европе на всю жизнь. А для меня мой ранний визит

был, пожалуй, одним из самых лучших, какие только могут быть, курсов обучения, поскольку ученый должен быть гражданином мира.

Из Кельна мы отправились на пароходе вверх по Рейну. В Майнце мы сошли с парохода и продолжили наш путь в Вену. В течение продолжительного времени мы оставались в Вене, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Ребенка обычно впечатляют весьма незначительные вещи, и, пожалуй, из всех тех впечатлений в моей памяти дольше всего задержался запах. Запах спиртовой горелки, на которой родители грели ужин для моей сестры, запах густого европейского шоколада со взбитыми сливками, запах гостиницы, ресторана и кафе — я все еще явственно ощущаю все эти запахи. Я помню вегетарианские рестораны, где мы обедали, и отправляясь в которые, надо было подниматься вверх по каким-то лестницам, а также пенку на кипяченом молоке, которую я с трудом мог проглотить. Во Франкфурте мы попробовали стакан сидра, что имело для меня печальные последствия.

Для меня было чем-то совершенно новым видеть газеты, висевшие на стенах кафе в деревянных рамках. Пока отец читал свою, чтобы узнать новости, я просматривал английскую газету, в которой были детские рассказы-фельетоны. Я читал еще не достаточно бегло, и мне сложно было следить за ходом повествования, поскольку весь рассказ печатался по частям день за днем, но у меня осталось смутное впечатление, что это был рассказ Киплинга «Эльф с Холма Злых Духов» («Puck of Pook's Hill»). Я уверен, что даты правильные, поскольку этот рассказ Киплинга был написан им для его детей, которые были немного старше меня, и похоже, что они родились, когда он жил в Брэттлборо, совсем незадолго до моего рождения.

Одна из причин, почему отец направился в Вену, заключалась в том, что он хотел встретиться с журналистом Карлом Краусом. Я не знаю, что они обсуждали, но вполне вероятно, что они касались еврейских вопросов, и еще более вероятно, что они обсуждали вопрос о переводе с идиша на литературный немецкий поэмы, написанной Морицем Розенфельдом, нью-йоркским поэтом-портным, которого «открыл» мой отец. Я помню, как меня привели в квартиру Крауса, располагавшуюся в старом венском многоквартирном доме, и помнится, что в ней был ужасный беспорядок, какого я больше нигде и никогда не видел.

В Вене было жарко и некомфортно, а клопы немилосердно кусали нас, детей. Мои родители не догадывались, что у нас с кожей, не помог им в этом вопросе и выдающийся дерматолог, которого мы пригласили. Он диагностировал наше заболевание как зуд, и данный им термин «зуд семилетнего ребенка» никоим образом не мог утешить моих родителей.

Когда же выяснилась истинная природа нашего заболевания, домовладелица не выказала ни малейшего сочувствия, заявив, что в Вене, старом городе, где стены в домах покрыты старой сыплющейся штукатуркой, нет ни одного человека, кто был бы застрахован от клопов — даже у императора в его дворце нет такой гарантии. Император может и был привычен к клопам, а вот для нас они были чем-то совершенно новым; и они послужили нам абсолютно ясным сигналом для того, чтобы мы оставили этот город и переехали в более здоровое место. Мы поселились у сапожника в маленьком винервальдском городке Кальтенлейтгебен. Дом стоял непосредственно на деревенской улице, и возле него не было пешеходной дорожки. Позади него возвышался холм, и его небольшая лестница вела к маленькой садовой беседке. Как и в случае с фермерским домом в Александрии, где мы когда-то останавливались, расположение Кальтенлейтгебена хорошо запечатлелось в моей памяти, так что спустя тридцать лет, когда я вновь приехал туда, я смог узнать этот дом.

В семье сапожника было несколько мальчиков, с которыми я играл. Каким образом мы общались, сейчас объяснить трудно, поскольку они определенно не говорили на английском, и мои родители уверяли меня, что я не говорил по-немецки, по крайней мере, так полагал мой отец. И все же ясно, что мы действительно понимали друг друга, поскольку вместе мы озорничали намного больше, чем два юных негодяя, Макс и Мориц, о которых нам поведал Вильгельм Буш. Когда мы не были заняты исследованием толстых личинок и улиток, в изобилии плодившихся в садике позади дома, мы играли в запрещенные игры с мячом в кегельбане, примыкающем к близлежащему ресторану, и уж, наверняка, никоим образом мы не улучшили состояния сапожного станка своим вольным с ним обращением. Нас можно было отыскать в не очень чистых местах рядом с открытым бассейном или на местной ярмарке покупавшими маленькие бутылочки — имитации тех, что пользуют для грудных детей, — наполненные цветной водой.

В конце концов, после долгого путешествия через Германию и Голландию мы приехали в Лондон. Мы нашли гостиницу для вегетарианцев в Мейда Вейл, которая состояла из двух объединенных между собой домов. Позади нее находился сад для домовладельцев, живших по соседству. Я играл там с какими-то детьми, которые, если мне не изменяет память, были сыновьями и дочерьми знаменитого пианиста Марка Гамбурга. В то время все еще шла англо-бурская война; и поскольку моему отцу был присущ политический либерализм, я, подражая ему, перед своими товарищами по играм называл себя проафрикандером, хотя не имел ни малейшего представ-

ления о конфликте, породившем эту войну. Детишки-англичане оплатили мне тем, что навалились на меня гурьбой.

Недалеко от Мейда Вейл находился дом Израиля Зангвилла, с которым мой отец вел переписку по вопросам сионизма. Зангвилл был одним из самых ярких британских сионистов. Мой отец предвидел трудности, которые впоследствии возникли в результате размещения еврейской колонии на мусульманской земле. Он был истинным приверженцем политики насильственной ассимиляции, так как чувствовал, что будущее евреев в новых странах зависит от того, насколько хорошо они смогут совместить свои национальные интересы с интересами страны, в которой собираются обосноваться, а не от противопоставления, которое может послужить толчком к рождению нового националистического движения.

Мы навестили Зангвилла в его доме, находящемся вблизи от Мейда Вейл, перед которым был симпатичный маленький сад. Он внес меня в дом на своих плечах. Я помню его лицо: лицо типичного еврея, с глубокими морщинами, не красивое, но привлекательное и чувственное. Я должен был увидеться с ним в мой следующий приезд в Европу, но это случилось лишь после того, как мне исполнилось восемнадцать лет.

Он был не единственным писателем, которого мы посетили в Англии. Был еще и Кропоткин, великий географ и настоящий русский князь, выходец из царской семьи, который в молодости примкнул к анархистам и принял участие в попытке покушения на жизнь своего кузена, Его Величества, после чего ему пришлось покинуть родную страну. Годом раньше он посетил Бостон и был представлен моему отцу. В качестве подарка он вручил мне небольшую картонную коробку с минералами. Однажды вечером после того, как он угощался обедом и винами у миссис Джек Гарднер в ее Дворце Фенвей, он пришел к нам домой вне себя от ярости. «Винер, — сказал он, — меня оскорбили!» После того, как отец немного успокоил его, он рассказал, что случилось. Какая-то дама, принадлежавшая бостонскому высшему свету, спросила: «Ах, Князь Кропоткин, и как поживает Ваш кузен, Его Величество?»

Мы навестили Кропоткина в его маленьком доме на Бромли в Кенте. Это был дом рабочего человека, и он удручающе был похож на все остальные дома, стоящие на той улице. Однако дворик позади дома был весьма приятным, и в нем две его дочери угощали нас чаем.

Мы посетили традиционные достопримечательности Лондона такие, как здание парламента и Вестминстерское аббатство. Иногда мы обедали в вегетарианском ресторане в Холборне, а иногда в кафе-кондитерской «Эй-

би-си». Мы, в основном, ездили на автобусах, и мне очень нравилось на верхнем этаже автобуса. Иногда мы пользовались новой подземкой, которую в те далекие времена называли «двухпенсовой трубой». Двухколесный экипаж все еще не имел реальных конкурентов, и на улицах Лондона присутствовало нечто, что позднее я смог распознать как атмосферу рассказов о Шерлоке Холмсе.

Последним городом в нашем путешествии был Ливерпуль. И конечно же, обратный путь домой нам казался скучным, лишенным всяких волнующих событий, как все подобные путешествия, так как впереди нас уже не ждали новые приключения в неизведанных странах, ожидание которых могло бы как-то оживить утомительное плавание.

V

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО

Кембридж,

сентябрь, 1901 – сентябрь, 1903

На улице Эйвон в Кембридже мы сняли не очень старый и довольно приятный дом с флигелем позади, который был немного ниже основного дома. Передние двери дома были из орнаментированного стекла, в передней части дома находились библиотека и гостиная, а также маленький, но удобный кабинет моего отца. Комнаты наверху были большими и светлыми, а небольшой верхний этаж флигеля был отведен под нашу детскую. У нас был огромный задний двор, где мы с сестрой могли играть.

Примерно через два дома от нас жил профессор Боше, который, как мы узнали позже, был великим математиком. Он был сыном француза, бывшего гарвардского профессора современных языков, и мне кажется, что он имел двух сыновей примерно моего возраста. На Пасху 1903 года я присоединился к его детям, чтобы поискать пасхальные яйца, спрятанные для того, чтобы доставить им удовольствие. Немного дальше за домом Боше далеко от дороги стоял дом профессора Отто Фолина, выдающегося химика-физиолога. Выходец из шведских крестьян, он женился на женщине из коренной западно-американской семьи, бывшей подруге моей матери, еще с тех времен, когда они обе жили в Миссури. Я часто навещал их дом и имел обыкновение читать их книги. Обе они, и моя мать, и миссис Фоли, все еще живы и по-прежнему очень дружны.

У моего отца было еще два друга: генетик Касл и физиолог Вальтер Кэннон. К ним я часто обращался с детскими вопросами по поводу науки. Мой отец и я навещали Кэннона в его лаборатории на медицинском отделении в Гарварде, как его называли в те дни, размещавшемся позади Бостонской публичной библиотеки, в здании нынешнего Бостонского университета. Мне особенно было интересно, когда д-р Кэннон показывал нам фотографии канадского лесного человека Алексиса Ст. Мартина, которому

случайно прострелили живот, и врача американской армии Бомона, использовавшего его в качестве подопытной свинки для исследования процессов пищеварения. Кэннон сам рассказывал нам эту удивительную историю о их сотрудничестве.

У меня также вызывала любопытство рентгеновская установка д-ра Кэннона, которая, если я правильно помню, приводилась в действие с помощью какого-то электростатического генератора. Вероятно, Кэннон был одним из первых, кто использовал недавно открытые рентгеновские лучи в изучении более мягких тканей таких органов, как сердце и желудок, и продолжил ранее начатую работу, осуществление которой стало возможным благодаря ужасной фистуле Ст. Мартина. Он также был первым в использовании экранов из свинца в качестве защиты для оператора рентгеновской установки. Именно благодаря этой предосторожности он в течение многих лет оставался неуязвим для этих опасных лучей, в то время как многие из его коллег рассыпались на части, переживая одну ампутацию за другой. И хотя он прожил более семидесяти лет, в конце концов облучение рентгеновскими лучами в первые годы его работы с ними убило его.

Я встречался с этими людьми от случая к случаю. Более частым гостем в нашем доме был друг отца ассириолог Масс-Арнольдт. Мне кажется, что Масс-Арнольдт был австрийским евреем, и выражение лица, впрочем, как и само лицо, сильно напоминали его ассирийских крылатых буйволов. У него была черная борода, он был довольно крупным мужчиной, великим ученым и вспыльчивым человеком. Время от времени, останавливаясь в нашем доме на некоторое время, если отец был чем-то занят, он проводил со мной занятия; он был строгим, но неумелым преподавателем. Однажды, спустя несколько лет, после урока по латыни, который был особенно мучительным для меня, я поливал из шланга газон, и поддавшись внезапному импульсу, я направил шланг на него. Родители должным образом наказали меня, а Масс-Арнольдт после этого всегда смотрел на меня с недоверием.

Для человека, который видел стадии развития и упадка американского Кембриджа, трудно провести сравнение между Кембриджем сегодня и Кембриджем начала столетия. Едва ощутимые перемены выражаются в том, что дома стали более неопрятными, движение на улицах более оживленное, исчезли свободные от построек участки земли и население, которое в 1900 году напоминало население небольшого городка, сохранявшее частично деревенские обычаи, переменялось, что изменило и атмосферу самого города, превратившегося в более крупный, грязный, промышленный центр.

Когда я был ребенком, там все еще жили люди, называвшие Массачусетс Авеню ее старым названием: Норт Авеню; вдоль нее стояли непритязательные, но милые и удобные дома преуспевающих бизнесменов. Они все еще там, но их былая слава канула в лету. Под навесом их въездных ворот больше не стояли повозки, а сложная резьба на деревянных украшениях их террас сгнила. Эти дома обычно заселяли семьи, имеющие по четыре ребенка, а то и больше, ими управляла с кухни компетентная и властная служанка. Для детских игр всегда сооружали огромные дворы, а деревья, укрывавшие их от жаркого солнца, не имели еще этой болезненной жухлости из-за дыма заводов Кембриджского Ист-Сайда.

Незастроенные участки земли в Кембридже весной желтели расцветшими одуванчиками, летом на них расцветали лютики, а осенью они покрывались голубоватыми цветками цикория. Улицы, по большей части, были немощеными, и во время дождей на них были глубокие колеи, оставленные колесами лошадиных повозок, доставляющих товары. В зимнее время повозки заменялись санями, которые называли тогда тобогганами, и дети привязывали к ним свои санки, что было одним из самых любимых развлечений. С холмистых улиц съезжали, не только лежа на животе на маленьких санках, но и на больших спаренных санках и на толстых досках. Было много замерзших луж, по льду которых скользили конькобежцы, и всегда можно было пойти в Джарвис Филд, чтобы посмотреть тренировки гарвардской хоккейной команды.

Я уже говорил, что мой отец был заядлым любителем-грибником; и под его руководством я бродил по незастроенным участкам весной в поисках сморчков, а осенью — шампиньонов. Сморчки росли лишь в нескольких хорошо известных местах, и гарвардские грибники следили за тем, чтобы их права на эти места были должным образом закреплены. Часто случались неприятные инциденты, когда кто-то из них вступал на территорию коллеги и срезал небольшую кучку грибов, которые последний считал своей собственностью. На места, где росли шампиньоны, право собственности предъявлялось крайне редко, а гриб-навозник рос повсюду и в качестве предмета собственности не рассматривался вообще.

Наряду со сморчками и шампиньонами мы пополняли кухонные припасы грибами, растущими под вязами, и время от времени мы находили булавницу или ежовик, а также и более редкие деликатесы; но их собирали, в основном, в течение летних отпусков. Отчасти это привлекало еще и потому, что можно было легко перепутать эти съедобные грибы с ложными шампиньонами или с сыроежками, вызывающими рвоту, и знание о том, что

надо ждать не менее двенадцати часов, чтобы симптомы стали очевидны, явилось причиной многих бессонных ночей как для меня, так и для моих родителей.

Мои ботанические воспоминания не ограничиваются этими плодами полей. Я никогда не смогу забыть маленькие семена клена, пускающие корни в почве, а также крошечные деревца, проклюнувшиеся из них. Запах свежей земли, кленовой коры, смолы вишневых деревьев и свежескошенной травы — это все принадлежит моей юности вместе с монотонным звуком газонокосилки и шелестом падающих капель воды, которой поливали траву, чтобы она сохраняла свою свежую зелень. Осенью было восхитительно пробираться сквозь хрустящие кучи опавшей листвы в сточной канаве или вдыхать ароматный дым сжигаемых листьев. В моих детских воспоминаниях все это дополняется смолистым запахом только что спиленной сосны и различными запахами строительных материалов: льняного масла и свежеприготовленного цементного раствора.

Практически все изменилось в нашей жизни с тех дней. Дерево тогда было дешевым, и мы разбирали деревянные ящики, в которых привозили бакалейные товары, на дрова, масло привозили в деревянных бочонках или аккуратных деревянных ящичках со сдвигаемыми крышками. И все же, главной приметой того богатого времени было то, с какой легкостью можно было нанять служанок. Моя мать всегда имела не менее двух, кухарку и няню для детей, которые также выполняли обязанности прачки, хотя в то же самое время мой отец был всего лишь бедным преподавателем или ассистентом преподавателя, без каких-либо надежд на повышение. Почти все то время, что мы жили на улице Эйвон, я боготворил нашу служанку Хилдред Малони, умную, преданную и компетентную молодую женщину, которая позже добилась многого в своей жизни. Я не помню нашу кухарку, но наша прачка была верной и трудолюбивой женщиной по имени Магги, к которому мы постоянно добавляли прозвище «Пуговицедробилка».

Я вырос в доме, где ценилось знание. Мой отец написал несколько книг, и с самого раннего детства мне знакомы звук пишущей машинки и запах ванночки с клеем. И все же впервые мое воображение было поражено не усилиями ученого-литератора. К тому времени я уже свободно читал. Я мог свободно рыться в обширной и разнообразной библиотеке моего отца. Время от времени научные интересы отца простирались на самые разнообразные исследовательские проблемы, которые только можно вообразить. В наших книжных шкафах можно было найти китайский словарь, грамматики необычных и экзотических языков, колдовские книги по оккультизму,

отчеты по раскопкам Трои и Тиринфа, целый ряд английских научных книг позднего периода викторианской эпохи. И наряду со всем этим там были собрания работ по психиатрии, отчеты по экспериментам с электричеством и записки о путешествиях естествоиспытателей в более отдаленные уголки мира под заголовком «Библиотека Гумбольдта». Там были два странных тома великолепной «Естественной Истории» (Natural History) Кингсли вместе с далеко не научной, а скорее развлекательной книгой Вуда, которую годами раньше мне подарил мистер Холл.

Я был всеядным читателем, и к тому времени, когда мне исполнилось восемь лет, я перенапряг свои глаза, поглощая все книги, что встречались мне. Мое внимание привлекали как научные книги из библиотеки отца, так и книги Диккенса, которые мне читала мать, и «Остров сокровищ» («Treasure Island») Стивенсона, и «Арабские ночи», и сочинения Майна Рида. Для меня все эти книги были о захватывающих приключениях, и рассказ о Длинном Джоне Сильвере, и истории из журнала «Св. Николаса» бледнели по сравнению с подлинными описаниями приключений тех естествоиспытателей, которые обнаруживали новые виды диких зверей, птиц и растений в мрачной темноте дождевых лесов и слышали пронзительные крики макао и длиннохвостых попугайчиков.

Таким образом, я мечтал стать естествоиспытателем точно так же, как другие мальчишки мечтали стать полицейскими или машинистами локомотива. Я имел лишь смутное ощущение, что век естествоиспытателей и исследователей-путешественников подходил к концу, оставляя следующему поколению более простые задачи тщательного сбора сведений. Но даже, если бы я полностью осознал это, все равно к тому времени мне было бы сложно отдать предпочтение чему-то одному в науке. Отец принес мне из Гарвардской библиотеки книгу, посвященную различным исследованиям в области света и электричества, включавшую в себя помимо прочего мертворожденную теорию телевизора, неосуществившуюся из-за непригодности селенового фотоэлемента. Она захватила мое воображение. Благодаря ей я стал глубже вникать в книги по физике и химии. Когда мне было около семи лет, отец принял во внимание мой интерес к этим наукам и пригласил студента с химического факультета, увлекающегося русским языком и посещающего его занятия, для того, чтобы он оборудовал маленькую лабораторию в детской и показал мне простые эксперименты.

Конечно же, в экспериментах меня особенно привлекали пахучие вещества, и я научился приему изготовления сульфида посредством нагревания кусочков металла с серой, а затем приготовлению сероводорода, подвергая

полученный сульфид воздействию какой-либо кислоты, в частности уксуса. Мистер Уаймен, мой наставник, продолжал обучать меня в течение нескольких месяцев после того, как мне запретили читать из-за быстро прогрессирующей близорукости. После этого прошло совсем немного времени, когда я узнал о его преждевременной гибели в автомобильной аварии, случившейся недалеко от места, где сейчас находится Массачуссетский технологический институт, где я работаю. Мне кажется, что это была одна из самых первых смертей, связанных с автомобильной аварией, в Кембридже.

В зоологии и ботанике диаграммы сложных структур и проблемы роста и организации будоражили мое воображение так же сильно, как рассказы о приключениях и открытиях. Однажды почувствовав интерес к науке, — кстати сказать, различные игры, имеющие отношение к науке, сыграли почти такую же важную роль, как и чтение, — я стал обнаруживать повсюду вокруг себя материал, подогревающий этот интерес. Я стал частенько наведываться в музей Агассиз и ходил туда до тех пор, пока в нем не осталось ни одного экспоната, который я бы не знал наизусть. Я прочел одну научную статью, которая оказала непосредственное влияние на мою сегодняшнюю работу, но где я ее нашел, не могу вспомнить. Она каким-то образом переплелась в моей памяти со статьей Дана Бирда, опубликованной в журнале «Св. Николаса» под названием «Складная Палочка». В ней содержался материал относительно аналогий и соответствий в скелетах позвоночных. Статья более углубленного характера, которая в моей памяти связана с этой, должно быть, была написана каким-то ученым физиологом. В ней содержался весьма подробный отчет о развитии нервного импульса вдоль нерва как следствия процесса нарушения, напоминающего скорее последовательный распад цепочки блоков, нежели непрерывность электрического импульса. Я помню, что статья возбудила во мне желание изобрести квазиживой автомат, и понятия, которые я почерпнул из нее, занимали мой ум в течение многих лет до тех пор, пока я, будучи уже взрослым, не дополнил эти знания более формальным изучением современной нейрофизиологии.

Наряду с книгами, которые я читал с легкостью, были книги, вызывавшие во мне настоящую боль, и к своему стыду, переживая эту боль, я испытывал некоторые элементы удовольствия. Никто не запрещал мне читать эти книги, я сам для себя наложил на них запрет, и все же, когда я пропускал страницы, вызывавшие во мне страх, я не мог удержаться, чтобы мельком не взглянуть на них. Большая часть книги Струввелльпетера, а также многие страницы из Макса и Морица были из этой сферы. В «Арабских ночах» был страшный рассказ «История греческого врача» («Tale of

the Greek Physician»), а также сказка братьев Гримм «Мальчик, который не знал страха» («The Boy Who Did Not Know Fear») порождала во мне ужас. В научных книгах, к которым я имел доступ, в некоей мере присутствовало нечто, что возбуждало во мне эту смесь эмоций, и я помню, в частности, ужасающие, и в то же время зачаровывающие отделы в «Библиотеке Гумбольдта», посвященные отчетам о смертной казни электричеством и о моде на уродства. У меня с раннего возраста был интерес к медицинским книгам, который отчасти был оправданным и научным, и все же не лишенным некоторого, и немало, элемента любопытства, порожденного желанием «заглянуть чудищу в лицо». Я осознавал в достаточной мере смесь эмоций, переживаемую мною, читая обо всем этом, и я не мог притворяться, что мой интерес носит невинный характер. Эти книги вызывали эмоции, связанные с болью и ужасом, все же каким-то странным образом они заставляли меня испытывать удовольствие. Я знал это уже тогда, задолго до того, как работа Фрейда попала в поле моего внимания и помогла мне понять эти запутанные эмоции.

Вероятно, большая часть из того, что я читал в то время, была недоступна моему пониманию. Для полноценности образования тот факт, что каждая идея должна быть понята в момент знакомства с нею, существенным не является. Любой человек, имеющий подлинный ментальный интерес и богатый содержанием интеллект, приобретает многое лишь из того, к полному пониманию чего приходит постепенно через соотнесение с другими, связанными с этим предметом идеями. Человек же, которому необходимо иметь совершенно ясное понимание связи между идеями, преподнесенное ему учителем, лишен жизненно важной черты, столь характерной для ученого. Ученость — это процесс развития, и в то же время — это своего рода искусство таким образом соединять между собою и перетасовывать отдельные вещи, исследуя их через опыт и свойства своей личности, что ничто не остается вне всякой связи с чем-либо еще, а каждая идея становится комментарием ко многим другим.

Та необычность, с которой развивались мои навыки чтения, вызвала у меня трудность в том, чтобы найти свое место в школе. В семь лет я читал намного лучше, чем писал, и почерк мой был неразборчив и уродлив. Мои знания арифметики были адекватными, но неортодоксальными, так как в ней я предпочитал короткие пути такие, как вместо того, чтобы прибавить девять к какому-либо числу, я прибавлял к нему десять и вычитал единицу. Я все еще испытывал склонность к тому, чтобы производить сложение, используя свои пальцы, и все еще не знал целиком таблицу умножения.

У меня были начальные знания в немецком языке, и я с жадностью поглощал любую научную книгу, попадавшую мне в руки.

После нескольких попыток определиться со школой, решено было отправить меня в третий класс в школу Пибоди на улице Эйвон. Преподаватель был не только добрым и умным, но также весьма терпеливым к моей детской неуклюжести. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мои родители и учителя пришли к выводу, что меня необходимо перевести в четвертый класс. Я не думаю, что им потребовался год, чтобы прийти к этому решению. Мне в то время едва ли было намного больше семи лет. Как бы то ни было, преподаватель четвертого класса оказался менее терпеливым к моим недостаткам, и время от времени мы были не в ладах.

Моим основным недостатком была арифметика. Мое понимание этого предмета было гораздо большим, нежели мое умение пользоваться им. Мой отец понял правильно с самого начала, что мои трудности возникали в связи с тем, что тренировочные упражнения были мне невыносимо скучны. Он решил забрать меня из школы, и предоставить мне возможность заниматься алгеброй вместо арифметики, чтобы дать моему воображению более серьезные задачи и большее вдохновение. С того времени до той поры, пока я не стал посещать школу в Айер в возрасте около десяти лет и немного в более позднем, мое образование прямо или косвенно было в руках моего отца.

Я не думаю, что его первоначальной целью было подтолкнуть меня. Однако он сам начал свою интеллектуальную карьеру, будучи очень молодым, и я думаю, что он был несколько удивлен тем успехом, который наблюдался у меня под его руководством. То, что начиналось лишь как временная мера, переросло в четкий план образования. В этом плане центральное место принадлежало математике и языкам (особенно латинскому и немецкому).

Алгебра никогда не была для меня трудной, хотя манера преподавания отца вряд ли способствовала сохранению душевного покоя. Каждая ошибка должна была быть исправлена по мере ее совершения. Он обычно начинал обсуждение в тоне легкой беседы. Это продолжалось ровно до того момента, когда я совершал первую математическую ошибку. После этого любящего и мягкого отца сменял кровавый мститель. Первым предупреждением моему бессознательному проступку было резко выдыхаемое «Что!», и если я мгновенно не приходил в себя после этого, он обычно давал мне указание: «А теперь сделай это еще раз!» К этому времени я уже плакал и был напуган. Почти неизбежно я вновь совершал свой грех, или что еще

хуже, пытаясь исправить ошибку, совершал еще более грубую. Тогда у отца остатки терпения иссякали окончательно, и он обращался ко мне на языке, который мне казался особенно грубым еще и потому, что я не сознавал, что это был свободный перевод с немецкого. Слово Rindvieh¹ конечно же, комплиментом не является, но все же оно не такое грубое как «тварь»; а Esel² использовалось из поколения в поколение немецкими учителями как наиболее подходящее в качестве ласкового обращения. Это слово не может быть заменено английским «Осел!» («Ass!») или его эквивалентами «дурак, осел» («Fool! Donkey!»)

Я довольно быстро привык к этим ругательствам; и в виду того, что мои уроки никогда не продолжались в течение многих часов, они были просто эмоциональными препятствиями, которые я мог преодолевать одним махом. И все же они действительно были препятствиями. Школьный учитель всегда может сослаться на глупость своего ученика. Сам тон отца был рассчитан на то, чтобы довести меня до пика моих эмоций, а когда он сочетал свой тон с иронией и сарказмом, это превращалось в немилосердную критику. Мои уроки часто заканчивались семейными ссорами. Отец был в ярости, я рыдал, моя мать изо всех сил пыталась защитить меня, хотя ей это никогда не удавалось. Она иногда пыталась сослаться на то, что шум обеспокоил соседей, и что они приходили, чтобы пожаловаться, и это, по всей вероятности, утихомиривало отца, но ни в коем случае не служило утешением мне. Были дни, и это продолжалось в течение нескольких лет, когда мне казалось, что семейные узы не смогут выдержать такого напряжения, а защищенность ребенка всегда зиждется на крепости семейных уз.

Но более серьезными для меня оказались вторичные следствия поведения моего отца. Я часто выслушивал за обеденным столом и в присутствии компании высказывания отца о моей инфантильности и болезненно переживал это. В дополнение ко всему этому, я хорошо знал о недостатках отца моего отца, и во мне укрепилась мысль о том, что все его худшие черты пока скрыты в моем характере, и надо подождать лишь несколько лет, чтобы они проявились.

Теперь, когда я перечитываю воспоминания Джона Стюарта Милля о его отце, внешне создается впечатление о вполне добрых отношениях между ними. Но я-то знаю, что это не так, и когда я читаю написанные им несколько слов о раздражительности отца, я знаю точно, как следует

¹Скотина (нем.)

²Осел (нем.)

понимать эти строки. Я уверен, что даже если его раздражительность была более завуалирована, нежели раздражительность моего отца, она оказывала не менее сильное воздействие. В книге Милля абзац за абзацем повествуется о том, что могло бы быть рассказом истинного представителя викторианской эпохи об обучении, очень напоминавшем то, что мне довелось пережить.

Мое обучение имело как примечательное сходство с тем, через которое прошел Милль, так и важное отличие от него. Обучение Милля было преимущественно классическим, поскольку в то время не было другой альтернативы для получения достойного образования. Поэтому Милль имел более широкое представление о классических предметах, чем я, и с более раннего возраста; но он начал свои занятия математикой намного позже, и его отец был менее авторитетным наставником в этом предмете. Мой же отец еще в ранней юности выказывал выдающиеся математические способности, которые он хотел развить во мне, начиная с того момента, когда мне исполнилось семь лет. Более того, к семилетнему возрасту я уже был способен читать книги по биологии и физике, что намного превосходило то, на что был способен сам отец в таком возрасте, и что было гораздо глубже по содержанию, нежели педантично классифицированная естественная история, доступная для мальчика Милля во время его экскурсий по местности.

Кое в чем мой отец напоминал Джеймса Милля: оба они страстно любили пешие прогулки и окружающую природу. Я полагаю, однако, что старший Милль не обладал талантом фермера, коим мой отец так гордился, и что мальчика Милля не принуждали так сильно, как меня, работать в саду или в поле. Что касается Милля и меня, для нас обоих прогулки с нашими отцами были обильным источником не только удовольствий от пребывания на природе, но и морального вдохновения, которое мы черпали, общаясь с образованными людьми и сильными личностями.

Похоже, что Милль-отец и Милль-сын сконцентрировали свои жизни вокруг вопросов этики. Они были выходцами из шотландской семьи, а каждый шотландец по праву своего рождения является философом и моралистом. Точно так же это право присуще и каждому еврею. И все же более импульсивный характер жителя Средиземноморья придает его способности философствовать и морализировать несколько иной тон, отличный от того, что присущ жителю севера.

Оба Милля являются двумя великими гуманистами истории. Карьера моего отца, пожалуй, так же сильно была мотивирована гуманистическими идеями. И все же корни его гуманизма отличались от тех, что были характерны для обоих Миллей, отличались точно так же, как различны между со-

бой Иеремия Бентам и Лев Толстой. Страсть, испытываемая к человечеству Миллем-отцом и Миллем-сыном, была интеллектуальной страстью, полной благородства и праведности, но достаточно бесплодной из-за отсутствия эмоциональной заинтересованности в участи угнетенных. Умонастроение моего отца корнями уходило в философию глубокого сострадания к человечеству Толстого, которая сама по себе являла сострадание и самоотречение Индусского Святого. Короче говоря, оба Милля были приверженцами классицизма, вобравшими в себя сострадание, характерное для романтического периода, в то время как отец, хотя и воспитанный в классических традициях, был романтиком из романтиков.

Я не представляю, чтобы моего отца или меня самого мог так глубоко тронуть, как Милля-отца и Милля-сына, блестящий, но обдающий холодом, перевод Гомера, сделанный Александром Поупом. Поэзия, которая больше всего волновала моего отца и меня, это поэзия Гейне, с его устремлениями к прекрасному и с горечью, испытываемой поэтом, когда он слишком отчетливо начинает видеть противоречие между тем, что существует, и тем, во что он хотел бы верить. Я не могу представить, чтобы Милль считал Гейне чем-то большим, нежели нахальным выскочкой, хотя в книгах Милля вполне могут быть скрытые ссылки на Гейне, что, вероятно, может опровергнуть мои слова.

В переживаниях Милля и моих собственных присутствует нечто большее, чем просто параллельность, как в подробностях, так и в более общих чертах. Совершенно ясно, что как его, так и мой учитель желал не допустить того, чтобы мы принимали себя слишком всерьез, проводя политику навязывания скромности, что подчас приводило к систематическому уничтожению. И понятно, что оба ребенка сочетали в себе глубочайшее уважение к своим отцам с внутренним ощущением некоторого лишения и обиды. И все же конфликт сына и отца проявлялся по-разному. Как Милль-отец, так и Милль-сын испытывал отвращение к какому-либо проявлению эмоций, что совершенно было не похоже на моего отца. Однако из воспоминаний Милля-сына о его обучении совершенно ясно, что в этом процессе присутствовали сильные эмоции, и они никоим образом не ослабевали из-за того, что отцу и сыну удавалось скрывать свои эмоции за фасадом бесстрастности.

Я сомневаюсь, что для Милля-отца была характерна такая же вспыльчивость и такая же гневливость, какие несомненно были присущи моему отцу, и в той же мере я сомневаюсь, что он проявлял хотя бы иногда человеческую слабость и страстные желания, которые в нашей семье приводили

к смене ролей отца и сына и заставляли меня сильнее любить отца, потому что он так и не перестал быть ребенком. В книге Милля всегда присутствует ощущение, что его осознание двойственного отношения к собственному образованию аккуратно подрезано подобно деревьям в саду восемнадцатого столетия.

Мы обязаны отчасти Сэмюэлю Батлеру тем, что нам приоткрылся подавляемый конфликт между Джоном Стюартом Миллем и его отцом. Сэмюэль Батлер, пожалуй, не был вундеркиндом в полном смысле этого слова, но как многие из вундеркиндов, он вырос под личным наставничеством влиятельного отца, и как многие из вундеркиндов, включая меня самого, он в определенной степени протестует против этого наставничества в своих воспоминаниях. На самом деле, у меня есть ощущение того, что Сэмюэль Батлер, как Эрнест Понтифекс из книги «Путь плоти» («The Way of All Flesh»), страдал от родительской опеки, такой же, похоже, строгой, как и моя, и от рук человека бесконечно более заурядного и менее сострадательного, чем мой отец. Его двойственное отношение к отцу содержит в себе больше ненависти, чем любви, а то уважение, которое он испытывал к нему, является больше уважением к сильной личности, чем уважением к доброжелательности. Я не могу отрицать, что в моем отношении к отцу присутствовали элементы неприязни. Это были элементы самозащиты и даже страха. Но я всегда признавал его превосходство в научных вопросах и его непогрешимую честность и уважение к истине, и признание всех этих его качеств давало мне силы в большинстве случаев переносить болезненные ситуации, часто возникавшие между нами, которые, по всей вероятности, были бы абсолютно невыносимыми для сына Преподобного Понтифекса.

Что касается влияния внешнего мира, условности отца Понтифекса несомненно ввергали Эрнеста в ситуацию наиболее напряженного конфликта, но это же и ограждало его в какой-то мере от неодобрения миром, как волнорез ограждает корабли в гавани. Преподобный Понтифекс признавал условности во всем, только не в солидности и благородности собственного консерватизма. Что же касается меня, при всем моем понимании отца, мне пришлось терпеть двойное наказание, за то, что я был чуждым условностей ребенком отца, который также был чужд условностей. Таким образом, я оказался отгорожен от окружающего мира двумя слоями изоляции.

Крайне вероятно, что религиозные проблемы играли доминирующую роль в отношениях Сэмюэла Батлера и Джона Стюарта Милля с их отцами. Эти проблемы были даже еще более острыми в юности Эдмунда Госса, еще одного писателя, которого необходимо упомянуть при обсужде-

нии взаимоотношений отца и сына. Книга Госса «Отец и Сын» («Father and Son»), как и книга Батлера, представляет собой повествование о взаимоотношениях мальчика, стремящегося к независимости, и влиятельного отца с теологическими интересами. Кроме того, книга Милля, выражающая крайний интерес к формальной теологии как со стороны отца, так и сына, имеет сильное этическое звучание, что свидетельствует о поглощенности данным предметом. В моем случае, хотя отец и обладал сильными нравственными устоями, нельзя сказать, что у него был какой-то большой интерес к теологии. Источником гуманистических идей был Лев Толстой, и не смотря на то, что Толстой украшает свои пропагандистские тексты множественными цитатами из Библии, он чувствует себя более уютно в том разделе христианства, который проповедует смирение и благотворительность и превозносит добродетели угнетенных и тех, кого не ценят. Я уже сказал о том, что начал выражать свои сомнения в отношении религии, когда мне было пять с небольшим лет, причем я делал это в терминах, за которые меня могли бы сурово наказать, а находился я под властью Батлера-отца или Госса-отца, я мог бы быть наказан еще более сурово.

Позвольте мне вернуться к подробностям моей собственной истории. Я определенно не помню какой-либо действенной оппозиции со стороны моего отца. Более того, я сильно подозреваю, что мои детские упражнения в агностицизме и атеизме были чем-то большим, чем просто отражением отношения к этому моего отца, которое, вероятно, отражало отношение моего дедушки, повесы и шалопая, давно выскользнувшего из объятий иудаизма и не примкнувшего ни к какой другой эквивалентной религии. Даже скептик вроде Джеймса Милля посчитал бы мое легкомыслие невыносимым. Моё развитие как ребенка-вундеркинда в том, что полностью принадлежит светской сфере, полностью отличается от развития всех этих жертв или, напротив, бенефициариев, влиятельных отцов.

Совершенно ясно, что именно религиозные или эквивалентные им вопросы о нравственности явились тем, что вызвало судорожное состояние в средний период викторианской эпохи. Для меня и моего отца основным мотивом всегда было глубокое научное любопытство. Он был филологом; и для него филология была скорее средством, с помощью которого он как историк мог проводить исследования, чем заявлением об образованности, или средством принятия в свое сердце великих писателей прошлого. И хотя значение нравственности всегда было велико как для самого отца, так и в той жизни, к какой он меня готовил, мой интерес к науке начался скорее с преданного служения истине, а не человечеству. А тот интерес к

гуманистическому долгу ученого, который я проявляю сейчас, возник из-за непосредственного влияния нравственных проблем, постоянно тревожащих ученого сегодняшнего дня, а не из-за изначального убеждения, что ученый должен, в первую очередь, быть филантропом. Служение истине, хотя и не являющееся одной из первоочередных задач этики, однако же является одной из тех, которые я и мой отец понимаем как налагающие на нас величайшее нравственное обязательство, какое только вообще возможно. В одном из своих последних интервью, данном отцом Х. А. Брюсу, он выразил это своими словами¹. Легенда о том, что Галилей после вынесения ему приговора заявил: «И все же она вертится!», хотя звучит и апокрифично, однако по сути является отражением истины, если говорить о кодексе чести ученого. Мой отец чувствовал, что необходимость научной честности есть именно то, чем ученый не должен пренебрегать ни в малейшей степени, поскольку это может привести его к опасным последствиям, точно так же солдат не может пренебречь своим долгом сражаться на фронте или врач не может покинуть город, пораженный чумой, или оставаться бездейственным в такой ситуации. Как бы то ни было, но для нас обоих это было долгом, который возлагался на человека, не потому что он был представителем человечества, а потому что он сам решил посвятить себя служению истине.

Я уже говорил, что мой отец был скорее романтиком, чем классиком викторианской эпохи. Его ближайшими духовными родственниками, кроме Толстого и Достоевского, были немецкие либералы 1848 года. Его праведность вобрала в себя пыл, триумф, прекрасное и действенное стремление к познанию всей глубины жизни и всех, связанных с нею эмоциональных переживаний. Благодаря всем этим его качествам, я, мальчик, только что начинающий жить, воспринимал его как благородного и возвышенного человека, поэта в душе, окруженного бесстрастными и подавленными людьми, населяющими декадентский Бостон, лишенный всякого вдохновения. Именно по той причине, что мой наставник был одновременно моим героем, я не скатился в состояние мрачной недееспособности после изнурительного курса воспитания, через который мне выпало пройти.

Мой отец не только сам непосредственно обучал меня, но также приглашал свою ученицу из Радклиффа, мисс Хелен Робертсон, приходившую несколько раз в неделю, чтобы повторить со мной латинский язык и помочь мне с немецким. Ее приход всегда вызывал у меня прилив восторга, поскольку через нее я имел еще одну возможность соприкоснуться с миром

¹Журнал «Америкэн», июль, 1911. — *Прим. автора.*

взрослых, помимо своих родителей. От нее я узнал легенды о Гарварде и Радклиффе; от нее я почерпнул сведения о неприятном характере одного профессора и об остроумии другого. Это она рассказала мне о старом разносчике, известном как Джон Апельсин, и о повозке, которую ему подарили студенты Гарварда вместе с ослицей, носившей имя Анна Радклифф, и об удивительной студентке Хелен Келлер, которая была слепой и глухой. Я узнал от нее о приезде Принца Генри из Пруссии и о проделках студентов по этому случаю. Короче говоря, к восьми годам мне представился случай заочно вкусить от жизни студента колледжа.

Примерно в это время я сделал открытие, что я более неуклюжий, чем кто-либо из стайки детей, бывших в моем окружении. Частично эта неуклюжесть проистекала из-за по-настоящему плохой мышечной координации, но в большей мере ее источником было мое плохое зрение. Я полагал, что я физически не способен поймать мяч, хотя на самом деле причина была в том, что я его просто не видел. Несомненно плохое зрение возникло в раннем возрасте, когда я учился читать и безудержно отдавался этому времяпрепровождению.

Моя неуклюжесть подчеркивалась тем набором слов, который я приобрел, читая. Хотя мой словарный запас был абсолютно естественным и ни в коей мере не являлся притворством, у взрослых, особенно у тех, кто знал меня не очень хорошо, я вызывал чувство какой-то несообразности. В следующей главе я расскажу о том, что с другими мальчиками моего возраста у меня были достаточно нормальные отношения, так что я не думаю, что моя несообразность также сильно бросалась в глаза моим сверстникам, как тем, что были много старше меня. И если мои сверстники и замечали особенности моего словарного запаса, я склонен думать, что это было лишь в силу того, что им на это указывали их родители.

В тот год, когда мне исполнилось восемь, мое зрение стало вызывать у меня тревогу. Конечно, родители заметили это намного раньше, чем я сам. Ребенок обычно не сознает такой недостаток, как зрение. Он воспринимает свою способность видеть как норму, и если есть какие-то осязаемые дефекты, он полагает, что это характерно для всей человеческой расы. Таким образом, пока ухудшение зрения не станет совсем явным, стабильный уровень недостаточно хорошего зрения не привлекает внимания, особенно, как в случае с близорукостью, если этот недостаток не мешает читать. Из-за близорукости появляется потребность держать книгу на очень близком расстоянии от глаз, и внимательные родители быстро замечают это. Но для самого ребенка такое ухудшение незаметно до тех пор, пока кто-то не

обратит его внимания на него и пока ему не предоставится возможность поносить соответствующие очки.

Мои родители отвели меня к д-ру Гаскеллу, нашему окулисту, который дал строгое распоряжение, чтобы я не читал в течение шести месяцев, заметив при этом, что по прошествии этого периода времени необходимо будет пересмотреть вопрос о моем чтении. Отец стал заниматься со мной математикой — алгеброй и геометрией — устно, а также продолжились мои уроки химии. Этот период устного обучения, исключавшего чтение, оказался для меня одним из самых ценных жизненных опытов, через какие я когда-либо проходил, так как я вынужден был решать математические задачи в уме, а также воспринимать иностранные языки в их разговорном варианте, а не в письменных упражнениях. Много лет спустя этот вид моего обучения оказал мне большую услугу, когда я начал изучать китайский, визуальное восприятие которого намного сложнее восприятия на слух. Я не думаю, что такое обучение на ранней стадии моего развития помогло развить хорошую память, какой я обладаю и по сегодняшний день, но оно свидетельствует о том, что у меня была хорошая память, и такой вид обучения позволил мне использовать ее.

В конце шестимесячного периода моя близорукость не показала никаких тревожащих симптомов, и мне снова разрешили читать. Правильность решения доктора разрешить мне вернуться к чтению подтвердилась последующими пятьюдесятью годами моей жизни, поскольку, несмотря на развивающуюся близорукость, катаракту и удаление обоих глазных хрусталиков, у меня все еще весьма неплохое зрение, и я полагаю, что мои глаза не подведут меня и в оставшиеся годы, так как не вижу для этого оснований.

В «Автобиографии» («Autobiography») Милля есть один отрывок, который резонирует с моими жизненными переживаниями. Милль рассказывает о том, как он наставлял своих младших братьев и сестер. Моя сестра Констанс рассказывает мне, как сильно она страдала от моей юношеской дидактичности. Конечно же, меня, в отличие от Милля, никто в семье не назначал официально учеником-учителем. И все же, только пример жизни, в которой человек, пользующийся уважением, всегда является учителем, может заставить ребенка думать о зрелости и ответственности как о зрелости и ответственности школьного учителя. Совершенно неизбежно, что мальчик, чья жизнь являет собой сконцентрированный процесс обучения, сам становится учителем. Позже этого можно избежать, но в этом просматривается тенденция, которая должна присутствовать всегда в подобной ситуации.

В течение последующих лет без особых трудностей, но с крайне изуродованной самооценкой, я работал под началом моего отца над учебниками Уэнтворта по алгебре, планиметрии, тригонометрии и аналитической геометрии, и изучал основы латинского и немецкого языков. Я признавал за отцом авторитет ученого, в то же время я понимал, что другие мои учителя стояли несколько ниже его.

VI

ЗАБАВЫ ВУНДЕРКИНДА

Предыдущая глава посвящалась моей работе в ранний период моего развития как вундеркинда. Однако в моей жизни наряду с работой были и развлечения. Мои родители записали меня в члены спортивной площадки, которая была создана на пустыре рядом со школой Пибоди. Мы должны были предъявлять членскую карточку, чтобы войти на площадку, и пользоваться услугами преподавателя, работающего там, или чтобы проползти сквозь конструкцию, состоящую из стоек и перекладин, и скатиться вниз по спуску, или использовать другие снаряды, которые были там для наших упражнений. Я проводил на площадке много времени, беседуя с полицейским, патрулировавшим там. Полицейский Мюррей жил напротив нас, и он любил поддразнивать меня байками из полицейской службы.

У меня много было друзей, с которыми я играл и с кем учился в школе Пибоди, и я сохранил эту дружбу даже после того, как отец стал сам заниматься со мной. Среди школьных товарищей был Рей Роквуд, который позже уехал в Вест Пойнт и умер много лет назад, будучи офицером. Он жил под опекой двух тетушек, усилия которых на поприще его воспитания носили взаимоисключающий характер. Одна из них была христианским ученым, а вторая занималась изготовлением патентованных лекарственных средств.

Уолтер Манро был сыном диспетчера бостонской надземки, а Уинн Виллард — сыном плотника. Еще один из моих товарищей был сыном человека, который позже стал мэром Кембриджа. Мальчики из семьи Кингов, сыновья гарвардского преподавателя, были одаренными в области механики и имели маленький работавший паровой двигатель, предмет моей зависти. «Друг Юных» («The Youth's Companion»), на который родители подписались от моего имени, предлагал такие двигатели в качестве призов за участие в конкурсе на подписку, но и без участия в этом конкурсе эти призы можно было купить через их отдел услуг по сниженной цене. Мои родители купили мне много игрушек таким образом, но посчитали, что купить паровой двигатель для меня было немного чересчур.

В те дни газеты пестрели заметками о событии, которое стало неиссякаемым источником новостей: преследование армян турками. Каким образом был сделан вывод, что это наше дело, я не знаю, поскольку, вне сомнений, мы мало что знали о турках, и еще меньше об армянах. Однажды мальчики из семьи Кингов и я решили сбежать на войну и сражаться за угнетенных. Я не знаю, как отцу удалось разгадать наши планы, но где-то через полчаса он нашел нас, трех маленьких смущенных мальчиков, всматривающихся в витрину магазина на Авеню Массачусетс, который находился на полпути от Гарвардской площади до Центральной площади. Он сдал мальчиков из семьи Кингов на милость их родителей. Меня же не подвергли никакому наказанию, кроме едкого осмеяния. Прошли годы прежде, чем родители прекратили подшучивать надо мной по этому поводу, и даже сегодня при воспоминании о их шутках я испытываю боль.

Многие из ребят моего детства, которые дожили до зрелых лет, заняли важное положение в этом мире. Один из них, печально известный среди нас как особенно противный и вредный ребенок, сейчас является великим промышленным магнатом. Другой, выделившийся тем, что однажды преследовал своего товарища по улице с топором в руках, разочаровал нас всех тем, что воздержался от дальнейшего жесткого насилия ради едва ли более заслуживающей внимания карьеры жалкого мошенника.

В те дни мы участвовали в самых разных драках, начиная с бросания друг в друга снежков, заканчивая серьезными разборками между бандами, когда две армии подростков встречались на улице Эйвон Хилл и забрасывали друг друга камнями. Наши родители очень скоро положили этому конец. Однажды, когда мы бросались снежками, у одного из моих товарищей, страдающего сильной близорукостью, произошло отслоение сетчатки, в результате чего он ослеп на один глаз.

Я уже говорил о том, что у меня тоже была близорукость, и я полагаю, что этот несчастный случай в большей степени, чем что-либо еще, вынудил моих родителей наказать меня за участие и любыми путями отвадить меня от каких-либо драк. Я бы никогда не стал хорошим драчуном, поскольку любое ожесточение оказывало на меня парализующее действие от переживаемого страха, вызывавшего во мне сильную слабость, и я почти терял дар речи, не говоря уж о том, чтобы нанести удар. Я думаю, что причина была не только психологическая, но также и физиологическая, поскольку я всегда испытываю слабость, когда падает содержание сахара в крови.

Я в достаточной мере занимался различными видами спорта, которыми занимаются дети моего возраста. Я помогал строить крепости для снежных

баталий, а также снежные тюрмы, в которых мы замуровывали наших пленных, и в которых время от времени замуровывали и меня. Я цеплялся за задник саней, развозящих товары, или «тоббоганов», которые в те дни проезжали по дорогам зимнего Кембриджа, покрытым желтой слякотью. Я взбирался на заборы позади домов и рвал одежду, когда с них падал. Я пытался кататься на детских сдвоенных коньках, но мои лодыжки были слабыми, и я так и не смог кататься на более эффектных взрослых коньках. Я съезжал со спуска на улице Эйвон Хилл и просил тех, кто старше меня, и тех, кто имел привычку заключать пари, позволить мне спуститься на их более быстрых сдвоенных санках. Весной я обшаривал тротуары и дворы в поисках маленьких галек, которые я мог размельчить с помощью кирки, чтобы получить некое подобие краски, и затем я ею расчерчивал «классики» на тротуаре, чтобы играть с моими друзьями. Я прогуливался пешком до Северной части Кембриджа с целью купить в канцелярских магазинах смешные открытки для поздравления с днем Св. Валентина или с Рождеством в зависимости от времени года, а также дешевую карамель и другие очаровательные мелочи, столь важные для очень юных.

Я частенько играл с миниатюрными электрическими двигателями. Как-то я решил сделать такой двигатель, пользуясь инструкциями, изложенными в одной из книг, полученной мною в качестве рождественского подарка. Книга была написана таким образом, как если бы мальчик, имеющий в своем распоряжении механическую мастерскую, вел повествование; и даже если бы у меня была такая мастерская, у меня ни тогда, ни позже не было навыков работы с механизмами, которые я мог бы использовать.

Среди своих игрушек я помню мегафон и калейдоскоп, и волшебный фонарь, а также целый набор увеличительных стекол и простых микроскопов. К волшебному фонарю прилагалось несколько смешных слайдов, которые доставляли такое же удовольствие маленькому мальчику тех лет, какое доставляют современному малышу мультфильмы Уолта Диснея. Мы обычно демонстрировали слайды волшебного фонаря в детской, а плату взимали кнопками.

Как-то мы попытались заработать настоящие деньги, проявив предпринимательскую находчивость. У отца была коллекция фотографий по греческому искусству, которые, похоже, он дал мне, и я попытался продать их в нашей округе. Когда родители выяснили, что я сделал, мне поручили веселенькое дельце собрать их.

Рождество 1901 года было для меня трудным временем. Мне только что исполнилось семь лет. Именно тогда я сделал открытие, что Санта Клаус —

это традиционное изобретение взрослых. В то время я уже читал научные книги, хотя и с некоторыми трудностями, и родителям показалось, что ребенок, способный читать такие книги, не должен испытать затруднения в том, чтобы отбросить то, что по их мнению, являлось очевидной сентиментальной выдумкой. Они не учли того, что мир ребенка состоит из фрагментов. Ребенок не отходит далеко от дома, и то, что, может, находится всего в нескольких кварталах от его дома, представляется ему неизведанной территорией, которую он может населять своими фантазиями. Эти фантазии зачастую становятся столь сильными, что даже, когда он заходит за границы ранее неизвестной ему территории, уверенность в собственных фантазиях вынуждает его воспринимать ее географию, какой он ее реально видит, как нечто ошибочное.

То, что истинно относительно физической карты, является также истинным относительно схемы его представлений. У него еще не было возможности провести исследования того, что находится очень далеко от его центральных понятий, ставших его собственными благодаря его жизненному опыту. В промежуточных зонах истинным может быть все, что угодно. То, что для взрослых является вызывающим противоречие в восприятии, для него — это пустое место, которое может быть заполнено самым разнообразным образом. Чтобы заполнить большую часть таких пустот, он должен полагаться на крепкую веру своих родителей. Следовательно, когда миф о Санта Клаусе был рассеян, это вынудило его сделать вывод о том, что он должен полагаться на веру своих родителей лишь в определенных пределах. В дальнейшем, может быть, он не будет принимать то, что они говорят ему, а станет пропускать это через несовершенный критерий собственных суждений.

Весной того года семья опять увеличилась. Родилась моя сестра Берта, и моя мать едва не умерла во время родов. Наш сосед, д-р Тейлор, навещал мою мать. У него была седая борода, и он был пожилым человеком, имеющим двух сыновей, с которыми я иногда играл. Как и раньше, повитухой была Роуз Даффи. У меня была масса фантазий относительно факта рождения, и одна идея была очень странной, мне казалось, что, если можно было бы произнести колдовские заклинания над куклой, скажем куклой, изготовленной из бутылочки для лекарства, то можно было бы получить ребенка.

Такая наивность была примечательной в виду широкого научного кругозора, присущего мне уже в то время; различные биологические статьи, которые я прочел от шести до девяти лет, содержали массу материала о феномене полов у различных животных, в частности, у позвоночных. Я до-

статочно хорошо понимал основные принципы непрямого деления клетки, знал о делениях яйцеклетки и о сперматозоиде, и о слиянии мужского и женского пронуклеусов. У меня было неплохое представление об эмбриологии и о гастрюляции некоторых низших видов беспозвоночных. Я знал, что эти факты имели какую-то связь с размножением людей, но мои родители не поощряли вопросов на данную тему, и я понимал, что в цепи моих рассуждений было утеряно одно из звеньев. На интеллектуальном уровне у меня было достаточно продвинутое понимание феномена полов как у растений, так и у животных. Но на эмоциональном уровне я оставался равнодушным к этой проблеме настолько, насколько это свойственно ребенку; а может, там, где эта проблема затрагивала меня, она возбуждала во мне лишь замешательство и ужас.

Моя сестра Констанс и я накануне родов заболели корью, что сильно осложнило положение в семье в момент появления Берты. Я не помню, каким образом удавалось ухаживать за нами троими одновременно.

Это было примерно в то время, когда родители попытались проверить, мог ли я в какой-то мере адаптироваться к другим детям, находясь с ними в одной группе. Они отправили меня в унитарную воскресную школу после серьезного протеста, выраженного мною в философских спорах со служителем воскресной школы. Служителя звали д-р Сэмюэль МакКорд Кротерс; он был восхитительным эссеистом и литератором, другом семьи на протяжении многих лет, и спустя двадцать лет после моего пребывания в этой школе он венчал обеих моих сестер. Д-р Кротерс не был шокирован тем, что я с таким пылом отвергал религию, и попытался серьезно воспринять мои аргументы. Как бы то ни было, благодаря его терпению я смог посещать воскресную школу.

В воскресной школе была хорошая библиотека, и я помню, что там были две книги, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Одна из них — это книга Раскина «Король золотой реки» («King of the Golden River»). Много лет спустя, читая его «Современных художников» («Modern Painters»), я ощутил то же самое чувство в отношении его горного пейзажа и нравственных убеждений, которые были знакомы мне из его рассказа для детей. Второй книгой была английская версия французского рассказа восьмидесятих годов под названием «Приключения юного естествоиспытателя в Мексике» («Adventures of a Young Naturalist in Mexico»). Только в этом году я вновь увидел эту книгу и обновил свои впечатления о том роскошном описании буйной растительности тропических лесов мексиканских низменностей.

В воскресной школе было рождественское представление, в котором я должен был так или иначе принимать участие. Меня чрезвычайно смущала необходимость наложения грима и переодевания в специальный костюм; все это вызвало во мне сильное отвращение к разного рода любительским драматическим представлениям, и оно живет во мне и по сей день.

В то лето, которое мы провели в домике в Фоксборо, в ряде номеров журнала «Космополитен» был опубликован рассказ Г. Дж. Уэллса «Первые люди на Луне» («The First Men in the Moon»). Моя кузина Ольга и я с жадностью читали его, и хотя я не мог оценить всей общественной значимости этого сочинения, хрупкая фигура Великого Лунохода потрясла меня и повергла в шок. Примерно в это же время я прочел «Таинственный Остров» («Mysterious Island») Жюль Верна. Эти две книги стали для меня введением в научную фантастику. Действительно, на протяжении многих лет я оставался aficionado¹ Жюль Верна, и поход в библиотеку в надежде найти еще один томик его сочинений доставлял такое наслаждение, какое сегодняшнее поколение детей вряд ли испытывает от посещения кинотеатра.

Между тем, несмотря на все это, я не являюсь страстным любителем современной научной фантастики. Очень скоро научная фантастика стала официальной и больше не является литературным жанром, дающим автору достаточно свободы и не требующим от него следовать общепризнанным канонам. Я немножко попробовал себя в сочинении художественных произведений на научные темы, но совершенно за пределами рамок монополии жанра научной фантастики. Некоторые авторы, принадлежащие к этой сфере, позволили своей страсти к выдумке взять верх над чувством реальности и позволили использовать себя в качестве проводников различных шарлатанских идей. Утратив свою новизну, научная фантастика стала cliché². Ее нынешняя прилизанность сильно отличается от энтузиазма и яркости, которыми пронизал Жюль Верн окружение, столь романтично описанное Дюма, и от искренности, которая сделала социологические рассуждения Г. Дж. Уэллса приятными и пленительными.

Невзирая на время года, будь то зима или лето, отец много писал, и мне казалось увлекательным следить за его публикациями. Его первая книга «История еврейской литературы» («History of Yiddish Literature») явилась некоторым противопоставлением «Сборнику стихов» («Poems») Морица Розенфельда (увидевшему свет благодаря его помощи). Эта книга вышла

¹Любитель (*исп.*)

²Банальность (*франц.*)

слишком рано, чтобы я мог хорошо ее запомнить, но в моей памяти ясно запечатлелась его следующая книга «Антология русской литературы» («Anthology of Russian Literature») в двух томах, которую он сам редактировал, и в основном, сам перевел некоторые ее части. После этой книги с издательством «Дана Эстес и Сыновья» был заключен большой контракт, по которому отец согласился перевести все работы Толстого за сумму десять тысяч долларов. Даже в то время это было достаточно скудное вознаграждение, а сегодня это кажется до смешного маленькой суммой за перевод двадцати четырех томов. Отец выполнил эту работу за двадцать четыре месяца. В этой работе ему помогала очень компетентная секретарша мисс Харпер, и я полагаю, что ей платили непосредственно издатели. Отношения отца с его издателями никогда не были ровными, и я полагаю, что он имел основание для того, чтобы относиться к ним с некоторым подозрением.

Вскоре я узнал, что рукопись сначала проходит через тщательную корректуру в гранках, затем корректуру в листах на мягких листах прямоугольной формы, и наконец, на оцинкованных печатных формах. Я познакомился с основными обозначениями корректора и общей методикой корректуры. Я узнал, что авторская корректура в гранках очень дорогая, поскольку корректура в листах затруднительна, а в печатных формах практически невозможна. Я видел, как отец разрезал две или три библии, чтобы переводить цитаты Толстого из Библии, и я обычно играл с брошенными корректурными листами и остатками от библий, представляя, что я корректор.

Хотя я познакомился с семьей моей матери до того, как мы переехали на улицу Эйвон, большая часть моих воспоминаний о родственниках со стороны матери принадлежит именно этому времени. Когда-то, я не помню то время, мать моей матери и обе ее сестры поехали вслед за ней в Бостон. Моя бабушка жила в Кембридже в меблированных комнатах на улице Шепард в то время, когда родилась моя сестра Берта; и я все еще помню, как она, решительно настроенная, героически пыталась меня купать, и купая меня, она оставалась совершенно равнодушной к тому, что я могу задохнуться, и к тому, что мыло щипало мне глаза.

Я не думаю, что между ней и мной была какая-то ссора, но с моими родителями она, несомненно, была не в ладах. Я не знаю, чем родители обидели ее, хотя кажется совершенно ясным, что не последнюю роль в этом сыграла старая неприязнь между немецкими и русскими евреями. Как бы то ни было, мои родители обвинили членов семьи моей матери в том, что они пытались разрушить их брак, и за этим последовала та самая семейная вражда, которая не заканчивается даже после смерти враждующих.

Некоторые из участников такой вражды могут умереть, но ненависть живет в памяти живущих.

Своего дедушку Кана я встретил лишь однажды, если не ошибаюсь. Я очень хорошо представляю его внешность, так как видел его фотографию; на ней был изображен мрачный высокий человек с длинной седой бородой. Он уже был в разводе с моей бабушкой и жил в Балтиморе в доме для пожилых людей. Я помню, как на один из моих дней рождения он прислал мне в подарок золотые часы. Он умер примерно в 1915 году.

Весной 1903 года отец и я провели много времени в поисках места, где можно было бы отдохнуть летом. Мы объездили все деревни на юге от Бостона и от Дедгем до Фрамингем, а также продолжили наши поиски вдоль побережья вокруг Кохассета, но подходящего места не нашли. Мы спрашивали совета у всех друзей отца, живущих за пределами города. И наконец, мы решили заглянуть в более удаленный уголок в северо-западном районе; там-то мы и нашли местечко под названием Оулд Милл Фарм в городке Гарвард на полпути между Гарвард Виллидж и Айер Джанкшн. То лето мы провели занятые изучением этого места, и после чего решили, что следующее лето мы будем заняты благоустройством фермерского домика и приготовлениями к тому, чтобы вести простую жизнь фермера и профессора колледжа.

Я не знаю точно, какое отношение название городка Гарвард имеет к Гарвардскому университету, но, похоже, на этом сходство между ними и заканчивалось. Городок Гарвард был исторически знаменит тем, что здесь была построена первая или вторая в Массачусетс удаленная от моря водяная мельница для помола зерна. Хотя эта мельница и не находилась на ферме, купленной нами, старая запруда стояла рядом с ее границами, а пруд постепенно увеличивали, и в итоге запруда оказалась напротив нашего дома. Отсюда и название Оулд Милл Фарм (ферма Старая Мельница), и в следующих главах я буду использовать именно это название.

Когда отец купил Оулд Милл Фарм и затем решил жить там в течение всего года, я полагаю, он руководствовался несколькими мотивами. Одним из них была его любовь к сельской местности и желание работать на земле. Другим (который, я думаю, был намного менее значительным) была гордость за то, что он мог именоваться дополнительным титулом — землевладелец. Не подлежит сомнению то, что отец считал важным, чтобы его дети, подрастая, проводили по возможности больше времени в деревне, и похоже, он считал, что в деревне было легче решить мою проблему со школой, чем в городе, где на выбор была или общественная школа с очень

жесткими требованиями, или очень дорогая частная школа. Я не думаю, что для отца деревня была более благоприятным местом для его литературных и научных занятий, чем город, и более того, было совершенно очевидно для меня, что ему пришлось даже кое-чем пожертвовать, так как он вынужден был ежедневно ездить то в Айер, то в Кембридж.

Когда летом 1903 года мы впервые приехали в Оулд Милл Фарм, дом представлял собой мрачное непривлекательное строение, основанное за десять лет до того, как разразилась Гражданская война. Дом стоял у дороги; между ним и огромным амбаром размещались флигель и деревянный сарай. Напротив дома был пруд, казавшийся мне в ту пору почти озером, который, однако, имел в ширину вряд ли больше, чем двести футов. Посреди пруда был болотистый остров, а на его правом берегу росла небольшая роща, где ранним летом мы собирали папоротник и триллиум. На другом берегу пруда была запруда, от которой через болотистые луга тянулись два ручья прямо к дороге и к самым границам нашей фермы. Рядом с одним из ручьев непосредственно под запрудой находился эллинг с турбиной внутри; предыдущий владелец использовал его в качестве небольшой фабрики, что-то производившей, а что, я не помню.

Участок земли между двумя ручьями и дорогой был восхитительным местом для ребенка. В ручьях водились лягушки и черепахи. Маленький фокстерьер, который безраздельно принадлежал мне, вскоре выяснил, что я интересуюсь ими, и стал приносить мне в зубах черепахи. Среди дикорастущих растений на полузаболоченном участке земли были такие, что возбуждали интерес ребенка: недотрога обыкновенная, например, или посконник пурпуровый, или таволга. Вниз от каменной набережной, по которой проходила дорога, свисали гирлянды из вьющихся стеблей дикого винограда. Луга, согласно времени года, расцветали то голубыми, желтыми и белыми фиалками, то дикими ирисами, то васильками, то покрывались цветами таволги. На более удаленном от нас пастбище росла горечавка закрытая, а также таволга бело- и розовоцветковая, и время от времени попадались кусты рододендрона.

Все это вызывало во мне восторг. Не меньшую радость доставляли мне ивы, тянувшиеся вдоль берега пруда, а также старый пень, окруженный ивняком, где мы играли в игры. Рядом находилась куча песка, где мы водрузили палатку из старых тряпок и коробок из-под пианино. Возле песочной кучи под раскидистой сосной были наносы из сосновых иголок, в которых мы вырывали норки и в них, как в маленьких печках, пекли картофель. Эта куча песка была намыта со старой дороги, которая прежде

проходила мимо нашего дома, пока не построили новую, и вела дальше вниз, и по которой, говорят, верхом на лошади проезжал Лафайет, отправляясь в свое великое путешествие по Соединенным Штатам после того, как вернулся в страну в качестве гостя. Тропинка от песчаной кучи вела через влажный ольховый лес к песчаному берегу озера, где я и моя сестра обычно купались среди головастиков и маленьких лягушек до того, как научились плавать по-настоящему и могли заплывать подальше от прибрежных отмелей. Позже, когда мы стали старше, нашим излюбленным местом для купания стала заводь непосредственно за большой запрудой, где основной ручей стекал подобно водопаду, и там я мог стоять на цыпочках, и лишь мой нос торчал из-под воды.

На пруду была лодка, и мы часто гребли на лодке мимо запруды семнадцатого столетия прямо в узкий заливчик пруда. Пруд, поросший водяными лилиями, белыми и желтыми, понтедерией, пузырчаткой, населенный загадочными черепахами, рыбой и другими подводными обитателями, всегда оставался для нас желанным местом. Таким же привлекательным был для нас и курятник, где насесты крепились на ивовых столбах, пустивших корни, которые проросли новыми деревцами. Привлекал нас и амбар своим чердаком, забитым сеном, где можно было спрятаться, и откуда можно было скатываться или спрыгивать в свое удовольствие. Нам интересны были и дома, стоявшие по соседству, у задней двери которых мы часто останавливались, чтобы попросить стаканчик холодной воды или перекинуться парой приятных слов с женой фермера. Мы научились не подходить к передним дверям, перед которыми была нетронутая трава, поскольку эта дверь вела в запретную переднюю гостиную, открытую только по случаю свадьбы или похорон, где стояла фисгармония, жесткая мебель из волосяной ткани, висели отретушированные семейные фотографии, а также находилось многое другое, представляющее собою особую ценность семьи и, конечно же, семейный альбом.

Немного подальше, примерно в миле с половиной, располагалась деревня Шейкер. Это была настоящая достопримечательность — протестантский монастырь, где братья и сестры секты, обреченные на вечное безбрачие, сидели по разные стороны от прохода в своем маленьком сектантском храме, одетые в весьма традиционные строгие костюмы квакеров. Я помню также почтенных сестер Элизабет и Анну, сохранивших верность мирскому кокетству и носивших парики под своими соломенными шляпами, по форме напоминающими ведра для угля. Они по очереди работали в маленьком магазине, находящемся в их большом пустом главном здании. Они

продавали сувениры и незатейливые пустяки, а также засахаренные апельсиновые корки и большие диски сахара, имеющего привкус перечной мяты и грушанки. Все это было до смешного дешевым, и это были те сладости, которые родители позволяли нам есть в неограниченных количествах.

Это поселение, должно быть, было основано около века назад, и его атмосфера, навевавшая мысли о чем-то древнем и постоянном, напоминала скорее Европу, чем Америку. Похоже, что вербовать в секты, где царит обет безбрачия, всегда было трудно, и жители Шейкера брали детей на воспитание в надежде, что они вырастут в их строгой вере, но обычно что-то случалось, и когда дети достигали подросткового или более позднего возраста, они почти всегда отрекались от праведной веры своих приемных родителей, отправляясь дальше по пути Сатаны и плотских утех. Итак, огромные мастерские, принадлежавшие сообществу, и двухэтажные каменные амбары были пусты, обрабатывалась лишь половина его полей, а дома, стоявшие на окраинах под раскинувшимися хвойными деревьями, становились домами для сирот или пансионатами. Кладбище поросло сорной травой и куманикой, черпавшими жизненные соки из бранных останков, лежавших под землей, и давно сгнили площадки для посадки в экипаж, которые обязательно строились перед каждым домом, как то предписывала скромность жителей Шейкера, чтобы в момент подъема на повозку женщины не демонстрировали свои ножки неблагопристойным и неподобающим образом.

На протяжении нескольких лет Констанс и я постоянно ссорились, и моим неопытным родителям это казалось признаком первородного греха. Я называю их неопытными, потому что они тогда лишь начинали понимать, что конфликты между растущими братом и сестрой являются вполне естественными. Однако теперь, когда мне было восемь, а Констанс — четыре года, для нас появилась возможность стать друзьями. Я знаю, что мы вместе исследовали ферму, площадью в тридцать акров, и тогда впервые я стал признавать в ней личность.

Хотя моя новая деревенская жизнь имела свои прелести, невозможность познакомиться с детьми моего возраста была сильным недостатком. Конечно, я нашел детей в Айере и на соседних фермах, с которыми я мог играть. Однако это случалось нечасто в силу того, что мы жили относительно уединенно. Кроме того, когда я мысленно возвращаюсь к тем годам, когда мы жили на улице Эйвон, мне кажется, что то великолепие дружеских отношений мне так никогда больше и не пришлось ощутить. Я очень хорошо сознаю, что нелегко было избежать уединенного образа жизни, характерного для нашей семьи в то время, поскольку семья переживала финансовые

затруднения, но последствия такого образа существования были серьезными и продолжительными. Когда я переехал из Кембриджа в Гарвард, я порвал отношения с друзьями моего детства, и хотя в Айере, а позже в Медфорде я завел себе новых друзей, вновь почувствовать целостность и яркость переживаний, порождаемых детской дружбой, мне уже не пришлось.

VII

ДИТЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Айерская средняя школа, 1903–1906

Отец намеревался жить на ферме в Гарварде и ездить в Кембридж каждый день. Он был очень занятым человеком, так как он взялся осуществить перевод двадцати четырех томов Толстого на английский язык за два года. Это была огромная работа, кроме того, он еще преподавал в Гарварде и занимался фермой. Количество времени, которое он мог посвятить занятиям со мной, было ограничено, поэтому он начал искать школу, куда он смог бы меня отправить. И несмотря на все это, он по вечерам проверял мои задания. В то время я настолько далеко продвинулся в своем обучении, что начальные классы мне не могли дать ничего, и отправить меня в старшие классы какой-либо из школ, находящихся в округе, и позволить мне самому выбрать необходимый класс, было, похоже, единственным выходом. Среднеобразовательная школа в Айере пожелала провести этот не совсем обычный эксперимент. Айер устраивал отца как нельзя лучше, поскольку это была ближайшая станция на главной железной дороге в Бостон, и ему приходилось ездить туда каждое утро, чтобы сесть на поезд, идущий в Кембридж, оставив лошадь и повозку в платной конюшне до его возвращения вечером.

Я поступил в старшие классы Айерской средней школы осенью 1903 года в возрасте девяти лет в качестве особого учащегося. Вопрос о том, в какой класс меня определить, оставался нерешенным. Вскоре стало ясно, что большая часть из того, на что я был способен, соответствовала уровню третьего года обучения в старших классах, так что, когда закончился учебный год, меня перевели в один из самых старших классов, и в июне 1906 году я должен был закончить школу.

Мисс Лора Ливитт была мозговым центром и выразителем общественного мнения в школе. Она совсем недавно вышла на пенсию после пятидесяти лет работы в школе. Она обладала мягким и одновременно твердым характером, была прекрасным преподавателем-классицистом, и ее знание

латинского языка намного превышало те требования, которые предъявлялись к учителю старших классов обычной средней школы. В первый год обучения я под ее руководством читал Цезаря и Цицерона, а на второй год — Вергилия. Я также изучал алгебру и геометрию, но эти занятия для меня больше были повторением пройденного. Преподаватели по английской литературе и немецкому языку не произвели на меня никакого впечатления. Вероятно, эти преподаватели были молодыми женщинами, заполняющими промежуток времени, образовавшийся между завершением ими образования в колледже и их будущим замужеством.

Несмотря на то, что я мог отвечать по предметам столь же хорошо, как и большинство других учащихся, и мои переводы с латинского были вполне приличными, в социальном плане я был недоразвитым ребенком. Я не ходил ни в какую школу с тех пор, как покинул школу Пибоди в Кембридже в возрасте восьми лет, и вообще я не ходил в школу регулярно. И теперь в старших классах Айерской средней школы сидения были слишком высоки для меня, а мои одноклассники подростки казались мне почти взрослыми. Я знаю, что мисс Ливитт пыталась всячески оградить меня от переживаний, связанных с пребыванием в незнакомом месте среди незнакомых мне людей, и однажды в течение первых месяцев моего посещения занятий она посадила меня к себе на колени во время опроса учеников. Этот акт доброты не вызвал ни взрыва смеха, ни насмешек со стороны одноклассников, похоже, воспринимавших меня равным по возрасту их младшим братьям. Для преподавателя, настроенного дружелюбно к ученикам, было совершенно естественным посадить такого ребенка к себе на колени при посещении старших классов.

Конечно, такое отношение ко мне не соответствовало свойственной школе дисциплине, и очень скоро я познакомился с элементами поведения в классе. Расхождение в возрасте между мной и моими одноклассниками продолжало служить защитой от их насмешек. Я думаю, что все сложилось бы иначе, будь я моложе их лишь на четыре года, а не на семь. С социальной точки зрения они воспринимали меня как эксцентричного ребенка, а не как ребенка, еще не достигшего подросткового возраста. Было большой удачей, что эта школа находилась в здании вместе с начальной школой, где я смог найти для себя друзей для игр одиннадцати-двенадцатилетнего возраста, некоторые из них были младшими братьями моих одноклассников.

Мое обучение и социальные контакты в средней школе были лишь одной стороной медали. Но была еще и обратная сторона — я постоянно отвечал заданные уроки дома моему отцу. Занятия со отцом после поступле-

ния в среднюю школу практически не отличались от тех, когда он был моим единственным учителем. Каким бы ни был предмет, заданный в школе, я должен был рассказать выученное отцу. Он был занят переводом Толстого, и во время моего изложения уроков он едва ли мог полностью сосредоточивать свое внимание на мне. И так, я приходил в комнату и садился перед отцом, быстро печатающим перевод на пишущей машинке — старом Бликенсдерфере со сменным печатным механизмом, что позволяло отцу печатать на многих языках — или погруженным в правку бесконечных гранок. Я пересказывал ему уроки, и мне казалось, что он почти не слушает меня. И на самом деле он слушал меня лишь вполуха. Но этого было вполне достаточно, чтобы уловить ошибку в моем ответе, а ошибки были всегда. Отец упрекал меня за это, когда мне было семь или восемь лет, и то, что я учился теперь в школе, не меняло ровным счетом ничего. Мой любой успешный ответ обычно вызывал почти небрежную похвалу, такую как «Хорошо» или «Очень хорошо, теперь ты можешь пойти поиграть», за неудачи же меня наказывали, конечно не битьем, а словами, которые причиняли почти такую же боль, что и порка.

Когда я освобождался от занятий с отцом, я часто проводил вторую половину дня с Фрэнком Брауном. Он был моим ровесником, сыном местного аптекаря и племянником мисс Ливитт; Фрэнк стал моим другом на всю жизнь. Мы жили всего в двух милях друг от друга, так что было достаточно легко встречаться с ним после школы, чтобы вместе играть, или навещать его по субботам и воскресеньям. Его семья одобряла нашу с ним дружбу, и они всегда были одними из самых дорогих мне людей.

Обычно Фрэнк и я плавали на плоскодонном ялике по нашему пруду в сторону мельничной плотины семнадцатого столетия до ручья, а затем пробирались по нему, минуя камни и отмели, пока не заплывали в темный тоннель, образованный кустами и простирившийся на целую милю или две по направлению к дороге, ведущей в центр Гарварда. Мы строили фантастические предположения относительно старого болота в лесу. Палочкой мы протыкали дыры в его поверхности, чтобы наблюдать за поднимающимися и взрывающимися пузырьками болотного газа. Мы брали в плен лягушек и головастика, и пытались приручить этих неблагодарных и упрямых существ.

Однажды я обжег кожу на тыльной стороне ладони Фрэнка, когда мы пытались изготовить шутихи из материала, тайком вынесенного из аптекарского магазина отца Фрэнка. В другой раз мы наполнили насос для накачивания шин водой и залегли на веранде в ожидании, когда предоста-

вится возможность обрызгать водой какой-нибудь из недавно появившихся в ту далекую пору автомобилей. Из старых картонных коробок и колес от повозок мы сооружали шаткий игрушечный поезд и играли в железнодорожников. А иногда мы забирались на чердак, где проводили время за чтением «Острова сокровищ» или «Черной красавицы» («Black Beauty»), а иногда подобрав детали от электроаппарата, пытались сделать электрический звонок. Однажды мы собрали нечто, что по нашему мнению было радио. Мы были мальчишками, ничем не отличающимися от мальчишек, какими они были и будут всегда. Вне сомнений, мой необычный статус в школе в том возрасте особенно не удручал меня, и не производил на меня какого-либо особого впечатления.

Один раз в каждые две недели в средней школе проводили состязание в красноречии, где дети читали наизусть отрывки из собраний сочинений, подобранных специально для этой цели. Ближе к середине моих каникул я решил написать философскую статью, которую я смог бы в дальнейшем использовать на мероприятии такого рода. Я выступил с ней в следующем учебном году, но не как истинный участник состязаний. Она называлась «Теория неведения» и представляла собой философское обоснование неполноты всех знаний. Конечно, статья по содержанию не соответствовала цели мероприятия и моему возрасту. Но отцу она понравилась, и в качестве поощрения он взял меня с собой в поездку, и мы провели несколько дней в Гринакре, в штате Мэн, около Портмута, в Нью-Гемпшире, среди туманов на реке Пискатаквэ. Гринакр представлял собою колонию бахаистов, восприимчивых ко всем формам восточных религиозных течений. Это течение сейчас принадлежит скорее Лос-Анджелесу, нежели Новой Англии. Интересно, что подумали некоторые из истинных бахаистов, живущих в Новой Англии, когда они узнали, что бахаизм — это суфийский вариант ислама.

Оулд Милл Фарм была настоящей действующей фермой с коровами, лошадьми и прочим, управление которой осуществлял нанятый рабочий вместе со своей женой. Мне лично среди домашнего скота принадлежали коза и мой самый закадычный друг, моя овчарка Рекс. Рекс жил с нами до 1911 года, но его привычка гоняться за автомобилями стала сильно досажать моим родителям, и они решили, что будет лучше от него избавиться. Возможно, это было необходимо, но я мог рассматривать это не иначе, как преступление против моего друга. Коза была куплена родителями в качестве подарка для меня, и она таскала за собой деревянную тележку, для изготовления которой специально нанимали мастера. В качестве игрушки и развлечения тележка подходила как нельзя лучше, но как средство для пе-

ревозок была крайне неудовлетворительна. Похоже, что Рекс и коза имели разные точки зрения по целому ряду вопросов. Рога козы и ее твердолобая голова были хорошим аргументом против зубов Рекса.

Самым тяжелым временем года были поздняя зима и ранняя весна. Деревенские дороги не были мощеными в то время, и повозки и экипажи оставляли на них глубокие борозды, которые, замерзая, становились труднопроходимыми. Сосед, что жил в полумиле от нас, имел привычку приглашать меня в это отвратительное, безотрадное время года, чтобы сыграть с ним и его женой в безик¹. Я много времени проводил в одиночестве, читая в библиотеке отца. Особенно мне нравилась книга Айзека Тейлора об алфавите, которую я знал почти от корки до корки.

Летом, однако, все было по-другому. Кроме гребли и плавания в пруду, небольших бессистемных ботанических исследований и прогулок с отцом в поисках грибов, я также играл с Гомером и Тайлером Роджерсами, двумя мальчиками моего возраста, жившими на соседней ферме. Мы едва не подорвались, пытаясь сделать двигатель внутреннего сгорания из баночки со спреем против мух, и были потрясены почти до обморока нашими экспериментами с любительским радио, для которых мы использовали аппарат, купленный мне отцом, и который я так никогда и не смог использовать по-настоящему эффективно.

Отец одобрял, когда я занимался садом, но мои садоводческие умения не вызывали в нем энтузиазма. Я утащил нагруженную фасолью детскую повозку и умудрился продать эту фасоль м-ру Донлану, владельцу бакалейной лавки в Айере. Донлан помимо бакалейного бизнеса служил также в агентстве пароходной компании и был особенно близким другом моего отца; они часто беседовали на газльском языке. Чтобы не отставать в газльском от м-ра Донлана, отец взял в Гарвардской библиотеке несколько книг с ирландскими сказками. Он часто переводил их мне, когда я ложился спать, и меня всегда приводили в изумление гротеск и аморфность этих сказок, так сильно отличавшихся от сказок братьев Grimm, к которым я привык.

В середине зимы моего отца навестил профессор Милюков, член Русской Думы (или ограниченного парламента), управлявший политическими учреждениями, а позже член кабинета во времена режима печально известного Керенского. Милюков был высоким, радушным русским, носившим бороду, и поскольку он приехал во время Рождества, он привез моей сестре и мне детские снегоступы, в которых мы могли ходить по занесенной

¹Карточная игра. — *Прим. пер.*

снегом местности как в семимильных сапогах. У моих родителей были уже собственные снегоступы, и они сделали открытие, что те места, которые были слишком заболочены, чтобы ходить по ним в другие времена года, теперь были доступны для них как шоссеиная дорога.

Милюков писал книгу об американских политических учреждениях, и отец вводил его в курс относительно отдельных интересных моментов в политической и общественной истории. Наш сосед, фермер Браун, возил нас на своих санях в деревню Шейкер, в поместье одинокого сборщика налогов, которое располагалось по соседству, в коттедж Фрутлэндз, где проживали Алкоттсы после того, как провалился проект Брук Фарм. Отец давал подробные объяснения Милюкову, по крайней мере мне так казалось, так как понять русский, на котором они говорили, я не мог.

Весной 1906 года, когда мне исполнилось одиннадцать лет, родился мой брат Фриц. Он всегда был хрупким ребенком, и позже я немного больше расскажу о проблемах его развития и образования. Моя сестра Берта была на семь лет моложе меня, но все же она была достаточно близка мне по возрасту, чтобы сыграть какую-то роль в моем росте и развитии. А Фриц родился, когда я почти достиг подросткового возраста; когда он сам стал подростком, я уже был взрослым человеком, занятым проблемой карьеры и поиском своей социальной позиции в мире идей, так что нам не суждено было стать друзьями.

Как я уже сказал, меня поместили в один из старших классов в начале второго года обучения в Айерской средней школе. Мне было почти одиннадцать, и я был пронизан духом неповиновения. У меня была дикая идея (которая так и не обрела никакого реального воплощения даже среди моих близких товарищей) создать организацию среди детей моего возраста, чтобы противостоять власти старших. Затем я пришел в себя и задавался вопросом, а не совершил ли я преступление уже тем, что помышлял о таких вещах. Я утешал себя тем, что полагал, что даже если это и было преступлением, я был слишком юн, чтобы подвергнуться серьезному наказанию.

К концу весеннего семестра в средней школе я привык обедать с моими одноклассниками и учителями в саду, заросшем низкорослыми дикими вишнями, рядом со зданием школы. Земля была покрыта анемонами и фиалками, а кое-где проглядывали венерины башмачки. Теплое весеннее солнце, проглядывающее сквозь ветви, которые только-только начали покрываться зеленым пухом листвы, призывало к новой жизни и к новым свершениям.

В тот последний год моего пребывания в школе, и когда мне уже было одиннадцать, я влюбился в девочку, игравшую на пианино на наших

школьных концертах. Четырнадцатилетняя дочь железнодорожника, лицо которой было усеяно веснушками. Это была бесплодная, но все же настоящая любовь, а не любовь маленьких детей, лишенная половой чувственности. Она была развита не по годам. Мне же было всего одиннадцать. Внешне я состоял из смеси элементов, принадлежавших как восьмилетнему мальчику, так и четырнадцатилетнему подростку. Эта телячья привязанность казалась мне смехотворной, должно быть, и другие воспринимали ее также, и я стыдился ее. Я пытался продемонстрировать себя с той стороны, которая казалась мне единственно приемлемой — сочинить для нее музыку, и это я, который был менее музыкален, чем кто-либо из мальчиков. И как в случае со многими подобными музыкальными сочинениями, его звучание напоминало последовательные удары по черным клавишам пианино.

Конечно же, эта дружба не могла привести ни к чему, даже к обычной «любобной связи». Кроме того факта, что я еще был ребенком в силу своего возраста, во мне вызывали сильное беспокойство новые и лишь наполовину понятные мне силы внутри меня, чтобы я смог порвать со своим детством и втянуться в запретные удовольствия. Мои родители, расспрашивая меня и других людей, убедились, что эта девочка не причинит вреда моему телу и не обречет мою душу на муки вечные, хотя, ради справедливости надо отметить, что такой опасности не было вовсе. Этот жизненный опыт ознаменовал собою конец беззаботного детства. И хотя я не особенно стремился вырасти, я обнаружил, что я стремительно приближаюсь к зрелости с ее неизвестными обязанностями и возможностями.

Телячья любовь — это жизненный опыт любого нормального мальчика. Но через пару лет мальчик начинает общаться с девочками своего возраста и учится чувствовать себя с ними комфортно. И к тому времени, когда он поступает в колледж, бывает полон надежд на успех серьезного ухаживания за девушкой, намереваясь жениться на ней в недалеком будущем. Однако моя телячья любовь возникла слишком рано, и когда мне перевалило за двадцать, я все еще испытывал трудности и не помышлял о женитьбе.

Конец учебного года был заполнен вечеринками по поводу окончания школы, устраиваемыми моими одноклассниками, которым уже исполнилось семнадцать или восемнадцать лет. Даже когда я был признанным хозяином, и гости приехали в Оулд Милл Фарм на экипажах, взятых на прокат у жителей Шейкер, я чувствовал себя на этом празднике посторонним. Я сидел в комнате, устроившись под столом и наблюдал за танцами как за ритуалом, в котором для меня не было роли.

После того как закончились празднества и церемонии по случаю окончания школы, я провел лето в Оулд Милл Фарм с моим журналом «Св. Николас» и моими айерскими друзьями, время от времени навещая Гомера и Тайлера Роджерсов на их ферме. Несколько раз я пытался получить приз у Лиги Св. Николаса, являвшейся колыбелью для начинающих художников, поэтов и романистов, но самое большее, чего я добился, это упоминания моего имени в списке отличившихся всего лишь один раз. Я вынужден был довольствоваться удовольствиями, которые можно было купить. К этому времени мне купили дешевый фотоаппарат «Brownie»; я надеялся купить пневматическое ружье, но поскольку родителям эта идея не понравилась, самое лучшее, что я смог себе позволить, был пугач.

Я многим обязан своим айерским друзьям. Мне дали шанс пройти через те стадии развития, когда ребенок бывает особенно неуклюжим, окруженным атмосферой сочувствия и понимания. В более крупной школе, вероятно, было бы труднее найти такое понимание. Мои одноклассники, мои учителя и более взрослые школьные приятели с уважением относились к моей личности и праву на уединение. Особенно много любви и понимания проявила мисс Ливитт. Мне выпал шанс увидеть демократию своей страны в один из самых ярких ее проявлений, в той форме, в какой она была воплощена в маленьком городке Новой Англии. Я подготовился и созрел для выхода во внешний мир и жизни в колледже.

После того как я закончил среднюю школу, я несколько раз навестил Айер, хотя и с большими промежутками между визитами. Я был свидетелем того, как город потерял свой статус железнодорожной узловой станции и превратился в военный городок, и как многие железнодорожные линии были разобраны. Я видел, как Вторая мировая война вновь возвеличила этот городок, и полагаю, что вновь придется мне увидеть, как он теряет свое важное значение. И невзирая на все эти превратности жизни, среди семей, знакомых мне, наблюдался рост в сторону объединения и безмятежного существования. Они люди, живущие в маленьком городе, но в них явно отсутствует мещанский дух. Они хорошо начитанные люди для века, когда чтение было довольно редким занятием. Они хорошо знают театр, хотя ближайший театр расположен в тридцати пяти милях от них. Уже два поколения выросли и повзрослели с тех пор, как я покинул это место, выросли в атмосфере любви и уважения. У меня складывается впечатление, что мои друзья в этом маленьком промышленном городе представляют собою своего рода стабильность безо всякого снобизма, стабильность, которая является универсальным качеством, а не признаком провинциальности, и

структуру их общества можно запросто сравнить с самыми лучшими из тех, что могли бы предложить подобные места в Европе. Когда я среди них, все ожидают, и ожидают совершенно справедливо, что я в какой-то мере должен вернуться к своему статусу мальчика среди старших в семье. И я делаю это с благодарностью, ощущая при этом свои корни и защищенность, и это чувство для меня не имеет цены.

VIII

УЧАЩИЙСЯ КОЛЛЕДЖА В КОРОТКИХ ШТАТИШКАХ

Сентябрь, 1906 – июнь, 1909

Когда закончились дни моего пребывания в средней школе, отец решил отправить меня в колледж Тафтс, чтобы не подвергать меня нервному напряжению, которое непременно бы возникло при сдаче вступительных экзаменов в университет Гарвард, и чтобы избежать привлечения ненужного внимания к тому факту, что одиннадцатилетний мальчик поступает в Гарвард. Тафтс был отличным маленьким колледжем, настолько близким к Гарварду, что его тень затмевала колледж в глазах общества. И в силу этого самого факта ему были присущи все научные преимущества, характерные для Бостонского научного центра. Мы поселились рядом с колледжем Тафтс на Медфорд Хиллсайд, и отец мог каждый день ездить на трамвае на работу в Гарвард.

Меня приняли в Тафтс на основании отметок из средней школы, а также на основании результатов нескольких легких экзаменов, которые мне пришлось, в основном, сдавать устно. Мы купили почти законченный дом на Хиллсайд, воспользовавшись услугами строителя-подрядчика, который жил с нами по соседству, и наняли его, чтобы он закончил строительство дома в соответствии с нашими требованиями.

Мы приехали из Оулд Милл Фарм немного пораньше, чтобы устроиться в нашем новом доме и познакомиться с колледжем. Я усердно изучил справочник колледжа, и в то время знал о колледже Тафтс так подробно, как никогда позже.

Я начал знакомиться с детьми, жившими поблизости. В раннем детстве я прочел кое-что о гипнотизме и решил его испытать сам. Я в этом не преуспел, однако вызвал негодование и ужас родителей моих друзей. Я большую часть времени проводил в играх со своими сверстниками, но у нас было мало общих интересов. Я познакомился со служащим аптечного

магазина, стоящего на углу, который оказался интересным молодым человеком, студентом медицины, и был подготовлен для того, чтобы обсуждать со мной те научные книги, что я читал, и который, казалось, был знаком со всем творчеством Герберта Спенсера. С тех пор я считал Герберта Спенсера одним из величайших зануд девятнадцатого века, но в те дни я почитал его.

Мои обязанности начались с началом семестра. На меня произвели глубокое впечатление возраст и достоинство профессоров, и мне трудно поверить, что я сам сейчас намного старше многих из них. Мне было нелегко осуществить переход от особых привилегий ребенка, оказываемых мне в средней школе, к отношениям, полным достоинства, которые теперь должны были сложиться между мной и этими пожилыми мужами.

Я начал изучать греческий у весьма примечательного профессора Уэйда. Его семья была родом из окрестностей колледжа Тафтс; и когда он был мальчиком, украдкой катаясь на товарном поезде Бостон–Мэн, он упал и потерял ногу. Должно быть, он всегда был застенчив, а этот несчастный случай сделал его одиноким человеком. Но похоже, это не мешало ему с удовольствием путешествовать по Европе и Ближнему Востоку. Он обычно каждое лето проводил за границей, и кажется, он знал все реликты классического мира, была ли это статуя или какая-то местная традиция, начиная с Геркулесовых Столпов и заканчивая Месопотамией. Он с искренностью поэта любил греческих классиков, а также обладал даром передавать эту любовь другим. Его волшебные лекции по греческому искусству восхищали меня. Мой отец любил его, и он иногда бывал у нас дома. Я обычно играл, сидя на полу, и с наслаждением слушал беседу этих двух мужчин, обсуждавших самые разнообразные вещи. Если что-то и было способно повлиять на то, чтобы я стал классицистом, так это именно эти переживания.

Я еще не достаточно повзрослел для курса по английскому языку. Более того, обычное умение писать было для меня серьезным препятствием. Мое неумение писать толкало меня на то, чтобы опускать слова, которые я мог опустить, и в целом, это приводило к тому, что мой стиль был весьма шероховатым.

В математике я был далеко не новичок. Не было курса, который смог бы отвечать моим запросам, поэтому профессор Рэнсом взял меня на читаемый им курс по теории уравнений. Профессор Рэнсом совсем недавно вышел на пенсию после полувековой службы в колледже Тафтс. Он был молодым человеком, когда я учился у него, и потому совершенно понятно, что теперь он уже не молод; однако на протяжении всех этих лет мало что изменилось в его бодрой энергичной походке, его подбородок, украшенный

бородкой, по-прежнему устремлен вверх, и он все так же полон энтузиазма и, как всегда, ко всему проявляет интерес. Он был энтузиастом, но энтузиастом, остающимся в тени. Курс намного превосходил мои умственные способности, особенно в той части, где рассматривалась теория Галуа, но благодаря огромной помощи профессора Рэнсома я смог одолеть этот курс. Я начал свое изучение математики с трудного конца. Более никогда мне не пришлось сталкиваться в колледже Тафтс с каким-либо еще математическим курсом, которому мне пришлось отдать так много сил.

Немецкий я изучал у профессора Фэя, известного как «Tard» («Тихоход») Фэй¹ за его постоянные опоздания на занятия. Он был образованным человеком, высоко ценившим французскую и немецкую литературу; и кроме того, он был великим альпинистом. Я полагаю, что одна из вершин Канадских Скалистых гор носит его имя. Естественно, мне это казалось очень романтичным. Мы немного читали легкую прозу на немецком, но то, что по-настоящему привлекало меня — это немецкая лирика. Здесь усилия профессора Фэя дополнялись тем чувством, с которым отец, знавший творчество немецких поэтов наизусть, читал мне их стихи, а также тем, что нам вменялось в обязанность заучивать эти стихи, и это всегда мне нравилось. Мои занятия по физике состояли из опроса учащихся, лекций и демонстраций экспериментов. Мне потребовалось некоторое время, чтобы достичь настоящего понимания физики, которое дало мне возможность правильно выполнять упражнения, но демонстрации опытов мне нравились всегда. Мне также нравилось заниматься в химической лаборатории, где на последнем курсе я изучал органическую химию, уплатив, пожалуй, самую высокую цену за использование аппарата в течение одного эксперимента, какую кто-либо из студентов последнего курса в Тафтс когда-либо платил.

У меня был друг, мой сосед, Элиот Квинси Адамс, который был студентом последнего курса Массачусетского технологического института в то время, когда я заканчивал Тафтс. Он познакомил меня с возможностью изображения четырехмерных фигур на плоскости или в трехмерном пространстве, а также с исследованием четырехмерных правильных фигур. Однажды мы попытались изготовить гидроэлектрическую машину из старых железных банок.

В физике и в технике я занимался исследованием многих вещей, в частности электричества, что не входило в программу обучения. Эксперименты с электричеством я проводил со своим медфордским соседом. Мы обычно

¹Tardy — медлительный (англ.)

генерировали электричество посредством ручного генератора постоянного тока для изготовления коллоидного серебра или коллоидного золота. Удалось ли нам изготовить эти вещества или нет, я не могу вспомнить, но мы думали, что нам это удалось. Также мы пытались воплотить на практике две идеи из физики, принадлежавшие мне. Одна из них была электромагнитный когерер для радиосигналов, который отличался от электростатического когерера Брэнли. Он зависел от воздействия магнитного поля, причем его направление не играло роли, при сжимании массы из железного наполнителя и порошкового графита изменяли его сопротивление. Временами нам казалось, что мы достигли положительного эффекта, но мы не были уверены, происходило ли это из-за этой магнитной когезии или же из-за чего-то совершенно другого. Тем не менее идея была вполне разумной, и если бы время всех этих устройств не ушло безвозвратно после изобретения электровакуумных приборов, мне было бы небезынтересно повторить эти эксперименты вновь с самого начала.

Другой прибор, который мы пытались опробовать, был электростатическим преобразователем. Его принцип действия был основан на том, что энергия или заряд конденсатора проводится в виде диэлектрического напряжения. Фокус заключался в том, чтобы зарядить вращающийся стеклянный диск или ряд дисков через электроды с параллельным соединением и разрядить через электроды с последовательным соединением. Это отличалось от электромагнитного трансформатора в том, что действие производилось от прямого тока, а также тем, и что было существенным для прибора, что диски должны были вращаться. Мы перебили массу стекла, пытаясь изготовить прибор, но не добились, чтобы он по-настоящему работал. Мы даже не подозревали, что идея была уже опубликована и довольно давно. В самом деле, я видел очень похожий прибор в течение последних двух лет в лабораториях технического колледжа Мексиканского университета. Он работал очень хорошо. Два последовательных блока этой машины увеличивали напряжение в несколько тысяч раз.

Я испытывал интерес к радиоприемнику с ранних лет. Я думаю, что хотя и редко, но все же я мог получать несколько последовательных кодовых сигналов — точка-тире — из радиоприбора, который стоял на моем письменном столе. Я не смог ни выучить код, ни распознать его, будучи практиком-создателем радиоприемников.

В социальном плане я в большей мере зависел от своих сверстников, чем от студентов колледжа, с которыми я должен был учиться. Я был ребенком одиннадцати лет, когда поступил в колледж, и при этом я носил

короткие штанишки. Между моей жизнью в качестве студента и жизнью, где я оставался ребенком, проходила четкая грань.

Нельзя сказать, что я представлял собою некую смесь ребенка и взрослого молодого человека, скорее я был ребенком там, где речь шла о дружбе и друзьях, но в сфере учебы я был почти взрослым человеком. Мои друзья и сокурсники хорошо понимали это. Мои друзья воспринимали меня как ребенка, когда я проводил с ними время в играх, хотя, возможно, я был несколько непонятливым ребенком, а мои однокурсники охотно позволяли мне участвовать в их мужских беседах, если я не слишком шумел и не слишком им надоедал. Я испытывал ностальгию по тем дням в Кембридже, когда у меня было так много друзей.

Пока я учился в колледже Тафтс, я продолжал проводить летние каникулы в Оулд Милл Фарм, где поддерживал отношения с моими айерскими друзьями, и куда иногда кто-нибудь из студентов Тафтса приезжал навестить меня. Одно лето было похоже на другое, те же самые прогулки в поисках грибов, те же самые общие исследования в ботанике, то же самое бродяжничество по окрестностям и то же плавание в пруду. По мере моего взросления, мне стали позволять участвовать во встречах с друзьями родителей, когда они приходили к нам с визитами.

Во время семестра я пытался возобновить мое знакомство с прежними друзьями с улицы Эйвон. Эти попытки вернуться в прошлое не всегда заканчивались успешно, и в конце концов я прекратил их. Медфорд Хиллсайд был слишком далеко от Кембриджа, чтобы я мог запросто навещать своих друзей в любой из дней недели. Кроме того, находясь в определенной изоляции от улицы Эйвон, я стал требовательным и ревнивым. И более того, мои друзья с улицы Эйвон, взрослея, приобретали самые разные интересы. Мальчики из семьи Кингов стали проявлять истинный интерес к науке. Когда я снова, хотя и не систематически, приезжал навестить их и поиграть с ними в их лаборатории, расположенной на цокольном этаже, я крайне редко встречал кого-либо из моих прежних кембриджских друзей.

Я уже упоминал кое-что о своих пристрастиях в научной литературе. Что же касается ненаучной литературы, в ней мне интересно было все. Я мог бесплатно пользоваться различными публичными библиотеками, в которые у меня был доступ, и много времени я проводил в детском зале Бостонской публичной библиотеки.

Я уже говорил о том, что любил сочинения Жюль Верна, а в поисках рассказов о приключениях я обращался к Куперу и Майну Риду. Позже, когда я достиг более зрелого возраста и был способен переварить более

серьезную литературу, я добавил в свой список Гюго и Дюма. Дюма, в частности, был для меня писателем, от книг которого я просто не мог оторваться, и на многие часы, забыв обо всем на свете, я погружался в мир приключений Д^эАртаньяна и графа Монте Кристо.

Естественно я читал многие из детских книг, накопленные публичной библиотекой за счет даров, сделанных старшими поколениями. Луиза Алкотт была достаточно приятным автором, но я был юным снобом, и считал, что ее книги, в основном, для девочек. У Горация Алгера несерьезное подобие рассудительности и нравственности преподносилось в соединении с грубыми критериями успеха, что сильно отвращало меня. Я даже рискнул обратиться к бульварным романам, но пришел к выводу, что они слишком бессодержательны. Моим любимым американским автором, среди тех, кто писал для мальчиков, был Дж. Трубридж, хотя сейчас его рассказы о детских годах в Новой Англии и в штате Нью-Йорк на меня уже не производят того впечатления, какое я пережил однажды. С другой стороны, я думаю, что его три романа о Гражданской войне, «Пещера Куджо» («Cudjo's Cave»), «Барабанщик» («The Drummer Boy») и «Три Скаута» («Three Scouts»), написаны на таком высоком уровне, какой только возможен при написании рассказов о войне для мальчиков.

Я часто покупал старый журнал «Стрэнд» («Strand») в газетных киосках. Это английское периодическое издание, которое хорошо прижилось в Соединенных Штатах на долгие годы. В нем печатали рассказы о Шерлоке Холмсе, несколько великолепных рассказов для детей Эвелин Несбит и несколько замечательных детективных рассказов А. И. У. Мэйсона. Этот журнал был намного лучше большинства американских периодических изданий того времени, и именно благодаря ему я познакомился со многими новыми авторами, и в моей памяти всплыли причудливые, мрачные виды Лондона.

Даже зимой я не мог усидеть дома. Дорога, проходящая мимо водохранилища колледжа Тафтс, была прекрасным местом для катания. Мне также нравился свежий, резкий зимний воздух, который я вдыхал всей грудью во время прогулок с моим другом, когда он отправлялся за своей газетой; даже когда был особенно сильный, парализующий холод, было здорово перебежать от здания к зданию по открытому пространству на Колледж Хилл.

Отец, разговаривая со мной, часто употреблял в своей речи философские термины, как бы указывая на то, что именно философия должна стать сферой моей будущей деятельности, и всячески поощрял меня к занятиям по ней. Вот почему на второй год обучения в Тафтс я стал ходить на несколь-

ко курсов по философии и психологии, на которых преподавал профессор Кушман. В философии он был скорее любителем.

В большей мере на меня оказали влияние книги двух философов: Спинозы и Лейбница. Пантеизм Спинозы и псевдоматематический язык его теории нравственности помогли ему скрыть тот факт, что его книга является одной из величайших религиозных книг в истории человечества; и если читать ее последовательно, не отвлекаясь на аксиомы и теоремы, в ней обнаруживается восторженный стиль и проявление человеческого достоинства, а также достоинства всей вселенной. Что касается Лейбница, я так и не смог смириться с тем, что восхищающий меня беспредельно как один из последних мировых гениев философии, он в то же время был придворным льстецом, карьеристом и снобом, чем вызывал во мне презрительное к нему отношение.

Сильно разбавленный материал, преподносимый нам на курсах по философии и психологии, не выдерживал никакого сравнения с тем, что я читал вне программы этих курсов, и, в частности, с великолепными книгами профессора Уильяма Джеймса, ставшими для меня литературным лакомством в силу серьезности их содержания. Я узнал, что Джеймс был одним из кумиров моего отца, и прошло совсем немного времени, когда мне предоставился шанс навестить его в его собственном доме. Я не помню отчетливо подробности этого визита, но у меня осталось впечатление о дружелюбном, пожилом, бородатом человеке, который, видя мое смущение, был очень добр ко мне, и который позже пригласил меня посетить его лекции по прагматизму в Лоуэлле. Я действительно посещал эти лекции, и был очень рад, когда профессор Джеймс подарил моему отцу свою книгу, представлявшую собой собрание этих лекций. Позже я узнал, что, на самом деле, книга предназначалась мне, но ни Джеймсу, ни моему отцу не хотелось возбудить во мне тщеславие тем, что Джеймс вручил бы подарок мне непосредственно.

У меня сложилось впечатление, что прагматизм не был сферой Джеймса. В более конкретных материалах по психологии в каждом параграфе ощущалась его способность проникать в сущность предмета; но он никогда не был силен в чистой логике. В американской истории развития науки принято считать, что если Генри Джеймс писал свои романы как философ, его брат Уильям Джеймс изложил свои философские воззрения как романист. Уильям Джеймс был более, чем романистом, но, по всей вероятности, он был не таким уж сильным философом, как это принято думать, поскольку, на мой взгляд, его способность проникать в суть конкретного гораздо больше его способности к убедительному логическому изложению материала.

В течение моего второго года обучения в Тафтсе я нашел весьма интересным для себя посещение биологического музея и лаборатории. Смотритель дома, где жили животные, бывший также и сторожем, стал одним из моих близких друзей. Эти неприметные служители науки, без которых ни одна из лабораторий не могла бы функционировать, представляют собою совершенно удивительную группу людей, и особенно они вызывают интерес у мальчика, стремящегося в науку. Я решил попробовать себя в занятиях биологией. Я уже к тому времени посетил несколько экскурсий с профессором Ламбером и группой студентов на Миддлсекские водопады и в другие места и наблюдал, как они собирали лягушачью икру, водоросли и многое другое, что представляло интерес с биологической точки зрения.

Я уже давно проявлял интерес к биологии, и отцу хотелось выяснить, стоило ли мне специализироваться в биологии в дальнейшем. Мы вместе на поезде отправились в Вудз Хоул, где профессор Паркер с отделения биологии Гарвардского университета позволил мне попробовать себя в анатомировании налива. Все, что мне запомнилось, это то, что я не особенно успешно провел анатомирование, и через несколько дней над тем местом, где я работал, появилась надпись: «Здесь запрещается резать рыбу».

В свой последний год пребывания в Тафтсе я решил серьезно попробовать себя в биологии. Я поступил на курс Кингсли — сравнительная анатомия позвоночных. Кстати сказать, Кингсли был автором «Естественной истории», которая так сильно заинтриговала меня, когда мне было восемь лет. Он был маленьким, напоминающим птичку, энергичным человечком, одним из самых вдохновенных ученых из тех, с кем я познакомился в свой выпускной год. У меня не возникало проблем с работой в классе, поскольку у меня всегда было хорошее чутье в отношении систематизации вещей; но в анатомировании я слишком спешил и был чересчур неаккуратен. Кингсли присматривал за тем, чтобы у меня всегда было достаточно работы, и он дал мне задание анатомировать черепа многих рептилий, амфибий и млекопитающих, чтобы проверить, смогу ли я раскрыть их гомологические секреты. Но и здесь я слишком спешил и работал крайне неаккуратно. Я обычно проводил много времени в библиотеке лаборатории, где я читал такие книги, как «Материал для исследования изменчивости» («Material for the Study of Variation») Бейтсона.

Само по себе биологическое исследование может быть вызвано нездоровым любопытством юного студента. Его любознательность, имеющая законное основание на существование, смешана с нездоровым интересом к тому, что вызывает боль и отвращение. Я осознавал такое смешение моих

собственных мотивов. Я уже отмечал, что в книгах, научных трактатах и сказках, которые я читал, были похожие абзацы, которые я старался быстро проскакать, но которые теперь увлекали меня и даже вызывали во мне какое-то мрачное удовольствие. Гуманистические трактаты, направленные против вивисекции и призывающие к вегетарианству, которыми был завален наш рабочий стол, приводили меня в еще большее смущение преувеличениями, характерными для них. Испытывая все это смятение духа, я находился одновременно на нескольких сомнительных позициях.

Самое сильное переживание, связанное с этим смятением, случилось в последний год моего обучения в Тафтсе. Некоторые из нас имели привычку производить анатомирование кошки с привлечением анатомии человека — сейчас я не помню, была ли это анатомия Квэйна или Грея. Это практика крайне желательна в виду того, что анатомия кошки и анатомия человека, хотя и сильно напоминающие друг друга, не являются буквально идентичными, и таким образом, эти самые различия являлись для нас своего рода испытанием и помогали нам развивать нашу наблюдательность. Теперь некоторые из этих анатомий человека содержат интересные наблюдения, касающиеся лигатуры артерий и новых анастомозов, которые, как установлено, вновь восстанавливают кровообращение. Двое или трое из нас особенно заинтересовались этим разделом. Мальчики были старше меня и более зрелыми, чем я, но боюсь, что должен признать то, что заводилой в этом был я. Воспользовавшись услугами смотрителя, мы достали морскую свинку и перевязали одну из бедренных артерий. Я не помню, использовали мы анестезию или нет, хотя смутное ощущение того, что мы все старались делать, как положено, где-то живет во мне, и что животному дали вдохнуть эфира. Хирургическая операция была сделана неумело, и мы не смогли должным образом отделить артерию от сопровождающих ее вены и нерва, и животное умерло. Когда профессор Кингсли узнал о нашей неудачной затее, он был крайне возмущен, поскольку вивисекция была, несомненно, незаконным мероприятием, и могла привести к лишению лаборатории многих ее важных привилегий. Хотя я не получил сильного наказания, я чувствовал себя униженным и ощущал глубокое беспокойство. Было совершенно ясно, что я не мог дать объяснений по поводу своих мотивов, которые смогли бы удовлетворить суд собственной совести. Я поспешил предать это деяние забвению, и, конечно же, оно прочно осело в глубинах моего сознания. Мое чувство вины, вызванное этим эпизодом, привело меня к еще большему напряжению.

Несмотря на этот интерес к биологии, я закончил колледж по специальности математика. В течение всех лет обучения в колледже я изучал

математику, в основном, у Дина Рена, чья точка зрения напоминала скорее точку зрения инженера, и тем отличалась от точки зрения профессора Рэнсома, который учил меня на первом курсе. Мне легко дались курсы по вычислению и дифференциальным уравнениям, и я часто обсуждал эти вещи с моим отцом, который очень хорошо ориентировался в несложной математике, преподаваемой в колледже. Что касается моего ежедневного двойного повторения материала по математике и по курсу культуры, это осталось неизменным. В этих предметах отец оставался моим основным наставником, и он по-прежнему ни на капелючку не ослаблял поток брани, извергаемой на меня.

Я закончил колледж весной 1909 года, завершив свой академический курс за три года. Это не являлось каким-либо триумфом, как могло бы показаться, просто по сравнению с другими мальчиками, у меня было меньше вещей в жизни, на которые я мог бы отвлекаться. Только ребенок может посвятить всю свою жизнь непрерывной учебе.

Я решил поступить в Гарвард на отделение аспирантуры, чтобы продолжить мое изучение зоологии. С самого начала это было моим решением, но отец не хотел соглашаться с ним. Он полагал, что я мог бы отправиться в медицинское учебное заведение, но профессор Уолтер Б. Кэннон сильно отговаривал его от этого, заметив при этом, что мое юношеское восприятие жизни там пострадает в большей мере, чем где-либо еще.

Поскольку я больше не занимался в Тафтсе, отец строил планы в отношении переезда в Кембридж на следующий год. Это означало строительство или покупку нового дома. Уступив настойчивости фирмы, в которой работали архитекторы, коллеги отца по Гарварду, отец купил пару участков на углу Хаббард Парк и улицы Спаркс, на одном из которых было возведено действительно великолепное строение, символизирующее рост благосостояния семьи. Это повлекло за собой сложные маневры, связанные с продажей дома на Медфорд Хиллсайд и Оулд Милл Фарм в Гарварде. Семья прониклась верой в то, что эти маневры продемонстрировали чрезвычайную предусмотрительность и осведомленность. Другой участок было решено продать, как только найдется покупатель, однако покупатель так и не нашелся, так что участок был продан вместе с домом пятнадцать лет спустя.

В любом случае мы больше не могли проводить лето в Оулд Милл Фарм. В первой половине лета мы вернулись в Гарвард, но поселились в другой части городка в старом полуразрушенном доме, жизнь в котором оказалась вредной для здоровья всех нас. Мы отказались от дома, не дождавшись конца лета, и покинули Гарвард, чтобы провести остатки летнего

отдыха в пансионе в Уинтропе, откуда отец мог наблюдать за завершением строительства нашего нового дома. Благодаря доброте двух женщин, работавших в Гарвардской библиотеке, мы нашли довольно сносный пансион. У меня до начала занятий в Гарварде было много свободного времени. Часть этого времени я проводил в Уинтропской публичной библиотеке, а часть в Бостоне, где я посещал музеи и кинотеатры, а также посещал аттракционы в Ривер Бич, в которых были использованы различные механические устройства.

Это был бурное время открытия Северного Полюса и время противоречивых репортажей, получаемых от Кука и Пири. Я помню обворожительного газетного репортера Кука и те надежды, которые мы понапрасну возлагали на него. Только что начали появляться карикатуры Матта и Джефа, выполненные Бадом Фишером, с их озабоченностью по поводу трагикомедии полярных исследований. Когда появились их изображения, им должно быть, было чуть меньше тридцати лет. Удивительно, какими бодрыми они остались достигнув возраста более семидесяти двух лет.

В то лето меня преследовала одна научная идея. Она заключалась в том, что эмбрион позвоночного представлял собою кишечнополостной полип, в котором мешковидные выпячивания, переходящие в руки, стали миотомы. Я полагал, что связка нервов возле рта соответствовала мозгу и грудному отделу спинного мозга, а нижняя часть центральной полости соответствовала пищеварительному тракту позвоночного. Я помню, что использовал микроскоп нашего айерского врача для исследования слайдов, присланных мне другом из Вудз Хоул, и я докучал Фонду Карнеги своей просьбой позволить мне исследования по данному предмету. Конечно же, из этого ничего не вышло.

IX НЕ РЕБЕНОК, НО И НЕ ЮНОША

Я и не подозревал до окончания колледжа Тафтс, как много сил я потратил на эти три года обучения. Я был изнурен, но остановиться и передохнуть не мог.

В то лето мне не удалось физически окрепнуть. Каждая царапина вызывала легкое нагноение, и у меня постоянно была небольшая температура. Мое эмоциональное состояние соответствовало физическому. Я понимал, что детство для меня заканчивалось, поскольку я подходил к тому возрасту, когда на человека возлагается определенная ответственность, и это не радовало меня. Когда закончились последние дни в колледже, и я встал перед необходимостью сделать первые шаги в неизвестное будущее, я ощутил себя в полной растерянности.

Я получил некоторое удовлетворение от чествования в день окончания колледжа; но за этим счастливым событием вставал целый ряд вопросов: чем мне следует заниматься в будущем, и какие надежды на успех я могу возлагать?

На первый вопрос я частично ответил, решив заниматься в Гарварде, чтобы получить степень бакалавра. Но вопрос о моем успехе оставался мучительным. Хотя я закончил колледж *sum laude*¹, я не был избран в «Фи Бета Каппа»². Мои результаты можно было интерпретировать двояко, и потому мое избрание в общество, как и неизбрание могли быть оправданы в одинаковой мере. Но мне дали понять, что основной причиной того, что я не был избран, было сомнение в том, оправдает ли в будущем чудо-ребенок оказанную ему честь. И тогда впервые я осознал тот факт, что меня считали капризом природы, и я начал подозревать, что некоторые из тех, что окружали меня, должно быть, ожидали моего провала.

Пятнадцать лет спустя, когда мне все же была оказана та честь, в которой было отказано после окончания колледжа, я уже стал довольно заметной фигурой в научном мире. Позволить мне быть избранным в общество

¹С отличием (*лат.*)

²Phi Beta Каппа — привилегированное общество студентов и выпускников колледжа (*амер.*)

в то время — это все равно, что поставить на лошадь, когда скачки уже закончились. Избрание же меня в момент выпуска из колледжа означало бы выражение веры в меня и в мое будущее, и эта вера могла стать для меня источником силы. Во мне слились воедино большая доля самомнения с еще большей долей неуверенности в себе.

Надо сказать, что я не ждал ничего хорошего от всех этих почетных обществ. Конечно же, это результат моего собственного опыта в колледже Тафтс, но и мои последующие контакты с такими обществами только усилили это мое отношение к ним. Основная трудность заключается в том, что признание, оказываемое такими обществами, а на самом деле, университетами, когда присуждаются почетные степени, — это вторичное. Они не ищут молодых людей, заслуживающих признания, а признают тех, кто был признан ранее. Таким образом, возникает пирамида почестей, оказываемых тем, кому они уже были оказаны, и напротив, недооценка тех, кто имеет в прошлом всего лишь определенные достижения, но никак не признание.

Существует некоторое нравственное обязательство, которое я ощущаю, когда речь заходит обо всем этом. Я всегда думал лишь о мостике, который мне надо было пересечь, чтобы получить какое бы то ни было признание, и меня возмущали плотные, сомкнутые ряды тех, кто старше меня, выступавшие в качестве препятствия на моем пути к успеху и достижению уверенности в себе. Вот почему, когда позже я получил признание, я почувствовал нежелание стать бенефициарием процесса вторичного признания, который так возмущал меня, когда я был молодым. Таким образом, то, что меня не приняли в «Фи Бета Каппа», укрепило мое мнение, на основе которого я ушел в отставку из Государственной Академии Наук, и я настаивал, чтобы друзья оставили свои попытки найти для меня где-либо подобное почетное место. Нельзя сказать, что я был абсолютно последователен в этом вопросе, поскольку в ряде случаев такой отказ от почестей рассматривается не просто как стойкое стремление к независимости со стороны человека, которому оказывается честь, а как нелюбезность в отношении заслуженных научных групп, которые сознательно или неосознанно ищут поддержки собственных имен. И как бы то ни было, но и сегодня моя реакция осталась той же самой, какой она была почти в течение сорока лет, а именно: академические отличия не являются чем-то хорошим, и если есть еще что-то, подобное им, я выбираю не иметь со всем этим дела.

Следовательно, мое окончание Тафтса вынудило меня столкнуться лицом к лицу с величайшим осознанием того, что должен осознать чудоребенок: он нежелателен для общества. Он не отвергается явно своими

сверстниками. Все дети ссорятся, и только когда они достигают возраста, в котором необходимо нести ответственность за свои поступки, они приобретают нечто, что дает им возможность быть выше общественных нравов зоопарка. Но когда вундеркинд начинает понимать, что старшие в обществе с подозрением относятся к нему, в нем появляется страх встретить такое же подозрение со стороны своих сверстников.

Существует поверье, и оно характерно не только для Соединенных Штатов, что ребенок, начинающий рано развиваться, расходует весь интеллектуальный жизненный запас энергии и обречен на то, чтобы рано стать неудачником и заурядной личностью, или даже может стать нищим и закончит свои дни в сумасшедшем доме.

Мой жизненный опыт убеждает меня в том, что вундеркинд отчаянно неуверен в себе и недооценивает себя. Каждый ребенок в процессе приобретения эмоциональной защищенности верит в ценности мира, который его окружает, и, следовательно, начинает жить не с того, что становится революционером, а напротив, законченным консерватором. Он хочет верить, что те, кто его старше, и от кого он зависим в том, чтобы в мире, где он живет, все было правильно организовано и под контролем, являются мудрыми и добрыми. Когда же он обнаруживает, что они не такие, он встает перед проблемой вынужденного одиночества и необходимостью формирования собственных суждений в отношении мира, которому он более не может полностью доверять. Эти переживания вундеркинда присущи каждому ребенку, но к переживаниям вундеркинда добавляется страдание, возникающее из того факта, что наполовину он принадлежит миру взрослых, а наполовину миру детей, окружающих его. Отсюда следует, что он проходит через стадию развития, когда масса его конфликтов намного превышает массу конфликтов других детей, и редко, в силу этого, он являет собою отрадное зрелище.

В свои ранние годы я не понимал, что я вундеркинд. Лишь в дни учебы в старших классах средней школы я едва начал сознавать это, а во время обучения в колледже я уже не мог отрицать этот факт. Одним из наименее приятных следствий было то, что мне докучала толпа репортеров, которые горели желанием продать мое право первородства¹ за один пенс за строку. Вскоре я познакомился с тем умоляющим тоном, которым репортер, настойчиво вторгаясь в чью-то личную жизнь, обычно говорил: «Буду я иметь эту работу или нет, зависит от этого интервью!» В конце концов, я узнал и то,

¹Ссылка на библ. текст. Исава продает свое право первородства своему брату-близнецу за чечевичную похлебку. — *Прим. пер.*

что репортеров вообще необходимо избегать, и я выработал достаточную скорость и изворотливость в том, чтобы ускользнуть от преследования репортера по территории колледжа, а затем сквозь заднюю аллею Гарвардской площади, не давая его напарнику шанса качественно сфотографировать меня.

Большая часть этих статей появлялась в приложениях к воскресным газетам. Они принадлежали к классу недолговечной литературы, которая, появляясь на один день, возвращалась туда, откуда возникала. Они потакали моему детскому желанию быть в центре внимания, однако и мои родители, и я сам считали это нарциссизмом, развитым до болезненности, чем это и было на самом деле; было неприятно обнаружить себя, покрытым десятидневной славой, между статьями о двухголовом теленке и более или менее правдивой истории о любовной связи Графа X со стареющей женой миллионера Y.

Но наибольший вред приносили более серьезные статьи. Учтивые и льстивые статьи Г. Аддингтона Брюса¹ предоставили моему отцу шанс выступить с совсем нелестными теориями по поводу моего образования, в то время как случайная статья в журналах для широкой публики, написанная теоретиками педагогики², продемонстрировала мне во всей полноте мою неуклюжесть и непринятие меня обществом.

Боюсь, что у отца не было иммунитета против соблазна давать интервью журналам обо мне и моем обучении. В этих интервью он подчеркивал, что я, в сущности, являюсь ребенком со средним уровнем способностей, но мне выпал шанс пройти через курс превосходного обучения. Я полагаю, что он так говорил отчасти, чтобы я не стал тщеславным, а наполовину это было истинным убеждением отца. Тем не менее, это скорее вызывало во мне неуверенность в себе, нежели активизировало мои способности, словно я вновь подвергался брани со стороны отца. Короче, из двух миров, к которым я принадлежал, на мою долю приходилось все самое худшее.

Нанося мне непосредственный вред, эти статьи также подчеркивали тот факт, что чувство изолированности навязывалось вундеркинду скрытой враждебностью общества, окружающего его.

Конец учебы в колледже заставил меня критически оценить самого себя и то положение в окружающем мире, которое я занимал. В моем изнуренном состоянии эта оценка приняла весьма унылый оттенок. Впервые в жизни

¹ Местн. цит. — *Прим. автора.*

² Катерин Долбер, «Дети с ранним развитием», Педагогическая Школа, т. 19, стр. 463. — *Прим. автора.*

я остро осознал факт смерти. Я пересчитал те четырнадцать с половиной лет, что прожил, и попытался примерно прикинуть, какой может стать моя жизнь в будущем, и что я могу ожидать от своей будущей жизни. Читая роман, я всегда пытался выяснить возраст персонажей, и сколько лет им еще осталось прожить, я также постоянно читал о жизни авторов замечательных книг, пытаясь выяснить, в каком возрасте они написали данное сочинение, и сколько лет им еще удалось прожить. Эта одержимость, конечно же, коснулась и моих отношений с родителями и бабушками и дедушками, и на какое-то время сделала мою жизнь невыносимой.

Страх смерти переживался параллельно со страхом греха и усиливался за счет него. Мое злключение с вивисекцией привело к ужасающему осознанию того, что я могу быть жестоким и получать удовольствие от проявления жестокости, которое ощущается в полной мере лишь при причинении боли и страдания. Мои годы в колледже почти полностью совпали с периодом, когда я из мальчика стал превращаться в очень молодого и неопытного молодого человека. Осознание мужского начала в себе самом без соответствующего опыта и житейской мудрости, с помощью которой я мог бы управлять им, привело меня в состояние страшной паники, и временами, находясь в этом паническом состоянии, я пытался прорваться сквозь заблокированный вход обратно в детство. Я вырос в окружении, являвшемся вдвойне пуританским, поскольку оно сочетало в себе изначальный присущий евреям пуританизм с пуританизмом жителя Новой Англии. И самые элементарные фазы моей самооценки от детских лет до юношеского возраста казались мне или греховными, или чреватými возможностями греха. Эти возможности представляли собою вещи, которые я не мог свободно обсуждать даже с моими родителями. Отношение моего отца было бы, в целом, сочувственным, однако это было бы лишь выражением сочувствия без всякого намерения вдаваться в подробности, и которое, в итоге, похоже, не было бы откликом на мои несуразные попытки поделиться беспокоящими меня не совсем приятными вещами, а также его сочувствие не было бы наполнено желанием выслушать и попытаться понять, что же в действительности беспокоило меня. С другой стороны, моя мать сочетала в себе буквальное принятие до мельчайших деталей принципов пуританизма с несокрушимым нежеланием допустить, что ее ребенок может быть способным сделать нечто, что было бы нарушением этих принципов.

Другими словами, в этих вопросах, которые сильно тревожили меня, я столкнулся не столько с обличающей неприязнью, сколько с нежеланием

их обсуждать, и в итоге, я был совершенно один со своими проблемами. Эта проблема не является проблемой лишь вундеркинда; она общая для многих юношей, вероятно, для большинства из них. И все же в сочетании со множеством других проблем, обременяющих жизнь вундеркинда, она естественно становится заметной.

Если мой ребенок или мой внук будет переживать такие же тревожные состояния, которые переживал я, я отведу его к психоаналитику, и не потому что я уверен, что это лечение даст какой-то определенный успех, а потому, что надеюсь, что он, по крайней мере, получит какое-то понимание и какое-то облегчение. Но в 1909 году в Америке не было психоаналитиков; а если и были один или два рискованных, сбившихся с пути истинных последователей Фрейда, они были оторванными от общества практицистами. И не было традиции обращаться к ним за помощью, и они едва ли были доступны для скромного кармана профессора колледжа. Более того, даже спустя двадцать лет, для моих родителей было бы богохульством и признанием поражения допустить, что член их семьи может нуждаться в таком лечении.

Однако все эти замечания уже о давно прошедшем. Факт же заключается в том, что в то время не было возможности облегчить агонизирующее состояние ребенка, покидающего детство, или чувство вины, которое почти нераздельно связано с юношеской сексуальностью. Подобно многим другим юношам, я бродил по темному тоннелю, выхода из которого я видеть не мог, и даже не знал, существует ли он вообще. Я не мог выбраться из этого тоннеля до тех пор, пока мне не исполнилось почти девятнадцать лет, когда я начал учиться в Кембриджском университете. Моя депрессия летом 1909 года закончилась не внезапно, скорее она медленно улетучивалась.

Мои отношения с отцом претерпевали постепенные изменения, которые я осознавал весьма нечетко. Благодаря Тафтсу я получил частичное освобождение от его прежней неослабной власти, поскольку я пробовал себя в таких вещах, как биология, где он не мог направлять меня, и где я мог надеяться превзойти его. На самом деле, мое изучение математики получило его одобрение, и в то же самое время это дало мне такое поле деятельности, где по мере моего развития для него стало невозможным угнаться за мной и покуситься на мою независимость. Мои занятия математикой дали мне возможность ощутить собственную силу в этой трудной области, и именно это так привлекало меня. Мои математические способности в то время были моим мечом, и с ним в руках я мог штурмовать врата успеха. Это было не просто нравственной установкой, это была реальность, реальность, имеющая оправдание.

С того времени, как я начал посещать Тафтс, отец часто рассказывал мне о своей работе в сфере филологии. Некоторые из его работ были посвящены ранней истории цыган; некоторые касались таких спорных вопросов филологии, как происхождение итальянского слова *andare* и французского слова *aller*, в нескольких работах он исследовал поклонение Гекате¹ и влияние этого поклонения на средневековую Европу, также он изучал влияние арабских языков на европейские языки. Среди прочих были весьма интересные исследования взаимоотношений между установившимися группами языков такими, как индо-европейская, семитская, дравидийская, и т.д.; позже это сравнительное исследование включило в себя языки обеих Америк, а также изучение проблемы влияния африканских языков на эти языки.

Во всех этих исследованиях отец объединил на редкость широкий объем лингвистической информации с историко-филологическим подходом, не применявшимся до него в такого рода исследованиях, испытывая недоверие, характерное для современной филологической науки, к чисто формальной фонетической филологии, отдавая предпочтение более исторической и эмпирической точке зрения, ставшей доминирующей среди современных филологов. Отец был поклонником Джесперсена и его работы; и когда наступит время для объективного и беспристрастного выяснения источников современных филологических идей, я не сомневаюсь, что имя отца будет стоять рядом с Джесперсеном наряду с прочими великими учеными в лингвистике.

Тем не менее, благодаря своей интуиции, поддерживаемой почти сверхчеловеческой способностью прочитывать и изучать огромную массу материалов, отец работал слишком быстро для процессов формальной логики. Для него филология была дедуктивной работой, великолепным кроссвордом; но боюсь, что он часто не дописывал свои статьи, хоть и оставалось дописать половину страницы. Он в значительной части случаев знал, что именно надо дописать, но он просто совершенно не учитывал возможности своих читателей, чтобы расставлять все точки над «i». Тем не менее, я уверен, что в некоторых (достаточно редких случаях) он сам был неуверен, как довести свою работу до логического конца.

Отец стал заниматься филологией после тщательного обучения лингвистике, но без поддержки мастеров, принадлежавших этой гильдии. Он был человеком, любившим популярность и одобрение, но, по сути, он был ученым-одиночкой. Появление в филологии иностранных имен рассматри-

¹Hecate — греч. миф. — колдунья. — *Прим. пер.*

валось им как покушение на чужие права, и его собственные способности делали его одновременно опасным и непопулярным. В Гарварде отделение славянских языков представляло собой маленькую автономную замкнутую группу на факультете современных языков, и хотя к отцу все обращались за советом, сам он был одинок. Спрятавшись за собственную популярность, что само по себе было великолепно, он сталкивался неизбежно с недоверием работы к гению. Нам всем хорошо известен немецкий афоризм, приписываемый Людвигу Берну: когда Пифагор открыл теорему равноугольного прямоугольника, он принес в жертву сто быков; с тех пор, когда делается новое открытие, все быки дрожат от страха.

В этих обстоятельствах, будучи отшельником, живущим в самой гуще огромного города, отец естественным образом обратился в мою сторону в поисках компании для научных бесед и за поддержкой. Я глубоко интересовался его работой, но его аргументы не всегда казались мне убедительными. Когда я обнаруживал свое недоверие, задав какой-либо вопрос, отец приходил в негодование. С моей стороны было своего рода изменой подвергать малейшему сомнению любое из его слов. Кроме того, я не имел права на то, чтобы иметь мнение по целому ряду вопросов, которые он предлагал мне на рассмотрение, я мог лишь отвечать в свете того небольшого суждения, которое имел, и отец требовал, чтобы я не говорил «да», когда я по-настоящему не был согласен. Конечно, я должен был бы сознавать то, что в этих беседах с отцом я был лишь вроде манекена, выполняющего роль ученой публики, в диалоге с которой он просто разрешал свои сомнения. Тем не менее, и несмотря на мои протесты по поводу того, что я незнаком достаточно с предметом, о котором он рассуждал, чтобы выразить обоснованное мнение, отец требовал от меня прямого ответа на какой-либо конкретный вопрос. И я стоял перед выбором, либо лгать, что я согласен, либо проявлять демонстративно неповиновение. Я предпочитал неповиновение; отец всегда распознавал фальшь, когда я соглашался, и он ругал меня за нерешительность. Это было несправедливо, и я знал, что это было несправедливо; но я также знал, что отец поднимал все эти вопросы в разговорах со мной, поскольку ощущал вынуждающую его к этому внутреннюю потребность, и что он не был счастлив.



Бабушка
и я в младенческом
возрасте



Мои родители



3 года



7 лет



9 лет



Выпускник
средней школы



Доктор
философии
в Гарварде



Молодой
преподаватель



Моя жена



В середине карьеры

Х

НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ Гарвард, 1909–1910

Осенью 1909 года президент Элиот уволился из Гарварда, и его сменил Абботт Лоуренс Лоуэлл. Я поехал в Уинтроп на церемонию, на которой присуждались почетные степени на открытом воздухе перед зданием университета, и мне понравилось академическое пышное зрелище.

Тогда я не понимал, и думаю, лишь немногие понимали, что уход Элиота совпал с концом великого века и началом века менее значительного. Может, Элиот и имел ограниченную натуру, присущую жителю Новой Англии, однако его взгляд на мир был взглядом ученого и гражданина мира. Лоуэлл был предан Гарварду и хотел сделать его доступным лишь для правящего класса.

Правление Лоуэлла вскоре стало хорошо сказываться на благосостоянии членов факультета, и отец был среди тех, у которых была хорошая причина испытывать благодарность президенту за финансовое обеспечение. Однако эта благодарность имела нехороший привкус. Если Лоуэлл и сделал профессоров богатыми, то лишь потому, что он хотел, чтобы они были союзниками богатых. Он хотел, чтобы они избегали дружбы с простолюдниками и искали бы себе друзей среди людей, принадлежащих большому бизнесу, и в промышленных кругах.

Поначалу мои родители не сознавали, что рог изобилия, которым президент Лоуэлл одарил факультет, таил в себе лезвие бритвы. Много лет спустя, когда отец, выходя в отставку, получил письмо, написанное также безапелляционно, как письмо, выдаваемое кухарке, плохо справляющейся со своими обязанностями, профессор Лоуэлл, эта ходячая добродетель, превратился в глазах отца и матери в злого монстра. Но он не был ни образцом добродетели, ни монстром. Это был довольно заурядный человек, имеющий поверхностный лоск и привязанность к конформистам, преданный своему социальному классу и почти равнодушный ко всему прочему.

В первые годы его президентства я бывало посещал довольно чопорные и официальные вечеринки для студентов колледжа в президентском

доме на улице Квинси. Мы учились удерживать чашки с чаем на коленях и слушать истории миссис Лоуэлл, вспоминая о великом морозе, сковавшем льдом гавань в Бостоне когда-то в одну из давних зим. Президент произносил *obiter dicta*¹, быстро передаваемое с одного конца поля правительства и администрации на другой, несущее в себе его любимую идею, что если правительство должно использовать экспертов, то пусть они будут слышимы, но не видимы. Он возносил хвалу любителю в политике, человеку, который мог обо всем хорошо рассуждать, однако в голове которого не было никакой содержательной информации.

Семестр в Гарварде начинался через несколько дней после того, как мы переехали в наш новый дом в Кембридже. Мне было почти пятнадцать лет, и я решил попробовать свои силы в получении докторской степени в биологии.

Мои первые воспоминания о работе в Гарварде связаны с тем, как я собирал пиявок для своего курса лекций по гистологии в маленьком пруду в заповеднике Фреш Понд в Кембридже. Мой гистологический курс начался очень сумбурно и его продолжение было сродни провалу. У меня не было навыков для деликатных манипуляций с нежными тканями, как не было привычки к порядку, необходимому для соответствующего выполнения любой сложной работы. Я разбивал стекла, портил свои срезы случайными разрезами, и не мог следовать педантичному порядку лизиса клеток и закрепления, окрашивания, высушивания и изготовления срезов, который должен выполняться безукоризненно любимым компетентным гистологом. Я стал помехой для моих однокурсников и для самого себя.

Мои неуклюжесть и неумение возникли из-за смеси нескольких факторов. Вероятно, у меня был значительный недостаток ловкости рук в силу какой-то специфической организации генома, но это, в любом случае, было не все. Другим, имеющим важное значение, фактором были мои глаза; и хотя мое зрение было хорошо скорректировано соответствующими очками, и глаза практически не уставали, с близорукостью связаны вторичные неудобства, которые непосредственно не могут быть заметны для среднего человека. Ловкость рук не может быть связана лишь с развитостью мышц или зрения. Она зависит от всей цепи, начинающейся с глаз, продолжающейся в действии мышц и затем в сканировании глазами результатов этого мышечного действия. И возникает необходимость не только в совершенстве мышечного и зрительного импульса, каждого по отдельности, но также и в том, чтобы взаимосвязь между этими двумя была точной и постоянной.

¹Вскользь сказанное замечание (*лат.*)

И вот мальчик в толстых очках видит образы, смещающиеся под значительным углом при каждом незначительном смещении очков на носу. Это означает, что взаимосвязь между зрительным импульсом и мышечным импульсом подвержена постоянной перенастройке, так что добиться между ними абсолютной корреляции невозможно. Отсюда возникает источник неуклюжести, который играет большую роль, но не является очевидным.

Еще один источник моей неуклюжести имеет скорее психическую природу, чем физическую. Социально я все еще не был приспособлен к окружению и часто был неосмотрителен, поскольку не всегда в достаточной мере сознавал последствия собственных действий. Например, я часто спрашивал других мальчиков, который час, вместо того, чтобы самому приобрести часы, и в конце концов, они подарили мне их. Немного легче будет понять это мое поведение, если принять во внимание, что, хотя родители щедро оплачивали все мои личные расходы, я еще не привык правильно распределять в течение недели выдаваемые мне деньги.

Еще один психический барьер, который мне приходилось преодолевать, это нетерпеливость. Эта нетерпеливость была результатом быстроты моего ума и физической медлительности. Я начинал видеть завершение задолго до того, как я мог проделать все необходимые стадии, которые должны были подвести меня к нему. Когда научная работа состоит из чрезвычайно тщательной и точной работы, которая всегда сопровождается регистрацией развития процесса, как графической, так и описательной, нетерпеливость становится очень большим недостатком. Насколько большим недостатком была моя неуклюжесть, я не знал, пока не попробовал. Я стал заниматься биологией не потому, что она соответствовала тому, чем я мог заниматься, а потому, что она представляла собою то, чем я хотел заниматься.

То, что окружавшие меня люди отговаривали меня от дальнейших занятий зоологией, а также советовали воздержаться от занятий науками, где эксперимент и наблюдение были важными составными частями, было неизбежным. Тем не менее, впоследствии я эффективно работал вместе с физиологами и другими лабораторными учеными, которые были более опытными экспериментаторами, чем я, и мне удалось сделать свой определенный вклад в современное исследование физиологии.

Для того чтобы быть ученым, существует много путей. Вся наука основывается на эксперименте и наблюдении, и совершенной истиной является то, что ни один человек не сможет достичь успеха, если не понимает фундаментальных методов и важности наблюдения и проведения экспериментов. Но все же нет абсолютной необходимости в том, чтобы проводить наблюде-

ния своими собственными глазами или проводить эксперименты собственными руками. В наблюдении и эксперименте происходит сбор данных, и эти данные необходимо выстраивать в логическую структуру, а эксперименты и наблюдения, посредством которых данные могут быть получены, должны проводиться таким образом, чтобы представлять собою адекватный способ исследования природы.

Идеальный ученый, вне сомнений, — это человек, способный правильно ставить вопрос и правильно проводить исследование. Нет недостатка в тех, кто способен проводить подобные программы с наибольшей эффективностью, не имея, быть может, должной проницательности для постановки проблемы и правильной организации проведения экспериментов: в науке больше умелых рук, чем умелых мозгов, которые могли бы управлять ими. Следовательно, хотя неуклюжий и небрежный ученый не является тем типом ученого, который смог бы выполнять огромную работу в науке, все же в ней для него есть работа, если это человек, обладающий пониманием и хорошо умеющий рассуждать.

Совсем нетрудно узнать всесторонне одаренного ученого, которого так можно назвать безо всяких сомнений. И это задача преподавателя суметь распознать в студенте будущего работника лаборатории, способного к блестящей работе при претворении в жизнь стратегий, принадлежащих другим, и того, кто будучи неуклюжим физически, наделен интеллектom, идеи которого могли бы направлять первого и помогать ему. Когда я был студентом в Гарварде, мои преподаватели не смогли признать, что несмотря на мои ужасные недостатки, я все же мог бы сделать какой-то свой вклад в биологию.

Однако покойный ныне профессор Рональд Тэкстер был исключением. Я учился у него на курсе споровой ботаники. Лекции представляли собою тщательные и подробные исследования анатомии и филогенетики водорослей и грибов, мхов и папоротников и родственных им растений. Обычно это требует от студента тщательных записей и копирования диаграмм, которые профессор рисовал на доске. Лабораторная работа состояла из тщательно рассматривания и зарисовки живого растения и приготовления срезов споровых тканей. Моя лабораторная работа была более, чем плохой: она была безнадежной. И все же я получил отметку В-плюс¹ за этот курс, не сохранив ни единой записи.

Студент должен уметь делать записи, но я так и не преуспел в этом. Я полагаю, что существует определенный конфликт между использованием

¹Хорошо с плюсом (*амер.*)

внимания студента для грамотного осуществления записи лекции и использованием его внимания для того, чтобы понимать говорящего, по мере того, как он рассказывает материал. Студент должен выбирать между первым и вторым, и в каждом из этих моментов есть свои преимущества. Если студент подобен мне, и у него такая же проблема со зрением и умением писать, что обрекает его записи на незавершенность и на то, что их трудно будет впоследствии разобрать, то он, похоже, пытается усидеть на двух стульях. Если он принимает решение делать записи, значит он обрекает себя на то, что не сможет ухватить основную идею, и в конце курса у него не будет ничего, кроме массы неразборчивых каракулей. Но если у него такая же хорошая память, как у меня, то лучше ему оставить идею о том, чтобы записывать, а вместо того сосредоточить свой ум на материале, по мере его изложения лектором.

Мой курс по сравнительной анатомии был промежуточным между гистологией и ботаникой. Мои рисунки были ужасны, но я хорошо понимал суть дела. У меня была тенденция, как это было с Кингсли, спешить в работе, не вдаваясь в мелкие детали. Это, кстати сказать, была характерная для меня тенденция на протяжении всей моей жизни. И мне нетрудно объяснить почему. Я очень быстро проникал в суть идей и был крайне медлителен физически. И мне трудно было физически угнаться за полетом собственных идей или же придать моим идеям достаточно медленный порядок следования, чтобы он соответствовал возможностям моих физических ресурсов.

Я нашел для себя способ физически восстанавливаться в гимнастическом зале. Я поступил в класс художественной гимнастики, где обычные тренировочные упражнения сочетались со спокойными народными танцами. Я пытался играть в баскетбольные игры в группе для низкорослых, которые проводились в цокольном этаже гимнастического зала, но в этом подвижном и беспорядочном виде спорта в очках нечего было делать, а без очков я был совершенно беспомощен.

Много счастливых часов я провел в библиотеке Гарвардского «Юниона». Он недавно был создан за счет благотворительности властей как «club des sans club»¹ и был выражением протеста против привилегированности Гарвардских клубов. При новом режиме Лоуэлла этот клуб начал увядать. Важным веянием того времени стал новый антисемитизм, и власти стали размышлять с позиций *numerus clausus*². Ниоткуда стали возникать слухи, что «Юнион» стал штаб-квартирой евреев и других нежелательных элемен-

¹Клуб для тех, у кого нет клуба (*фр.*)

²Ограничение численности (*лат.*)

тов. Эти слухи получили отклик и в нашем доме. Моя мать расспрашивала меня относительно еврейской направленности «Юниона» и начала намекать мне, что возможно, было бы лучше, если бы меня видели там не так часто. Поскольку у меня не было другого места, куда бы я мог пойти, чтобы проводить время в обществе, все эти вопросы сильно расстраивали меня.

Случилось так, что год 1909 оказался *annus mirabilis*¹ в Гарварде. Я был одним из пяти вундеркиндов, принятых в качестве студентов. Это были У. Дж. Сайдис, А. А. Берль и Седрик Уинг Хутон. Роджер Сешенс, музыкант, поступил в Гарвард на год позже, когда ему было четырнадцать. Мне было почти пятнадцать лет, и я был студентом — аспирантом первого курса. У. Дж. Сайдис поступил в колледж как первокурсник. Он был сыном психиатра Бориса Сайдиса, который вместе со своей женой открыл частную психиатрическую клинику в Портмуте, штат Нью-Гемпшир. Как и мой отец, Борис Сайдис был русским евреем, и как у моего отца, у него были свои непоколебимые убеждения относительно образования детей.

Юный Сайдис, которому в то время было одиннадцать лет, был заметно ярким и интересным ребенком. Он, в основном, интересовался математикой. Я хорошо помню тот день в Гарвардском математическом клубе, когда Г. С. Эванс, бывший руководитель математического отделения Калифорнийского университета и друг семьи Сайдисов на протяжении всей жизни, оказал мальчику поддержку, чтобы он выступил по проблеме четырехмерных правильных фигур. Такое выступление сделало бы честь студенту — аспиранту первого или второго курса любого возраста, хотя весь материал, обсуждаемый в его выступлении, был известен и опубликован. Тема была мне знакома благодаря Э. К. Адамсу, моему приятелю по Тафтсу. Я уверен, что у Сайдиса не было доступа к уже существующим источникам, и что его выступление представляло собой триумфальное завершение работы очень умного ребенка, проделанной без всякой посторонней помощи.

И конечно, вне всяких сомнений, Сайдис был ребенком, который значительно отставал от большинства своих сверстников в социальном развитии и в способности адаптироваться в обществе. Я, естественно, не являлся образцом для подражания, если говорить о приличиях поведения в обществе; но даже мне было ясно, что ни один другой ребенок его возраста не пойдет по улице Брэттл, размахивая сумкой из свиной кожи во все стороны, непричесанный и в грязной одежде. Он был дитя с полным набором капризов, присущих взрослому Др. Джонсону².

¹Чудесный год (*лат.*)

²«Др. Джонсон» — Эммоэль Джонсон, британский писатель и лексикограф. — *Прим. пер.*

В детстве имя Сайдиса крайне часто мелькало в печати. Для газет день, когда Сайдис, после одного-двух лет довольно успешного обучения в Гарварде, получил работу в новом институте Райс в Хьюстоне, штат Техас, благодаря поддержке своего друга Эванса, стал знаменательным днем. Он потерпел неудачу в силу отсутствия зрелости и такта, которые были так необходимы для хорошего выполнения этой невозможной задачи. Позднее, когда он нес лозунг на какой-то демонстрации радикалов, за что был арестован, репортеры были просто счастливы.

После этого эпизода Сайдис сломался. Он ощущал настолько горькую обиду по отношению к семье, что даже не пошел на похороны отца, он был обижен на математику, науку и образование. Кроме того, у него развилась ненависть ко всему, что могло бы поставить его в положение, когда он вынужден был бы за что-то нести ответственность или принимать решения.

Я встретился с ним много лет спустя, когда он бродил по коридорам Массачусетского технологического института. Научная карьера была закрыта для него. Он просил просто дать ему работу, чтобы он мог зарабатывать на кусок хлеба, шаблонную работу вычислителя, а также он просил дать ему шанс, чтобы он мог заниматься своим любимым делом — коллекционированием переводных картинок с изображением трамваев со всего света. Он, как чумы, боялся какого-либо упоминания своего имени в печати.

К началу Второй мировой войны в Массачусетском технологическом институте возникло много работы, связанной с вычислениями. Так что найти работу для Сайдиса не представляло труда, хотя всегда хотелось дать ему более интересную и ответственную работу, чем та, которую он предпочитал. Отчеты о его работе не отличались разнообразием. В тех рамках, которые он сам определил для себя, он выполнял работу чрезвычайно быстро и был компетентным вычислителем. Ему удалось даже достичь определенной минимальной аккуратности в собственной внешности, он был спокойным, покладистым работником. С нами он имел какую-никакую защищенность; мы все знали о его жизненной истории и уважали его личную жизнь.

Я уверен, что даже в то время, когда я познакомился с ним в Гарварде, помощь компетентного психоаналитика, которая сегодня доступна повсюду, могла бы спасти Сайдиса, и он сделал бы более полезную и счастливую карьеру в жизни. Я в равной степени уверен и в том, что его отец, именно из-за того, что он являлся психиатром и был занят чтением напечатанной мелким шрифтом психологической карты, не смог увидеть взывающей к нему надписи, начерченной огромными буквами. Было абсолютно понят-

но, что за то, что произошло позже с Сайдисом, в большей степени был ответственен его отец.

Не закрывая глаза на безрассудство старого Сайдиса, необходимо, по крайней мере, понять причину этого безрассудного отношения. Представим себе еврея, освобожденного от преследований, которым он подвергался в России, и натурализовавшегося жителя земли, которая еще не решила, желает ли она принять его. Представим себе его успехи, намного большие, чем те, которые он мог вообразить себе, будучи ребенком, но все же недостаточные для воплощения его желаний. Представим себе умного ребенка, которому предназначен судьбой еще больший успех, намного превышающий тот, что выпал на долю его родителей. А теперь представим себе еврейскую традицию талмудического образования, которая со времен Мендельсона была включена в светское образование, открытое для всего мира, и представим себе амбиции ортодоксальной еврейской семьи иметь среди своих сыновей хотя бы одного великого раввина и ту жертву, на которую идет эта семья, чтобы достичь желаемого.

Я не склонен включать свое имя в список тех, кто изливает поток порицаний в адрес Бориса Сайдиса. У меня есть письмо от писателя, который, проведя день за изучением опубликованных материалов по данному делу, был уверен в том, что отец виновен в совершении тяжкого преступления, за которое предусматривается смертная казнь, и это преступление было результатом позиции ученого, настолько преданного науке, который решился на совершение духовной вивисекции собственного ребенка. Я полагаю, что эти рассуждения необдуманны, и им не хватает сочувствия и сострадания, которые являются признаком по-настоящему великого писателя.

Я считаю уместным обсудить жизнь Сайдиса так подробно, поскольку она стала предметом жестокой и совершенно неоправданной статьи в журнале «Нью-Йоркер» («New Yorker»). Несколько лет тому назад, когда Сайдис вел независимый образ жизни, хотя и далекий от преуспевания, и работал в Массачусетском технологическом институте, какой-то предприимчивый журналист уцепился за историю его жизни. Я полагаю, ему удалось завоевать доверие Сайдиса. Сайдис, который на протяжении последних лет терпел поражение, но оставался достойным борцом в битве за существование, был выставлен к позорному столбу как некий уродец для изумления дураков.

Уже почти четверть века как он перестал быть новостью дня. Если кто-то и сделал что-то неправильное, так это его отец, который давно умер, и статья лишь усугубила несправедливость, сотворенную по отношению к

сыну. Вопрос о вундеркинде не являлся животрепещущей проблемой даже в общественной прессе, и не поднимался на протяжении многих лет до того, как это сделал «Нью-Йоркер». В виду всего этого, я не понимаю, каким образом автор этой статьи и редакторы журнала могут оправдывать свое поведение заявлением, что поступки людей, пользующихся известностью, являются предметом для справедливых критических замечаний в прессе.

Я подозреваю, что у некоторых из персонала «Нью-Йоркера» «в голове каша». Во многих литературных кругах на повестке дня отрицательное отношение к интеллектуалам. Находятся чувствительные души, обвиняющие науку во всех несчастях и радующиеся случаю сурово покритиковать ее за все грехи. Более того, само существование вундеркинда воспринимается некоторыми как оскорбление. И что же в таком случае может быть лучшим духовным ветрогонным средством, как не статья, копающаяся в делах старого Сайдиса, оскорбляя при этом вундеркинда и демонстрируя проступок ученого, создателя вундеркиндов? Джентльмен, ответственный за эту статью, не учел того факта, что У. Дж. Сайдис был жив, и эта статья могла глубоко ранить его.

Сайдис подал в суд на «Нью-Йоркер» за причиненный моральный ущерб. Не мое дело критиковать суды, и я недостаточно знаю законы, чтобы справедливо описать дело. Однако я полагаю, что главным было то, что, чтобы добиться возмещения ущерба, подав исковое заявление, где определенные утверждения бесспорны, и где выражается озабоченность лишь насмешливым тоном статьи, необходимо доказать наличие такого ущерба, который будет мешать пострадавшей стороне выполнять его профессиональную работу. Но у Сайдиса не было профессии, и доказать такой ущерб было невозможно. Он был лишь поденным работником, и справедливо, что никакая критика подобного рода не могла бы лишиться его этой работы или снизить его заработную плату. Это не был тот случай, когда душевные муки становятся предметом правового спора. Таким образом, «Нью-Йоркер» выиграл это дело.

Когда Сайдис умер спустя несколько лет после этого, я помню, какой шок мы все пережили. Мы пытались выяснить в больнице, какое заболевание послужило причиной его смерти. Но мы не были родственниками, и администрация больницы соответственно хранила молчание. По сей день я не знаю причину его смерти.

Эта тема была вновь поднята в статье, опубликованной в журнале «На этой неделе» («This Week») бостонского Санди Геральд в марте 1952 года. Она называлась «Вы можете сделать своего ребенка гением» и была

написана на основе интервью с матерью Уильяма Джеймса Сайдиса. С точки зрения принадлежности к репортерской работе, она представляла собой обычную банальную журналистскую работу, которая была не лучше и не хуже, чем тысячи других, появляющихся в воскресном приложении и популярных иллюстрированных журналах. Ну, а с точки зрения принадлежности к социальному документу, она едва ли заслуживает внимания.

Неудача Сайдиса по большому счету была неудачей его родителей. Но одно дело — сочувствовать простой человеческой слабости, и совсем другое — рекламировать перед публикой крушение человеческой жизни, словно это было успехом. Итак, вы можете сделать своего ребенка гением, не так ли? Да, можно чистое полотно превратить в творение Леонардо, или стопку чистой бумаги — в пьесу Шекспира. Мой отец смог дать мне только то, что у него было: свою искренность, ум, образование и страсть. Эти качества не валяются на углу каждой улицы.

Галатее нужен Пигмалион. Что еще такого делает скульптор, кроме как снимает с куска мрамора излишки, а затем оживляет фигуру посредством собственного разума и любви? И все же, если камень в трещинах, статуя рассыплется под молотком и стамеской художника. Так пусть же те, кто решается вырезать человеческую душу по размеру собственной, будут уверены, что их образ заслуживает того, чтобы по нему создавать новый, и пусть знают они, что сила формирования прорастающего интеллекта является силой смерти, а также и силой жизни. Сильное лекарство — это сильный яд. И врач, отважившийся применить его, должен быть уверен, что знает, как его дозировать.

Потрясающей вещью для многих относительно группы рано развившихся детей, которые учились в Гарварде в 1909–1910 годах, является то, что мы совсем не были какой-то изолированной группой; в чем-то мы были похожи, а в чем-то отличались. По крайней мере, трое из нас принадлежали семьям, где были очень амбициозные отцы, но отцы этих детей не были похожи между собой, такими же разными были и их амбиции. Мой отец, в первую очередь, был ученым, и он хотел, чтобы я стал выдающимся в науке. Он в этом вопросе выполнял свой долг серьезно, и потратил огромное, может, даже с избытком, время на мое обучение. Отец Берля хотел, чтобы его сын стал преуспевающим юристом и государственным деятелем. Он принял огромное участие в образовании Берля на ранних стадиях его обучения, но я не думаю, что он прилагал столько же усилий, когда Берль стал студентом Гарварда. Отец Сайдиса был психологом и психиатром по профессии. Я уже говорил, что он хотел, чтобы его сын стал выдающимся в

науке, хотя я не помню, в какой из ее областей. Я помню, что Сайдис принимал в образовании сына такое же участие, что и мой отец. Я не сомневаюсь, что в раннем детстве Сайдис находился под сильной родительской опекой. Но в то время, когда я впервые познакомился с ним, ему было одиннадцать лет, он жил один в меблированных комнатах в Кембридже большую часть года, и там у него были свои приятели, и несколько близких друзей.

Я ничего не знаю о взаимоотношениях Хутона и Сешенса с их семьями. Я предполагаю, что частично это было потому, что там и не было ничего такого, о чем можно было знать, и их семьи не занимались так вплотную и настолько всецело их образованием, как это делали наши семьи. Я полагаю, что этим мальчикам предоставили возможность использовать собственные ресурсы, и, как следствие, они не подвергались такому давлению, как мы.

Я помню четырнадцатилетнего Берля, когда он впервые навестил меня, педантично аккуратный, в руке маленькие детские перчатки и официальная визитная карточка. Это было явление совершенно новое для меня, из-за моего раннего развития в сфере науки ни мои родители, ни я сам не сознавали в достаточной мере, что мне не было еще и пятнадцати лет. У меня было также ранее физическое развитие, и начало полового созревания было пройденным этапом, а этот подросток, будучи почти моим сверстником, внешне выглядел лет на пять моложе, чем я. Я был задет за живое, обнаружив такое знание манер и приличий в этом подростке.

У Сайдиса было хобби собирать переводные картинки с изображением трамваев, у Берля тоже был свой пунктик. Его интересовали различные подземные ходы в Бостоне такие, как метро, сточные трубы и разные забытые подземные убежища; в частности, он познакомил нас с тем романтическим подземным ходом, относящимся к ранним годам колониального периода, который в те дни все еще проходил под местом, где находился старый дом Провинс. Кирпичи были изготовлены два с половиной века назад, и мы оба, поддавшись присущему нам мальчишеству, разработали план создания литературной подделки, посредством которой мы должны были обнаружить документ, принадлежавший Шекспиру, захороненный в этой стене.

С тех пор, как Берль закончил колледж, я с ним больше не встречался. Он стал членом той группы молодых адвокатов и государственных деятелей, которая поддерживалась Феликсом Франкфуртером и была богатым источником талантов. Восхождение Берля было быстрым, и это неудивительно, поскольку его амбиции совпадали с его талантом. «Нью-Йоркер» представил своим читателям его личностные и профессиональные качества не совсем в почтительном тоне. Но я не испытываю такого возмущения

относительно непочтительного представления Берля, какое я испытывал в случае с Сайдисом. Берль был общественным деятелем и обладал достаточной властью. При условии, что определенные каноны журналистской этики соблюдены (а я не могу сказать, что «Нью-Йоркер» нарушил их), его поступки и его личность вызвали обоснованный интерес общества и могли быть подвергнуты справедливой критике. Сайдис был вне общественной жизни, и потому было чересчур жестоко вытаскивать его вновь на суд общности.

Мы, пятеро мальчиков, в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет, естественно не стали бы стремиться к дружбе друг с другом, если бы не те особенные обстоятельства, в которые мы были поставлены. Я уже сказал, что между мной и Берлем не сложились отношения с первой нашей встречи, и после нашего официального знакомства мы редко находили темы для разговоров. Позже мы обычно вместе играли в кегли в кегельбане в цокольном помещении гимнастического зала, и один или два раза вместе прогуливались по Бостону. Берль рассказал мне немного о своем увлечении подземными ходами в Бостоне, и, как я уже упоминал, мы планировали совместное участие в литературной подделке. Но наши приятельские отношения длились недолго, поскольку им не на чем было закрепиться.

Сайдис был слишком юн, чтобы быть моим приятелем, и чересчур эксцентричен, хотя мы вместе посещали курс аксиоматического метода, и его работа вызывала во мне уважение. Хутон был моим очень хорошим другом, и я знал его лучше, чем кого-либо из этой группы. Я иногда навещал его в Дивайн Холл, он производил на меня впечатление очень приятного человека. Его будущее казалось многообещающим, но его жизнь оборвалась трагически из-за аппендицита, когда он заканчивал университет.

Что касается Сешенса, я встречался с ним раз или два. Слишком разные наши интересы не позволили нам найти общий язык.

Таким образом, внутри своей группы мы не особенно знали друг друга и не особенно тянулись друг к другу. Был момент, когда я пытался объединить всех нас в своеобразный клуб вундеркиндов, но идея была нелепой, поскольку между нами не было связующего элемента, который дал бы нам возможность наслаждаться обществом друг друга. По поводу научных проблем мы общались со студентами, которые были старше нас, а свои детские и подростковые интересы мы делили со сверстникам, которые еще учились в школе, но выделялись своими способностями. В случае с каждым из нас, надо заметить, что наши отношения с людьми вообще складывались лучше, чем более близкие отношения с теми, что были подобны нам. Мы были

разными. Между нами практически не было ничего общего, и в группу нас объединяло лишь наше раннее умственное развитие. А это могло послужить не большей основой для объединения, чем ношение очков или обладание искусственными зубами. Луиз Бейкер в своей остроумной книге «В опасности» («Out on a Limb») показывает, что между двумя девочками, каждая из которых лишилась одной ноги, совсем не обязательно должны возникать дружеские отношения, и мой опыт убеждает меня в том, что совместное обучение в группе для детей с ранним развитием не является основательным поводом для возникновения дружбы, как и однотипные увечья.

К концу моего первого семестра в Гарварде уже не осталось сомнений относительно того, что вряд ли карьера биолога ожидает меня в будущем. Как обычно, решение было принято моим отцом. Он пришел к выводу, что тот успех в философии, которого я достиг, будучи студентом Тафтса, указывает на мое истинное предназначение. Я должен был стать философом, и мне надо было подать заявление в аспирантуру на философское отделение Сейдж при университете Корнелл, где старый друг моего отца со времен жизни в Миссури, профессор Фрэнк Тилли, заведовал отделением этики. Я могу понять с точки зрения недостатка средств в нашей семье и потребностей подрастающих детей, что мне непозволительно было серьезно ошибиться в выборе профессии, но лишение права решать самому и справляться с последствиями собственного решения на многие годы выбило меня из колеи. Это затормозило процесс моего социального и нравственного развития, и стало помехой, от которой я лишь частично избавился, достигнув возраста средних лет.

Мне, однако, не хотелось покидать Гарвард. Сначала я чувствовал себя там не на своем месте. Гарвард произвел на меня впечатление чрезвычайно благонамеренного заведения. В такой атмосфере вундеркинд, похоже, рассматривался как нахальство по отношению к богам. И то, что отец публично заявил о своих убеждениях относительно моего образования, вызвало враждебность со стороны его коллег, что сделало мою участь еще более тяжелой.

Я надеялся обрести свободу научной жизни среди моих однокурсников. И я, действительно, встретил таких, кто с желанием обсуждал научные вопросы и диалектально сражался за свои убеждения. Но согласно порядку вещей, который был присущ Гарварду, идеальным гарвардским представителем мог быть лишь тот, кто обладал джентльменским равнодушием, напускной холодностью, ученой невозмутимостью в соединении с приличным поведением в обществе. Тридцать лет спустя я испытал скорее шок,

чем удивление по поводу той сухой, эмоциональной и научной стерильности, до которой опустились некоторые из этих ученых мужей.

В конце учебного года отец принял одно решение, за которое я вечно буду ему благодарен. Он снял коттедж Тамарак в местечке Сэндвич, штат Нью-Гемпшир, на лето для нашей семьи. До сегодняшнего дня Сэндвич остался для меня местом летнего отдыха, и он занимает особое место в моем сердце, поскольку расположен в прекрасной местности, не далеко от гор, где можно погулять и полазить по скалам, а также из-за достоинства, сдержанности и дружелюбности людей, населяющих его. Я иногда совершал недолгие прогулки в Тамворт или в центр Сэндвича, по пути останавливаясь у задних дверей соседних домов, чтобы поболтать, выпить стакан воды или молока; иногда отец вместе со старшей из моих сестер и мной взбирался по горным тропинкам на Уайтфэйс и Пассаконавэй. Как-то отец, моя сестра, Гарольд Кинг и я упаковали походную палатку и наши вещевые мешки и отправились в длинный поход в долину Пассаконавэй, где провели почти неделю, поднимаясь вверх по рельсовому пути к останкам Кэмп Сикс в Ливерморской Пустыне, затем спускаясь вниз к лесозаготовительной деревушке Ливермор, от нее к Нотченской дороге и снова вверх по дороге Кроуфорд, ведущей к вершине Мт. Вашингтон. Оттуда мы спустились через высоты Бутс Спур к Таккерманс Равин и к Пинкгэм Нотч, Джексону, Интервейлу и Тамворту. Вернувшись, мы узнали, что миновали дом Уильма Джеймса в день его смерти.

Сейчас я провожу время в Новой Англии: зимы в Белмонте, штат Массачусетс, а летнее время в Сэндвиче, штат Нью-Гемпшир, если не отправляюсь в путешествие в какую-нибудь из стран мира. И хотя большую часть времени я провожу в городе, все же наибольшую привязанность я испытываю к своему деревенскому дому. Житель Новой Англии обычно не распространяется, откуда он родом: из деревни или из города; но в сдержанности деревенского жителя в большей мере сквозит почтительность и гордость. Фермер Нью-Гемпшира ощущает присутствие своих предков в своей повседневной жизни, и это ощущение рождается, когда он обрабатывает ту же самую землю, что и они, живет в том же самом доме, и зачастую использует те же самые инструменты. И все же это чувство исторического продолжения рода слишком личное, чтобы выставлять его напоказ перед заезжими гостями. Для городского жителя Новой Англии семья является собственностью человека; для жителя же деревни человек есть лишь проходящая фаза продолжения семьи. Если деревенский житель сдержан, то это потому, что он думает, что для вас самыми важными являются ваши

собственные дела, так же, как для него нет важнее дел, чем его собственные, и он выжидает, когда вы податите ему знак, что вы ничего не имеете против, чтобы выслушать его. Он выжидает, чтобы присмотреться к вам, но и вам дает шанс присмотреться к нему. Но всегда он воспринимает вас целиком как личность, а не как нечто абстрактное в виде работодателя или клиента. И не посплетничав с вами пять-десять минут, просто как человек с человеком, между которыми более важные взаимоотношения, чем между продавцом и покупателем, он не станет начинать никаких деловых разговоров с вами. Он примет от вас подарок, но не примет чаевые, угостится вашей сигарой, но не возьмет ваших денег. Короче говоря, нравится он вам или нет, а скорее всего он вам понравится, вы можете и должны уважать его, потому что он уважает себя.

Многие наши друзья жили в горах. Наш сосед профессор Хайслоп был эксцентричным и интересным человеком, известным благодаря своим исследованиям в психиатрии. В его коттедже мы провели много интересных часов перед горящим камином; в этом доме, который первоначально строился под курятник, мы слушали его жуткие байки о вурдалаках и привидениях, о мистических шумах и медиумах. Его дом принадлежал мистеру Хоугу из Филадельфии, третье поколение семьи которого все еще живет в этом районе. Сыновья Хоуга, молодой Хайслоп и я состояли в неформальной бейсбольной команде, членами которой были также сын профессора Дагальда Джексона из Массачусетского технологического института, два сына бывшего президента Гроувера Кливленда и один или оба мальчика Финли из Нью-Йорка. Я не помню имен других игроков. Мы обычно практиковались на не очень горизонтальном поле около дома Финли, и тренировка, как правило, означала для меня прогулку длиной в пять миль туда и обратно. Мы сыграли не больше двух игр, обе из которых бесславно проиграли. Я был запасным игроком в команде. Полагаю, ничто не может более точно выразить мой истинный статус в качестве спортсмена.

XI

ЛИШЕННЫЙ НАСЛЕДСТВА

Корнелл, 1910–1911

Я получил стипендию для обучения в Корнелле. Отец должен был сопровождать меня в Итаку, и в конце лета нам пришлось решать, как добираться туда. Это было в те дни, когда междугородние трамваи еще не вытеснили автобусы и экипажи. Наш выбор пал на романтическое путешествие на трамвае в центральный Нью-Йорк и Итаку. Там мы навестили профессора Тилли и составили план на предстоящий учебный год. Было решено, что я смогу свободно посещать дом Тилли и делиться с профессором Тилли и его женой всеми своими юношескими заботами и проблемами.

Отец и профессор Тилли на протяжении всего вечера предавались воспоминаниям о днях, прошедших в университете Миссури, и многом другом. В ходе этой беспорядочной беседы Тилли сказал отцу, что он припоминает ссылку, сделанную много лет назад на философа старых времен, принадлежащего нашей семье, Маймонида. Отец согласился, что до него также дошли эти слухи, вероятно, не являвшиеся подлинными, поскольку неизвестно, что было в тех бумагах, которые были потеряны моим дедушкой, что до известной степени наша семья действительно берет свое начало от Маймонида.

До того момента я не слышал ни о традиции, ни о самом Маймониде. Конечно же, я тот час обратился к энциклопедии. Я обнаружил, что Маймонид или Равви Моисей бен Маймон, известный как Рамбам согласно общепринятому использованию инициалов среди евреев, родом из Кордовы, постоянно проживавший в Каире, был врачом визиря султана Саладина. Я узнал, что он был главой еврейского общества в Египте и великим поклонником Аристотеля, и что его наиболее известная книга называлась *Moreh Nebukim* или «Руководство для тех, кто в смятении» («*Guide of the Perplexed*»).

Разумеется, я был заинтересован в том, чтобы в семье оказался такой важный человек, кем можно было бы гордиться, но намек на то, что это

была всего лишь легенда, вызвал во мне глубокое потрясение. Впервые я узнал, что я еврей, по крайней мере, по линии отца. Вы можете спросить меня, каким образом такой умный мальчик, каким был я, имел сомнения по этому вопросу, когда моя бабушка Винер всегда, насколько я помню, получала газеты, напечатанные на иврите, и мне это было известно. Я могу лишь ответить то, что мир сложен, и все его переплетения не слишком понятны подростку, и кроме того, мне казалось, что вполне возможно, что в Восточной Европе были люди, не принадлежавшие к еврейскому народу, но знакомые с еврейской письменностью. Более того, моя кузина Ольга как-то однажды сказала мне, что мы евреи; но моя мать в то время, когда у меня еще не возникали вопросы по поводу мира взрослых, опровергала это.

В то время принадлежность к еврейской национальности таила в себе большие неудобства, чем сейчас, и определенно существовали основания для того, чтобы позволить ребенку вырасти до определенного возраста без осознания этого социального клейма принадлежности к нежелательной национальной группе. Я не утверждаю категорично, что это был правильный путь; я просто говорю, что это была защитная мера, которая могла быть продиктована — и на самом деле была продиктована — желанием защитить детей. Нравственная ответственность за такую линию поведения велика. Делалось это из благородных побуждений или же из низменных.

Чтобы по возможности лучше объяснить такую линию поведения, необходимо было сделать так, чтобы дети росли, не сознавая своей исторической принадлежности к евреям, но в то же время, чтобы в них воспитывалось понимание. Необходимо, чтобы они научились видеть, что неудобства, переживаемые другими в силу их принадлежности к нежелательному национальному меньшинству, являются незаслуженным бременем, и они, по крайней мере, должны стараться избегать делать его еще более невыносимым. Такое отношение следует пронести через всю жизнь, и оно в равной мере должно быть направлено против несправедливого клеймения евреев, ирландцев, недавних иммигрантов, негров и прочих. Конечно, лучше всего, и пожалуй, это единственное, что оправдано с нравственной точки зрения, — это воспитать в ребенке сопротивление, а может, и враждебность ко всем формам унижающего предубеждения против чего бы там ни было. Однако, в итоге, каждое слово, которое может породить предубеждение в ребенке или усилить его, является ударом по его нравственной целостности, а в результате, — это удар по его уверенности в себе и вере в собственные силы, потому что придет неизбежно момент, когда ему станет известна истина о его происхождении. В любой форме бремя Первородного Греха невыносимо

тяжело; но особенно коварной его формой является знание, что ты принадлежишь к той группе людей, которую тебя учили презирать, и к которой тебя учили относиться с пренебрежением.

Ответственность за то, что мою принадлежность к евреям скрывали от меня, в большей мере лежит на моей матери. Отец лишь исподволь принимал в этом участие. Я полагаю, что его первоначальным намерением было не загружать нас сознанием нашей принадлежности к низко оцениваемой национальной группе, хотя одновременно ему хотелось сохранить наше уважение к этой группе и уважение к самим себе. Он написал целый ряд статей, посвященных еврейской теме, а также «Историю Еврейской Литературы» («History of Yiddish Literature»). Он был первым, кто представил Морица Розенфельда вниманию нееврейской публики. Отец участвовал в нескольких переговорах с Еврейским Издательским Обществом и с рядом других подобных организаций, и я полагаю, что между отцом и этими обществами возникали значительные трения. Позднее я узнал, что отец всегда заявлял, что эти трения были результатом того, что эти еврейские организации самонадеянно настаивали на том, что еврей прежде всего еврей, а уж потом человек, и что он обязан прежде всего сохранять неукоснительную верность своей группе, и лишь потом человечеству. Отец всегда был независимой личностью, и он был последним человеком в мире, который смог бы вынести давление такого рода.

Отношение моей матери к евреям и прочим непопулярным группам было другим. Едва ли не каждый день мы слышали ее замечания то по поводу ненасытности евреев, то о фанатизме ирландцев, то о лени негров. Достаточно легко понять, каким образом кидались эти подачки превалирующему узкомыслящему большинству той эпохи теми, кто испытал на себе все неудобства принадлежности к нежелательному меньшинству; но хотя мотивы, ведущие к этому конформистскому пренебрежению к собственному происхождению, и можно понять, можно даже простить такое пренебрежение, имея в виду то прощение, которое верующий человек надеется получить за свои грехи, но невозможно не сожалеть о нем и не стыдиться его. Тот, кто вопрошает о справедливости, должен творить эту справедливость, и плохо, если дети из еврейской семьи, неважно, знают они или нет, что они евреи, слышат, как кто-то говорит о других еврейских семьях с презрением, лишь потому что они прилагают точно такие же усилия, чтобы преуспеть по службе, какие в свое время прилагали их собственные родители.

Хранить молчание в семье так, как это делали мои родители, может, и рекомендуется, однако удастся делать это с гораздо большим трудом, чем

кажется на первый взгляд. Если существует согласие, что должно храниться молчание по этому поводу, что может сделать один из партнеров, когда другой делает уничижительные замечания относительно расы в присутствии детей? Он или предаст секрет огласке, или же сохраняет молчание и с нежеланием наблюдает за процессом, который никуда не ведет, а лишь откладывает на некоторый срок переживание ребенком эмоциональной катастрофы. Основная опасность самой искусной лжи в том, что если ее неуклонно придерживаются, она ведет к целой политике неискренности, конца которой не видно. Раны, нанесенные правдой, как чистые порезы, быстро заживают, а раны, полученные от ударов лжи, нарываюот и нагнаиваются.

Принося длинное извинение, на какое я только способен, за линию поведения, принятую моими родителями, я не хочу ни оправдывать это, ни предавать осуждению. Я просто хочу этим сказать, что такая линия поведения имела для меня серьезные последствия. Очень быстро все это привело к тому, что я стал протестовать против родителей и против принятия их неприязни. Кто я такой, просто потому что я был сыном моих матери и отца, чтобы извлекать выгоду из права выдавать себя за нееврея, которое не было дано другим людям, известным мне? Если принадлежность к евреям должна вызывать в людях презрительное пренебрежение и передергивание плечами, то я должен или презирать себя, или выработать отношение, вынуждающее меня оценивать себя согласно одному критерию, а весь остальной мир согласно другому. Может, та защита, что была создана вокруг меня, имела благие цели, но это была та защита, которую я бы не смог принять, если бы хотел сохранить свою целостность.

Если бы осознание себя в качестве еврея не навязывалось мне как необходимость, позволяющая сохранить целостность личности, и, если бы тот факт, что у меня еврейское происхождение, был известен мне, и я был бы окружен семейной аурой, лишенной эмоционального конфликта, я бы смог и принял бы эту принадлежность к евреям как естественный факт моего существования, не имеющий исключительной важности ни для меня самого, ни для кого-то еще. Вероятно, внешний антисемитизм, существующий в эту эпоху, постоянно возбуждал некий конфликт, который рано или поздно должен был так или иначе отразиться на мне. Тем не менее, если бы отношение семьи не было двойственным, это не причинило бы мне истинной боли в вопросе моей собственной внутренней духовной защиты. Таким образом, неблагоприятная попытка скрыть от меня мое еврейское происхождение вкупе со страданием, причиненным мне семейным еврейским антисемитизмом, привели

к тому, что еврейский вопрос стал довольно значительным в моей жизни.

Я говорю все это с совершенно четким и явным намерением помочь другим, кто может попытаться повторить эту ошибку, избежать того, чтобы их ребенок, вступая в круговерть жизни, переживал это ненужное ощущение разочарования и проклятия.

Итак, когда я понял, что я еврей, я пережил шок. Позже, когда я провел исследование девичьей фамилии матери Кан и обнаружил, что это просто вариант фамилии Коган, я испытал двойной шок. У меня не было защиты в виде того раздвоения личности, присущего семье моей матери, которое позволяло им использовать разные критерии в оценке чужих людей и своих родственников. Я логически для себя вывел, что, да, я еврей и, если евреи имеют личностные характеристики, которые так неприятны моей матери, то мне необязательно иметь такие черты характера и проявлять их, общаясь с теми, кто дорог моему сердцу. Я смотрел на себя в зеркало и убеждался, что ошибки нет: выпуклые близорукие глаза, слегка вывернутые ноздри, темные, волнистые волосы, полные губы. Все признаки налицо. Я смотрел на фотографию своей сестры, и, хотя она казалась мне хорошенькой, она определенно выглядела как хорошенькая еврейская девушка. У нее были не такие черты лица, как у еврейского мальчика, который оказался со мной в одной комнате в пансионате Корнелл. Он принадлежал недавно иммигрировавшей семье и казался абсолютным чужаком на фоне его англо-саксонских сокурсников. Мой снобизм не позволил мне принять его в качестве друга, и мне вполне ясно, что это означало: я не мог принять себя в качестве личности, имеющей какую-либо ценность.

При попытке разрешить эту эмоциональную и умственную дилемму я сделал то, что делает большинство подростков — я принял все самое худшее с обеих сторон. Даже сейчас думать об этом для меня унижительно, но я попеременно переходил из состояния малодушного самоуничтожения в состояние малодушного самоутверждения, в котором я оказывался еще большим антисемитом, чем моя мать. Все это в соединении с проблемами неразвитого и социально неадаптированного мальчика, который впервые надолго покинул свой дом и освободился от непосредственного давления отца в том, что касается образования, еще не сформировав привычки к самостоятельной работе, дает прекрасный материал, на основе которого возникают страдания.

И я страдал. У меня не было представления о том, как содержать себя в чистоте, и не было привычки к аккуратности, для меня самого было

неожиданностью, когда беспардонная грубость или какая-либо двусмысленность срывались с моего языка. Я чувствовал себя дискомфортно среди своих сокурсников, которым было больше двадцати, и вокруг не было моих сверстников, с кем я мог бы общаться. Привычка к вегетарианству, привитая мне отцом, осложняла еще больше мою жизнь вдали от дома среди посторонних мне людей. Я все еще находился под сильным влиянием отца, и в силу моего воспитания даже на расстоянии вероятность вызвать его гнев порождала во мне нежелание отказаться от этих привычек, как это сделали позже мои сестры.

Моя учеба дома всегда была под строгим надзором отца. И это привело к тому, что я практически не имел навыков самостоятельной работы. Я знаю, что отец всегда был за то, чтобы сформировать во мне независимость мышления, так как он хотел, чтобы я твердо стоял на своих ногах; и все же, несмотря на все его намерения, наша совместная жизнь приводила к совершенно противоположному результату. Я вырос зависящим от его поддержки, и даже его строгость была мне необходима. Покинуть этот кров и принять на себя всю ответственность взрослого человека, живущего среди других взрослых, было для меня чересчур много.

Я посещал очень разные курсы в тот год, когда учился в Корнелле. Я прочел «Республику» («Republic») Платона на греческом под руководством Хаммонда и обнаружил, что я почти не утратил былой беглости в греческом языке, которой достиг, обучаясь в Гарварде. Я также посещал психологическую лабораторию и ходил на курс к Олби, посвященный английским классическим философам семнадцатого и восемнадцатого веков. Курс Олби был сухим, но поучительным, и я полагаю, что в моем литературном стиле все еще присутствует элемент, приобретенный мною благодаря быстрому прочтению огромного количества материалов семнадцатого века.

Я попытался посещать математический курс Хатчинсона по теории функций комплексной переменной, но я обнаружил, что это мне не по силам. Часть затруднений проистекала из моей собственной незрелости, а другая, как мне кажется, была связана с тем, что этот курс не давал адекватного подхода к логическим трудностям предмета. Лишь позже в Кембридже, когда Харди с присущей ему дерзостью разбирал эти трудности вместо того, чтобы оставлять их на рассмотрение студентам (отношение типа: «Продолжайте, и вера придет к вам»), я стал чувствовать себя уверенно в теории функций.

С курсом Платона я справлялся не так уж плохо, поскольку это было своего рода продолжением отцовской системы обучения под руководством

другого наставника. На курсах по метафизике и этике я страдал от новой и туманной юношеской религиозности (что продолжалось недолго), и потребовалась четкая логика, чтобы предохранить меня от сентиментальности.

По философам семнадцатого и восемнадцатого веков я должен был представить Олби несколько эссе. Меня сильно ограничивали мой детский стиль и неумение управляться с ручкой. Мои эссе были очень сжаты, и мой язык был настолько далек от норм английского, что меня не раз спрашивали, не является ли немецкий моим родным языком.

В Корнеллском университете были свои периодические издания, и одной из обязанностей студентов отделения Сейдж была подготовка рефератов к статьям из других философских журналов, для опубликования их в специально отведенном для этой цели разделе. Используемые статьи были опубликованы на английском, французском и немецком языках; и необходимость их перевода давала возможность нам познакомиться с философскими терминами на этих языках и с современными идеями во всем мире. Я не могу поручиться за качество наших переводов, но научная ценность этой работы для нас самих была огромной.

В этот тяжелый год моей жизни были и светлые моменты. Хотя я и не мог завязать истинно дружеские отношения с моими сокурсниками, участие в пикниках на заливе, а также катание на санях по первому зимнему снегу доставляли большое удовольствие. В пансионате, где я жил, были двое аспирантов, с кем я хорошо проводил время в жарких дискуссиях, а они обычно по-детски подшучивали надо мной и друг над другом. Местность, на которой раскинулся университетский городок, была великолепна, и позже, когда пришла весна, цветущая айва, растущая повсюду, представляла собой такое великолепие, какого я прежде не видел ни в колледже Тафтс, ни где бы то ни было еще. На озере Кайюга проводились гонки на парусных шлюпках, а также совершались долгие прогулки к водопадам, где мы плавали и подныривали под стремительно падающие массы воды.

До сегодняшнего дня я сохранил дружеские отношения с некоторыми из моих сокурсников. Кристиан Ракмич, худощавый, напоминающий Линкольна, был моим напарником в долгих прогулках и в работе в психологической лаборатории. В течение последних нескольких лет до меня доходили вести от него из Абиссинии. Его пригласили туда, чтобы принять участие в реформировании системы образования страны, а его сын занимается авиацией.

Был среди них болгарин, Занов, с которым я виделся в последние два года в институте Райс, он все еще преподает философию. С приятными

супругами Шауб я часто обедал. Шауб преподавал курс по сравнительному анализу религий, и его рассуждения о Ветхом Завете очень хорошо вписывались в круг моих философских интересов, которые зародились во мне под влиянием моего отца, профессора Уэйда из Тафтса и в результате моих занятий в библиотеке.

По мере того как год близился к концу стало ясно, что я не заработал возобновления стипендии, благодаря которой я учился в Итаке, и, если бы она мне была предоставлена вновь, то это было бы особой милостью. Я был подавлен не только тем, что особенно успешно учился на курсах, но также ощущением вины, присущей подростку, которое сопровождает внутреннее сексуальное развитие практически каждого юноши. Мое ощущение вины привело к тому, что я стал избегать семью Тилли, и этот разрыв закончился ссорой моего отца с профессором. Заставить отца поверить в то, что кто-то из его семьи может быть в чем-то виноват, почти невозможно. Я больше не чувствовал себя способным противостоять губительному потоку брани, который должен был неизбежно обрушиться на мою голову в результате обсуждения сложившейся ситуации.

До окончания учебного года я получил новости из дома. У меня появился еще один брат, больной ребенок, который смог прожить немногим больше года. Получив плохие новости из Корнелла, отец забрал меня с отделения Сэйдж и заставил перевестись на отделение философии в аспирантуру Гарвардского университета. Я знаю, что из-за ответственности за семью отцу трудно было предоставить мне шанс для поддержки моей уверенности в себе, но тем не менее, мне как молодому человеку хотелось получить возможность исправить ошибку там, где я ее совершил. Из-за того, что отец настоял на моем переводе, моя неуверенность в себе стала еще больше, чем была. Мои ошибки выстроились в грозную череду погубленных лет, которые я не имел возможности ничем восполнить. Наряду с этим у меня так и не было возможности приобрести навыки независимого существования, и будущее представлялось мне мутным и наводящим уныние омутом.

После возвращения домой у меня было время обдумать ситуацию с нравственной стороны. Процесс достижения независимости во время пребывания в Корнелле сильно тормозился переживаемой сумятицей чувств обиды, отчаяния и отрицания, которые сразу же возникли у меня, когда в начале года я обнаружил, что я еврей.

Некоторые из моих друзей просили меня поконкретнее выразить те чувства, которые я переживал, а также то, что необходимо было сделать,

чтобы я вполне обоснованно смог испытывать внутренний покой. Так вдруг обнаружить, что ты еврей, — а перед тем мои наставники навязывали мне враждебное или пренебрежительное отношение к евреям, — все это морально пережить было просто невозможно. Это могло привести меня к беспредельному еврейскому антисемитизму, или, напротив, заставить искать утешения на лоне Авраамове¹.

В действительности ни то, ни другое было для меня невозможно. Отец преподавал мне слишком строгий урок по целостности ума и нравственности, чтобы у меня возникло желание принять одну справедливость для себя лично и для своих близких родственников и другую — для всех остальных. Я достаточно слышал резких замечаний, касательно семей университетских преподавателей, имеющих еврейское происхождение, которые пытались не присоединяться к иудаизму, чтобы понять, что в моем окружении были такие люди, которые судили о семье Винер, используя один критерий, а весь остальной мир, опираясь на другой. Совершенно очевидно, что даже если я сам или кто-то из моей семьи пожелали бы отрицать мое еврейское происхождение, такое отрицание не будет принято всеми за порогом нашего дома.

Короче говоря, у меня не было ни возможности, ни желания жить во лжи. Любое проявление антисемитизма во мне есть лишь проявление ненависти к самому себе, и не более того. Человек, ненавидящий самого себя, имеет врага, от которого он никогда не сможет избавиться. И если это так, то это путь к разочарованию, крушению иллюзий и, в конце концов, к сумасшествию.

В равной мере для меня было невозможным кинуться в объятия иудаизма. Я никогда не имел к нему никакого отношения, и в течение всего моего прежнего образования я видел лишь внешнюю сторону еврейской общины, и имел весьма смутные представления о их традициях и обычаях, о правах и обязательствах. Разрыв с ортодоксальным иудаизмом начался еще во времена моего дедушки; охваченный желанием германизировать восточных евреев и заместить идиш верхним немецким языком, он отправил моего отца в лютеранскую школу. Так что, с моей стороны, возвращение в иудаизм не было бы истинным возвращением, это было бы обращением в новую веру и к новым убеждениям. Хорошо это или плохо, но никогда во мне обращения подобного рода не находили благожелательного отклика, равно как и в моем отце. В отрицании собственных суждений относительно массового

¹ Библ. ссылка. Авраам — прародитель еврейского народа. — *Прим. пер.*

принятия какой-либо веры, религии, науки или политики есть нечто противоречивое. Ученому необходимо сохранять за собой право менять свое мнение в любой момент, когда появляются новые факты, а я родился и был воспитан для того, чтобы стать ученым.

Это мое воспитание проникло глубоко в мою сущность. У меня никогда не возникало влечения к стадности ни в мышлении, ни в чувствах, несмотря на все мое глубокое уважение к человеку как к человеку, будь он ученым или нет. Для меня невозможно было с нравственной точки затеряться среди великого множества в качестве беглеца от иудаизма; а также невозможно было спрятаться и утешиться строго в рамках еврейского общества. Я не смог поверить в то, что жители Новой Англии, ведущие свой род с незапамятных времен, являются избранным народом: как и незыблемость еврейской традиции не смогла меня убедить в том, что израильтяне — избранный народ. Единственное, что я знал об отношении моего отца к иудаизму, это то, что он скорее был сторонником политики насильственной ассимиляции, чем сионистом, и что он много спорил по поводу данных вопросов с Зангвиллем и подобными ему. Это была та позиция, которую я одобрял, и не только потому что он был моим отцом, но и потому, что я думал, что его подход к проблеме был верным.

Итак, я пережил сильное потрясение, узнав, что я еврей, но я не видел для себя выхода ни в антисемитизме, ни в ультраиудаизме. Так что же мне было делать?

Я не могу сказать точно, когда я нашел решение для своих проблем, поскольку оно зрело во мне постепенно, и не было окончательно сформулировано до того, как я женился. И все же одна вещь прояснилась для меня довольно рано: предубеждение против евреев было не единственным в мире, оно существовало наряду со многими другими формами, внутри которых группа тех, кто имел власть, искала пути сознательно или бессознательно приберегать все хорошее, что есть в мире, для себя, и отталкивать других, кто проникся таким же желанием иметь это. Я прочел достаточное количество работ Киплинга, чтобы ознакомиться с позицией английских империалистов, и у меня достаточно много индусских друзей, чтобы понять, какую горькую обиду вызывает подобное отношение. Мои китайские друзья очень откровенно говорили со мной относительно стремления западных наций ущемить права исконных жителей Китая, и мне надо было лишь слушать и держать глаза открытыми, чтобы знать о положении негров в США, особенно, если кто-то из них вознамерился стать чем-то больше, чем просто батраком на ферме или чернорабочим. Я был хорошо проинформирован

рован относительно взаимной обиды между старыми жителями Бостона и зарождающейся группой ирландцев, которая требовала свою долю власти в обществе и имела весьма либеральный взгляд на то, какой должна быть эта доля, когда речь заходила о других иммигрантах и группах национальных меньшинств.

Результат был таков, что я мог ощущать внутренний покой, если я был против предубеждения против евреев при условии, что я не принимал во внимание, что это предубеждение направлено против национальной группы, к которой я сам принадлежу. У меня не было желания иметь какую-то особую привилегию для себя самого или для тех, кто мне близок. Просто выступая против предубеждения против восточных национальностей, против католиков, иммигрантов, негров, я чувствовал, что имею полное право выступать и против предубеждения, касавшегося евреев. В течение долгого времени я интересовался моими сокурсниками из восточных стран и других иностранных государств и сумел увидеть их проблемы как параллельные моим собственным, и во многих случаях они были и глубже, и сложнее.

Более того, когда я услышал о предполагаемом происхождении нашей семьи от Маймонида, то я не просто осознал свои корни как еврейские, а гораздо глубже, в том смысле, что Восток был частью традиции нашей собственной семьи. Какое право имел я, человек, чей достойный предок жил в мусульманском обществе, полностью идентифицировать себя с Западом, отмечая свою причастность к Востоку? Таким образом, я подошел к изучению и наблюдению параллелизма между научным развитием евреев, особенно в тот интересный переходный период, который начался с Мозеса Мендельсона, и который привел к интеграции еврейского и европейского образования в целом, и похожими явлениями, которые я наблюдал лично среди не-европейцев, занимающихся науками. Все это ярче предстало перед моими глазами позже, когда я провел какое-то время, помогая профессору Хаттори, японскому профессору, работавшему в Гарварде, в его повседневной рутинной работе над курсом о китайских философах.

Вот, пожалуй, и все о моих личных переживаниях по поводу открытия моего еврейского происхождения. Может, мне следует добавить несколько фактов, касающихся антисемитского предубеждения и его истории в той среде, в которой я жил с детства. Из истории еврейских семей, приехавших в Соединенные Штаты в начале прошлого столетия, совершенно очевиден тот факт, что антисемитское предубеждение не являлось значительным фактором в их жизни. Кстати сказать, протестанты, занимавшие доминирующее положение в Соединенных Штатах, ничего не имели против

того, чтобы признать, что в своих писаниях они многое позаимствовали из Ветхого Завета, и против того, чтобы полагать и видеть в еврейских иммигрантах отражение собственных традиций. Мне сказали, что движение «Ничего не знаю» не было в целом антисемитским, и более того, некоторые из зачинщиков этого неприятного эпизода в нашей истории были евреями. Как бы то ни было, начало двадцатого столетия увидело ослабление нашего национального сопротивления антисемитизму, также как оно засвидетельствовало ослабление традиционного дружелюбия к неграм со стороны жителей Новой Англии и ослабление многих других более объемлющих позиций, присущих более ранней истории. Век Позолоченный подходил к концу, уступая место своему наследнику, Веку Упадка.

XII

ПРОБЛЕМЫ И СМЯТЕНИЕ

Лето, 1911

То лето мы провели в фермерском доме недалеко от Бриджуотера, штат Нью-Гемпшир. Недалеко от нас находилась одна единственная гора, и она была слишком неприступной и безо всяких троп, так что отец не позволял мне на нее взбираться. Я прогуливался по дорогам местности в поисках летнего лагеря, где я мог заработать немного денег, работая преподавателем, а также найти маленькую компанию, но мои услуги не требовались. Я собирал сено на поле, и слег с сильной аллергией от сенной пыли. Я читал старые номера журналов «Харперс» и «Скрибнерс» («Harper's», «Scribner's»), а также «Век» («Century»), и с нетерпением ожидал начала семестра, чтобы избавиться от скуки, навешиваемой семьей, жившей в тесноте и замкнувшейся на самой себе.

Революционные теории моего отца относительно образования находили подтверждение, как ему казалось, в успехе, которого я, несмотря на все мои недостатки, добился в научной работе. Вскоре стало ясно, что мои сестры, хотя и очень умные девочки по обычным меркам, оказались невосприимчивыми к системе обучения отца, через которое прошел я. Да отец и не ожидал так много от них. Это было отнесено на тот счет, что они были девочками, а потому неспособными выдержать ту строгую дисциплину, которой требовали от меня.

В нашей семье судьбы ее членов были определены заранее. Ожидали, что моя сестра Констанс должна выразить себя в сфере искусства, так что полем ее деятельности мои родители определили музыку, рисование и литературу. Чтобы избежать всяких осложнений, остальные дети должны были воздерживаться от занятий этими предметами.

Таким образом, Констанс и точно так же, хотя несколько позже, Берта были исключены из сферы науки, в которую я был посвящен. Временами я испытывал некоторую зависть относительно их более легкой участи, и были дни, когда мне казалось, что родиться девочкой — это особая привилегия,

поскольку отпадала необходимость усердно работать в области науки, а также исчезала неизбежность быть одиноким в этом мире, который мне казался враждебным.

В случае с моим братом Фрицем дела обстояли совсем иначе, чем с сестрами. К тому времени, как я стал аспирантом Гарварда, он достиг возраста, когда его образование стало серьезно сказываться на жизни всех нас. Он был обречен моими родителями на то, чтобы, как и я, стать ученым. В случае с ним не возникал вопрос о том, чтобы предъявлять более слабые требования, поскольку он не принадлежал к слабому полу, и образовательные теории моего отца должны были предстать во всей своей значимости. Мой отец повторял снова и снова, что мой успех, если у меня на самом деле был какой-то подлинный успех, был вовсе не результатом моих особых способностей, а результатом его системы обучения. Это свое мнение он выразил в печати в нескольких статьях и интервью¹.

Он заявлял, что я был мальчиком, имеющим абсолютно средние способности, и что я достиг такого высокого уровня исключительно благодаря его системе обучения. Когда эти слова были напечатаны, они подействовали на меня опустошающе. Публике было заявлено, что все мои неудачи были моими и только моими, а мои успехи были заслугой отца.

Теперь, когда мой брат достиг школьного возраста, появился второй Винер — кандидат на славу и отличия и подтверждение суждений моего отца. Неизбежным было то, что мой отец должен был проделать со своим младшим сыном то же, что он уже завершил со мной. Стало почти неизбежным то, что я был поставлен перед фактом ожидания успеха Фрица, который должен был показать мое истинное скромное место и возвысить авторитет моего отца.

Я никогда не был согласен с оценкой отца моих способностей как средних, и я всегда ощущал, что он так оценивал меня с целью обуздать мое самомнение, чтобы я в семье не выделялся. Было несправедливым ожидать априори, что Фриц сможет сделать то, что смог сделать я. Более того, отец не принимал во внимание тот факт, что, несмотря на то, что я был нервным и трудным ребенком, я был очень жизнеспособен и мог перенести без

¹В статье, озаглавленной «Новые идеи относительно обучения ребенка» Г. Аддингтона Брюса, опубликованной в «Американском Журнале» в июле 1911 года, дословно приводилось высказывание моего отца:

«Я убежден, что именно система обучения позволила им достичь этих результатов. Глупо утверждать, как это делают некоторые, что Норберт, Констанс и Берта являются необычайно одаренными детьми. Они таковыми не являются. И если они знают больше, чем другие дети их возраста, это потому что их обучали по-другому.» — *Прим. автора.*

особого ущерба для себя наказание, намного более сильное, чем то, какое способен пережить обычный средний ребенок. Таким образом, когда оказалось, что мой брат — достаточно хрупкое дитя, наделенное тем, что, по моему мнению, является хорошими средними способностями, но не имеющее каких-либо исключительных задатков, возникло большое беспокойство.

Ссоры в связи с образованием Фрица продолжались почти двадцать лет. Я воспринимал как несправедливость попытку родителей одинаково подойти ко мне и к Фрицу без учета наших индивидуальных способностей. Мне также очень не нравилась роль учителя младшего брата и его сиделки, навязанная мне в шестнадцать лет, когда я должен был отводить его в начальную школу каждое утро прежде, чем начать свой рабочий день. Ожидалось, что я буду относиться к нему как друг, что так редко случается между неуклюжим подростком и ребенком, моложе его на одиннадцать лет. Такая разница в возрасте была критической. Когда мне было шестнадцать, ему было пять; когда мне исполнилось двадцать пять, ему было всего четырнадцать.

Ожидания моих родителей по поводу моих отношений с Фрицем имели под собой основание, поскольку мир постоянно менялся в тот период перед первой мировой войной, когда я выросел. Когда я и моя старшая сестра были детьми, даже относительная бедность нашей семьи не мешала моей матери держать, по крайней мере, двух служанок, одна из которых была кухаркой, а вторая, как правило, прекрасной няней. Изменения в начале столетия привели к тому, что поток служанок из иммигрантов начал иссякать, и зарплата прислуги сильно выросла. Даже улучшение благосостояния в стране не позволяло приспособиться наилучшим образом к новым условиям и воссоздать вымирающий класс прислуги. Таким образом, забота о маленьких детях в семьях стала возлагаться на более старших.

Теперь, глядя на эту проблему глазами родителей, я не могу укорять их за то, что они возложили на меня обязанность присматривать за детьми, которую они сами выполняли весьма охотно, присматривая за своими старшими, и все же условия, при которых я должен был выполнять свои обязанности, были несправедливыми. У меня не было никаких полномочий, когда я занимался с Фрицем, и когда он был непослушным, и я позволял себе принять соответствующие меры, чтобы заставить его вести себя хорошо, какими бы мягкими эти меры ни были, он жаловался родителям. И что бы я ни сделал, все это казалось им непозволительным. Более того, я испытывал замешательство, поскольку сам был социально неадаптированным подростком, слишком много работавшим согласно любым стандартным

нормам на протяжении многих лет, и которому необходимо было какое-то свободное время для того, чтобы учиться манерам общения и поведения в обществе.

Я не удивлюсь, если мои друзья, будь то девочки или мальчики, мужчины или женщины, оценивались моими родителями по их способности принять или не принять Фрица, остальное, кажется, было для них не столь важным. И это тоже было несправедливо по отношению ко мне. По-моему, это уж чересчур, ожидать от молодых людей, чтобы они приняли в качестве друга подростка, за которым по пятам таскается его младший брат, особенно, когда этот подросток не имеет никакой власти над своим братом, а последний хорошо сознает это. Таким образом, может, я действительно вел себя непростительно, но по крайней мере, я могу объяснить, почему я так часто был груб, а может, порою и жесток по отношению к своему брату. Для тех, у кого нет никакого оружия, остаются только ирония и сарказм; вот ими-то я и пользовался. Сложная ситуация становилось все сложнее.

В какой-то степени, также, я обязан был заниматься образованием Фрица, в чем опять же мне не было дано никакой власти. У Фрица очень быстро вырос запас научных слов, однако он понимал далеко не все из них. Чтобы не отставать от семьи, он пытался сохранять свои позиции тем, что задавал мудреные вопросы, ответы на которые он плохо понимал, и которые в сущности ему были не интересны. Мне было велено подробно отвечать на эти вопросы, даже если ему это было не интересно, и в мыслях он был где-то очень далеко. Когда вся семья отправлялась в театр, предполагалось, что я должен был обсуждать с братом то, что возбуждало в нем желание проявить свой интеллект, и я сам был лишен приятной возможности поразмышлять над тем, что было интересно мне, и о чем я мог бы поговорить со своими по-настоящему умными сверстниками.

Говоря обо всем этом, я далеко вышел за рамки собственной истории, которая и есть предмет этой главы, я продолжаю тему незаживающей раны, постоянно напоминавшей о себе в нашей семейной жизни. В течение значительного времени в этот период я жил дома, внося свой посильный вклад в семейный фонд. Можно было бы спросить, отчего я не уехал из семьи и не поселился где-нибудь в меблированных комнатах, скажем, в Кембридже. Много раз я был на грани того, чтобы сделать это, и много раз родители указывали мне на то, что, если я буду продолжать вести себя таким образом, то мне неизбежно придется это сделать. И тем не менее, по крайней мере, мать дала мне четко понять, что такое отделение будет вечно между мной и

семьей как признак моей абсолютной несостоятельности и будет означать полный и окончательный крах семейных отношений.

В течение раннего периода моей жизни дома мне дали понять, что я полностью зависю от щедрости семьи, и те суммы, которые я получал в качестве стипендии, составляли лишь незначительную долю того, что давала семья. Позже, когда я стал способен зарабатывать себе на жизнь, у меня по-прежнему не было друзей вне моей семьи. Таким образом, хотя и отделение от семьи было желательным, изгнание из семьи было изгнанием в темное никуда.

Из моего дальнейшего повествования читатель узнает, что летнее время для меня всегда сопровождалось долгими экскурсиями в горах на протяжении многих лет до моей женитьбы. Позднее эти экскурсии в некоторой степени были заменены поездками по Европе, зачастую я отправлялся туда вместе со своими сестрами. Это несколько снимало напряжение в жизни семьи, в частности, в том, что касалось навязанного мне опекуновства над моим братом, а также эти путешествия были очень важны для моего благополучия. Тем не менее, мои родители делали все для того, чтобы заставить меня взять с собой Фрица в эти походы по горам. Это было несправедливо, и это было то требование, которое я не мог выполнить.

Кстати сказать, я еще раньше начал испытывать беспокойство по поводу патриархального уклада семьи. Однажды, когда я был еще совсем юным, отец планировал вместе со мной сделать своеобразный музей фауны и флоры местности, где находилась Оулд Милл Фарм, и предложил посвятить большую часть нашего свободного времени подготовке этой коллекции. В другой раз он выразил намерение, заключавшееся в том, что, когда Констанс и я станем взрослыми, он посвятит оставшуюся часть своей жизни школе, которую он создаст в соответствии со своими принципами, а моя сестра и я будем в ней преподавать. Много раз он говорил о том, что хотел бы вернуться к романтическим приключениям своей молодости и пересечь континент на крытой повозке вместе с нами. Все эти проекты были достойны восхищения, поскольку свидетельствовали о молодости его души, и через них в доме, где не было строгого родительского надзора, выразилась бы родительская любовь в самой восхитительной из форм, а также приверженность интересам семьи. Однако в жизни все было наоборот.

Каждое лето мы были заняты выращиванием сада, мне поручалась прополка сорняков, прореживание спаржи, сбор персиков и прочее в том же духе. Это были простые задания, и, если бы они не представляли собою продолжение моего порабощения, просто вынесенного на лоно природы, то

были бы намного приятнее. Я был неуклюж, непродуктивен и ленив; и час за часом мне приходилось выслушивать все эти монотонно повторяющиеся замечания о моих недостатках, когда я работал в поле вместе с отцом. По замечанию моего отца я совершенно был непригоден в качестве помощника по ферме, и у меня, естественно, выработалось отвращение к работе в поле. Я до сих пор испытываю это отвращение, и оно станет препятствием для меня, когда мои силы пойдут на убыль, в выполнении легкой работой в саду в качестве подходящей активной деятельности для тела. Как бы то ни было, поскольку в течение всей зимы отец диктовал мне, как я должен жить, полагая это своим долгом наставника, совершенно невыносимым было то, что и лето становилось продолжением зимнего режима, в то время как мне совершенно было необходимо это время для того, чтобы восстановить свои силы и приобрести новые знакомства.

Позднее, после Первой мировой войны отец продал дом на улице Спаркс, посчитав его слишком большим для семьи, которая не нуждалась более в увеличении жилья, и вложил эти деньги не только в более маленький и более старый дом на улице Бакингом, но и в яблоневый сад в городе Гротон, штат Массачусетс. Он надеялся, что вся семья примет участие в работе в этом саду, по крайней мере, в сезон сбора яблок, и что это будет прекрасное место для летнего отдыха для сыновей и дочерей с их супругами и ожидаемыми внуками. Этот план с самого начала был обречен на провал. Молодые люди, которым едва перевалило за двадцать, должны считаться с необходимостью создания своего круга знакомых, и они не могут в течение долгого времени пренебрегать возможностью поиска своих будущих супругов.

XIII

ФИЛОСОФ ВОПРЕКИ САМОМУ СЕБЕ

Гарвард, 1911–1913

Я вернулся в Гарвард в качестве кандидата на получение докторской степени по философии в сентябре 1911 года, когда мне было почти семнадцать лет. Период между 1911 годом и завершением мною докторантуры был периодом, когда в Гарварде на отделении философии работали выдающиеся ученые, и хотя Уильяма Джеймса уже не было среди живущих, Ройс, Палмер, Мюнстерберг и Сантаяна все еще были живы и по-прежнему активны.

В первый год моего обучения я поступил на курс Сантаяны. Я мало что помню о содержании курса, зато хорошо помню его атмосферу. Ощущение непрерывной связи со старой культурой и ощущение того, что философия является неотъемлемой частью жизни, искусства и духа приносили мне огромное удовлетворение; и все же, теперь, когда прошло столько лет, я не могу указать на какую-либо определенную идею, с которой я познакомился на этом курсе.

Когда я оглядываюсь назад, я сознаю, что курсы Палмера также мало что мне дали. Это были лекционные курсы, и насколько я помню, на них рассматривалась традиционная философия английской школы. То, что я помню о Палмере, так это его сдержанность и мягкий характер, слегка склонившийся вперед под грузом прожитых лет, он все еще горел желанием вдохновлять молодых студентов на создание новых идей и на преодоление их природной застенчивости.

Ральф Бартон Перри был главным из тех, кто с радостью принял меня в студенты по просьбе моего отца. Он и Хольт, психолог, наряду с пятью или шестью другими учеными являлись авторами популярного в то время манифеста, известного как «новый реализм». Он содержал в себе смесь из отголосков прагматизма Джеймса и неких идей, аналогичных тем, что были высказаны в работе англичан Бертрана Рассела и Г. Э. Мура, и представлял собою протест против идеализма, который провозглашал, что реальность

существует лишь в сознании и определяется его активностью. Само по себе это вполне вероятно, и все же, я помню, что основное впечатление, которое он произвел на меня, это невыносимая претенциозность и безосновательность. Один из авторов дошел до того, что попытался обосновать свои идеи, используя математическую логику, и в его обосновании практически каждое слово обнаруживало неправильное понимание терминов. С литературной точки зрения сочинение было написано в глупо-самодовольном стиле. Тем не менее, я помню Хольта как умного и очаровательного человека, как опытного полемиста в рамках его семинара, а Перри был одним из великих и достойных представителей американского либерализма.

Я дважды и совершенно по-разному столкнулся с Джосая Ройсом. В первый раз это было на его курсе по математической логике. Хотя я не считаю, что его вклад в математическую логику велик, тем не менее, именно он познакомил меня с этим предметом. Ройс был многосторонней личностью. Он появился в научном мире в критический период, когда стали высыхать старые источники философской мысли, и в жизнь стали прорываться новые научные идеи. Математическая логика в том, как он ее преподносил, указывала на несомненно умного человека, слишком поздно пришедшего в новую область, чтобы овладеть ею в совершенстве.

На семинарах Ройса по научному методу, который я посещал в течение двух лет и который дал мне все самое ценное, что я когда-либо получал в процессе обучения, так же было заметно его раздвоение между прошлым и будущим. Ройс с удовольствием включал в эту маленькую группу любого думающего студента, выполнявшего обоснованную рабочую программу и умевшего хорошо выражать свои мысли относительно методов, посредством которых он пришел к этим своим идеям и относительно их философской значимости.

Если сказать, что группа была неоднородной, это все равно, что не сказать ничего. Среди нас был гавайский эксперт по вулканам. Он запомнился мне только благодаря двум словам *rahoehoe* и *aa*, которые, как я понял, были обозначениями двух типов лавы. Также среди нас был Фредерик Адамс Вудс, автор книги «Наследственность в королевской семье» («*Heredity in Royalty*»), занимавшийся евгеникой, имевший снобистский склад ума и придерживающийся мнения о том, что генетика имеет очень важное значение. Перси Бриджмен, уже тогда скептически настроенный по отношению к элементам, из которых состоят эксперимент и наблюдение, и понимавший влияние прагматизма Джеймса на физику, определенно склонялся к операционализму, позднее принятому им. Первый руководитель бостонской

психопатологической больницы, Саутард, высказывал интересные вещи по поводу проблем, связанных с методом в психиатрии. Среди нас был также профессор Лоуренс Дж. Хендерсон, физиолог, объединивший в единое целое поистине великолепные идеи относительно пригодности окружающей среды и то, что, по моему мнению, было абсолютно невозможно поместить в какую бы то ни было философскую структуру, и чья помпезность несколько не была менее заметной из-за его кредо, приведшего его к тому, что он в системе мироустройства на полпути между истинным ученым, подобным ему самому, и Создателем отвел место для великого делового предпринимателя. Случайно я обнаружил, что те, кто недооценивает свою профессию ученого, редко поднимаются до самых ее вершин.

Я полагаю, что именно на этом семинаре я впервые встретился с Ф. К. Рэттрейем, англичанином, который позже стал служителем унитарной церкви и занял место на кафедре проповедников в одной из церквей в английском Кембридже. В то время именно Рэттрей в большей степени, чем кто-либо из официальных преподавателей, продемонстрировал мне, что такое хороший полемист, и до какого уровня необходимо доводить искусство дискуссии на занятиях. Я никогда ранее не встречал человека, способного так искусно показать всю несостоятельность пустословия, которое всегда сопутствует таким дискуссиям. И все же, я не мог избавиться от ощущения, что его приверженность к Сэмюэлю Батлеру и его жизненная сила, подобная той, какой обладал Бернард Шоу, скорее были проявлением его личных переживаний, искусно защищенных пронизательным умом, чем обычной чувствительностью к точности приводимых доводов. Очень часто Рэттрей и я объединяли наши усилия на семинарах, на которых мы участвовали, и, боюсь, что я стал его очень способным учеником и источником постоянного раздражения для моих наставников.

Я также посещал семинары Мюнстерберга. Он был крайне ошеломляющей личностью. Мы никогда не узнаем, до какой степени его высокомерие было скрытым чувством презрения к Америке, где он преподавал, и результатом сравнения ее с Германией, где ему так и не удалось найти для себя постоянное пристанище. Его сентиментальная личность до удивления напоминала германского Кайзера, и по моему мнению, была не менее выражающей ненадежность и грубую настойчивость, которые были характерны для самых разных слоев общества могущественного и крепкого Рейха. Каким бы ни было его мнение об Америке, которую он принял и которая приняла его, он в совершенстве овладел американским искусством, таящим в себе немалые выгоды, — саморекламой. Его сильный иностранный акцент

и фразеологические обороты, присущие обычно иностранцам, придавали интригующее звучание его напыщенным интервью; и Мюнстерберг стал лакомым кусочком для репортеров.

У профессора Хантингтона я изучал математический аспект философии. Он был старинным другом моего отца и навещал нас, когда мы жили в Олд Милл Фарм в городке Гарвард. Я помню, что в тот период, до моего окончания средней школы, Хантингтон пробовал мои силы в аналитической геометрии, и познакомил меня с теорией девятиточечной окружности.

Хантингтон был великолепным преподавателем и очень добрым человеком. Его упражнения в аксиоматическом методе были просто находкой для обучения. Он брал простую математическую структуру и писал серию аксиом для нее, для которых мы должны были находить не только удовлетворяющие их примеры, но и те, которые не удовлетворяли, для одного какого-то места или для нескольких конкретно определенных мест. Он также воодушевлял нас на создание собственных серий аксиом. Мы с Садисом вместе посещали эти занятия, и именно на них я впервые осознал истинные способности этого мальчика; его ранний крах был подлинной потерей для математики.

Жизненный путь Хантингтона для меня навсегда остался загадкой. При его уме и изобретательности, логично было ожидать, что из-под его пера мог бы выйти достойный внимания труд по математике. Однако все его труды, неважно какое количество идей они содержали, оставались маленькими очерками и статьями. Я припоминаю одну его большую работу, где он попытался дать обоснование планиметрии и стереометрии; с одной стороны, эта работа содержала в себе немногим больше того, что было в более раннем труде Гилберта, а с другой стороны, некоторые из его основных идей уже были представлены в работе Уайтхеда. Полезная и достойная жизнь Хантингтона, на мой взгляд, была поучительна в том смысле, что одним из наиболее серьезных недостатков у тех, кто хочет добиться чего-либо в математике, является отсутствие амбиций; Хантингтон слишком низко оценил свои возможности.

Позвольте мне сказать несколько слов о наших развлечениях в те годы. Во время моего долгого скитания по горам с отцом в 1910 году я познакомился с великолепной работой, выполненной клубом Аппалачи, в прокладке путей в Уайт Маунтинс. Осенью 1912 года я стал членом клуба и провел много времени в тренировках во время клубных субботних прогулок. Нас была целая группа, мы поделились согласно возрасту и полу, но все как один были увлеченными любителями пеших прогулок, у нас

был обычай собираться на одной из бостонских железнодорожных станций, чтобы отправиться в поездку на пригородном поезде или провести день в увлекательной прогулке по сельской местности.

В 1912 году я получил степень магистра гуманитарных наук. Это событие не было какой-либо из стадий моего пути к получению степени доктора философии, но все же было лучше иметь эту степень на случай возникновения каких-либо препятствий в следующем году. Я также сдал, как я уже сказал раньше, предварительные экзамены по целому ряду предметов, и они помогли мне установить более близкие отношения с моими однокурсниками, чем прежде.

Наряду с прочим, это был год «Титаника». История с «Титаником» нанесла удар по нашему чувству безопасности, и этот удар явился вполне соответствующей прелюдией к более сильным потрясениям, ожидавшим нас впереди. Это событие, вероятно, даже в большей степени, чем первая мировая война, пробудило в нас, детях мира, так долго царившего в Европе и Америке, осознание того факта, что мы отнюдь не были любимыми чадами щедрой вселенной.

Кроме книг Дюма и Киплинга, авторов, поистине способных доставить наслаждение подростку, я добавил в свой список книги, особенно полюбившиеся мне. Свифт не особенно любим очень юными, даже те издания его книг, единственно доступные для них, из которых изъяты нежелательные места. Но по мере того, как мальчик взрослеет, он начинает воспринимать горький привкус сатиры как нечто, заслуживающее мужского внимания, и я начал любить Свифта, несмотря на то, что читая его, я временами содрогался. Мне также стал нравиться более мягкий, но все же живой стиль Теккерея, и я простил ему его длинные закрученные отступления, но даже они со временем стали доставлять мне удовольствие. Но больше, чем что-либо из сатиры, я полюбил душераздирающую поэзию Гейне, в которой не было ничего лишнего, что помешало бы в полной мере ощутить его любовь и его гнев. Я знаю наизусть, как знал мой отец, почти каждое слово из его «*Hebraische Melodien*»¹, и нет другой такой поэзии, которая могла бы заставить меня как еврея ощутить большую гордость или большее страдание.

Эти книги я читал снова и снова, лежа на животе в своей кровати, впитывая в себя всю прелесть фраз, которые я перечитывал по многу раз. Я не особенно любил читать новые вещи; но то, что я прочел и полюбил,

¹Книга песен (*нем.*)

осталось навсегда в моей памяти, стало частью меня и никогда мною не забудется.

Точно так же я вновь учил латинский и греческий. Выразительная поэзия Горация не есть нечто, затерявшееся на страницах моих учебников: она запечатлена навечно в моей памяти. Мне никогда не забыть великолепия и размаха Гомера. В техническом смысле меня, пожалуй, нельзя отнести к приверженцам классического образования, но оно пустило во мне сильные корни.

В это самое время моя сестра получила экземпляр книги Раскина «Современные художники». Я прочел ее с жадностью, и мне очень понравились достаточно академические рисунки Раскина и его великолепный поэтический язык. Хотя его попытки проникновения в то, что можно назвать квази-наукой, на мой взгляд, были догматичны и неправильны, я не мог не отдать должное его изумительному таланту наблюдателя. Эта книга послужила толчком к тому, что я начал ценить живопись, скульптуру и архитектуру, но мой более поздний опыт показал, что хотя в этой книге все виды искусств поданы великолепно, в предубеждениях Раскина присутствует определенная преднамеренность, и его исследования необходимо дополнять непосредственным знакомством с великими произведениями искусства и более либеральным отношением к искусству неевропейских стран.

Летом 1912 года мы вернулись в городок Сэндвич и в нашу любимую маленькую долину у подножия горы Флэт и Сэндвич Доум. Дом, который мы снимали, был известен как Тэппен Плейс. По соседству с нами проживала беспечная семья кембриджского банкира, возраст членов которой варьировался от десяти до двадцати с лишним лет. Все же было одно но: в этой семье были только дочери. Они очень любили пешие прогулки, и поскольку во мне вновь возродился интерес к лазанию по скалам, мы вместе не раз устраивали увеселительные прогулки вверх и вниз по Сэндвич Доум и Уайтфейс. Девочки казались мне привлекательными, но особенно мне нравилась одна из них, которая была примерно моего возраста. Хотя мне кажется, что я так и не признался ей в том, что она мне нравилась, вероятно, до сих пор позади нашего дома стоят несколько буковых деревьев, на стволах которых сохранились отметины, сделанные мною складным карманным ножом.

Я продолжал бродить с отцом по лесам, но уже было видно, что по мере того как увеличивались мои силы, его шли на убыль. Такие удовольствия, как тяжелый заплечный мешок и ночной сон на ложе из пихтовых ветвей, были уже не для него.

Я решил, что в следующем учебном году я буду работать для получения докторской степени под руководством Ройса в области математической логики. Однако Ройс заболел, и профессор из колледжа Тафтс Карл Шмидт выразил согласие занять его место. Шмидт, с которым я познакомился позже, был нашим летним соседом в Нью-Гемпшире. Тогда он был молодым человеком, в большей мере глубоко интересующимся математической логикой, чем религиозной философией, ставшей позднее сферой его изучения, когда он занимал должность в колледже Карлтон. Шмидт предложил мне в качестве возможной темы исследования сравнение алгебры относительных величин Шредера и Уайтхеда и Рассела. По этой теме надо было сделать огромную формальную работу, которая мне показалась легкой; хотя позже, когда я начал заниматься под руководством Бертрانا Расселла в Англии, я узнал, что пропустил почти все то, что имело истинно философскую значимость. Тем не менее, мой материал представлял собою приемлемую научную работу и в итоге привел меня к докторской степени.

Шмидт был терпеливым и понимающим преподавателем, подобно Хантингтону, способным активизировать умственную деятельность студента посредством несложных приемов. Если бы у меня в тот год не было такого мягкого руководителя, я не думаю, что смог бы успешно закончить его, поскольку кроме моей диссертации меня поджидали две шеренги драконов.

Первыми не столь ужасными огнедышащими дракончиками были мои экзамены по предметам, которые надо было сдавать письменно. За ними угрожающе подступали более свирепые драконы — мои устные экзамены. Письменные экзамены по предметам я сдал, получив множество ранений, но не склонив головы. Один случай в связи с ними не делает мне чести. Все мы, кто сдавал экзамены, очень хотели узнать свои оценки, и мы нашли уступчивого вахтера, у которого был доступ в комнату профессоров и к бумагам, в которые были вписаны наши оценки. К сожалению, должен признать, что я уговорил его сказать мне, какими были эти оценки, и я посвятил одного из кандидатов в этот секрет. Это было просто неправильно понятое любопытство и неправильно истолкованная добрая воля, и не было при этом никакой взятки, однако впоследствии меня обвинили в даче такой взятки.

Я боялся устных экзаменов намного больше, чем письменных. Чтобы сдавать их, мне приходилось навещать профессоров в их домах. В каждом случае профессор был добр и любезен, и в каждом случае, сдавая экзамен, я был словно в каком-то трансе, едва понимая, что мне говорили. Когда я сдавал греческую философию профессору Вудсу, я вдруг обнаружил, что

забыл все греческие слова, которые когда-либо знал, и я едва мог перевести простейший отрывок из «Республики» Платона.

Я очень признателен отцу за то, что он помог мне пройти сквозь тяжелое испытание устными экзаменами. Каждое утро он отправлялся со мной на прогулку, чтобы поддержать меня физически и подбодрить морально. Вместе мы гуляли по многим местам в Кембридже, и во многих из них я побывал тогда впервые. Он, бывало, задавал мне вопросы по теме какого-либо из экзаменов, чтобы убедиться, что я знаю, как отвечать на них.

Тем не менее, как я сам это оцениваю, я должен был завалить все эти экзамены; но похоже, что профессора, принимающие экзамены на докторскую степень, более гуманны и сострадательны к студенту, чем сам студент по отношению к себе, и соблюдают относительно его презумпцию невиновности. Ужас, испытываемый студентом, знаком профессорам, принимающим экзамены, и он та часть обычной атмосферы любого экзамена, автоматически принимаемая профессорами во внимание, таким образом, ни один из экзаменов на докторскую степень не учитывается в том виде, в каком он имел место быть, а всегда интерпретируется в свете тех фактов относительно способностей студента, которые известны профессору.

Я сам часто принимал экзамены, работая в Массачусетском технологическом институте. Я знал уже, что этот ужас — веская причина для проявления сочувствия, что он вполне простителен и вообще нормален; и хотя попытка напрячься и симпровизировать, чтобы преодолеть затруднение, стоя перед профессором, похвальна, обман оправдать нельзя. Бояться должен не застенчивый студент, а бойкий на язык, но мало понимающий.

После сдачи устных экзаменов по ряду предметов, я перешел к последней части тяжелых испытаний, которые мне нужно было преодолеть, состоявшей из экзамена по моей докторской диссертации; его я должен был сдавать целой группе гарвардских преподавателей философии. Теоретически этот экзамен был самой критической стадией испытаний кандидата на докторскую степень. Но на самом деле, ни одно нормально функционирующее отделение не позволит студенту дойти до этой черты, если нет абсолютной уверенности, что он сможет преодолеть эту последнюю ступень. Более того, у кандидата появляется хорошая возможность говорить о предмете, о котором он теоретически лучше проинформирован, чем кто-либо из экзаменующих его, так что для честного человека нет оснований испытывать ужас, единственное, чего он может бояться, так это того, что он онемееет или смутится; а именно это, как я уже сказал, профессора охотно прощают. В действительности устный экзамен на докторскую степень в

большей степени является тестом на способность студента выступать перед аудиторией, нежели чем-то еще, и он оказывает значительное влияние на отбор студентов, собирающихся работать в университетах. Я полагаю, что здесь я не особенно хорошо справился.

В период между экзаменом и последней датой, официально назначенной согласно гарвардскому уставу, я приготовил такую копию моей диссертации на пишущей машинке, которую я с правом мог отдать в гарвардский архив для сохранения ее навечно. Часть работы я сделал дома, а часть под бдительными взглядами портретов бывших выдающихся гарвардских деятелей, вывешенных в университетской галерее. В то время в Гарварде не требовали публикации тезисов докторской диссертации. Я убежден, что такое отношение в Гарвардском университете было разумным, поскольку несправедливо было бы принимать суждения редакторов научных журналов в качестве критерия, согласно которому принималось бы решение о присуждении университетской степени. Более того, публикация таких тезисов без соответствующего запроса редакторов научных журналов, связана с огромным налогом, который студент выплачивает из собственного кармана, и в целом не является каким-то значительным вкладом в будущую деятельность. Напечатанные по личной просьбе, они не доступны широкой публике и, в общем, мало кем читаются. Я рад тому, что требование публикации тезисов постепенно исчезает.

Часто предполагается, что докторская диссертация должна представлять собою нечто самое лучшее из того, что человек делает, и должна дать полное представление о человеке. Я так не думаю. Докторская диссертация является нечем иным, как определенной частью работы, посредством которой квалифицированный работник готовит себя к тому, чтобы стать мастером своего дела; и если он не превысит этот уровень в десятки раз в процессе своей деятельности, то он действительно очень плохой специалист. Я знаю, что многие полагают, что диссертация должна на протяжении многих лет выделяться из всей той работы кандидата, которую он будет делать впоследствии, однако на практике это требование часто игнорируется. Именно тогда, когда человек уже защитил свою диссертацию, и больше для него не существует необходимости выполнять какие-то еще будущие формальные требования, он может заниматься своей работой в полной мере как свободный человек, выполняя самим собой определенную задачу, ведущую его к цели, обозначенной им самим, а не навязываемой ему занимаемым положением в университете или в обществе. Эти тезисы должны быть качественными, но если работа ученого в ближайшем будущем не будет на

несколько уровней выше его тезисов, то данный кандидат на верном пути к тому, чтобы стать тем засушенным пигмеем, каких мы встречаем среди наших третбесортных коллег на заседаниях факультета.

Если бы моя диссертация была единственной научной работой, выполненной мной, она была бы совершенно ненадежным пропуском в профессию ученого. Однако все случилось, так что она дала мне необходимые навыки по организации научного материала, послужившего мне в течение следующих двух лет основой для создания серии статей, которые я с большей охотой предпочел бы представить в качестве моего вступления в профессию ученого.

Я знал многих студентов, ожидавших того, чтобы представить свою диссертацию для получения докторской степени уже после того, как они создали ряд приемлемых работ, и это ожидание длилось до тех пор, пока они не написали той самой статьи, которая позволяла им прорваться в печатный научный мир стремительно и бурно. Это, конечно, прекрасно, если юноша сможет благодаря своей первой работе завоевать громкое имя. Тем не менее, я чувствую, что такой студент слишком многое вкладывал в это и потратил годы, ожидая, когда эта великая идея снизойдет до него лишь для того, чтобы испытать, что значит опубликовать свою работу и получить критические замечания всенародно. Ожидать, что с первой попытки станешь великим человеком, это чересчур; и если такой материал содержится в последних разработках, то это не должно вызывать чувство стыда, поскольку совершенно неважно, является ли первая работа действительно великолепной или она просто отвечает требованиям, которые необходимо соблюсти при получении докторской степени.

Я тяжело переживал время в конце весны 1913 года после сдачи экзаменов на получение докторской степени, и я все еще находился в состоянии ожидания Актового Дня и торжественной церемонии, во время которой профессор Лоуэлл должен был объявить, что я официально допущен в общество ученых.

Год 1912–1913 был годом, когда было разрушено старое здание библиотеки Гарварда, и велась подготовка к построению нового по проекту Уайднера. Старое здание стало пригодным для размещения в нем библиотеки лишь после многочисленных импровизаций и внутренних перестроек, и вероятно, оно было одним из подлинных образцов ранней американской академической готики, его время прошло, и оно должно было исчезнуть. Поистине это было удовольствие в духе римских празднеств наблюдать, как огромный железный шар своими ударами разрушал его бельведеры и сво-

ды; и похоже, что рабочие, строившие это здание, настолько добросовестно выполнили свою работу, что временами эти сильные удары практически не оставляли на нем следов. Шум был невыносимым, и наши занятия по философии в галерее Эмерсона шли под аккомпанемент рева двигателей и крушащихся стен.

Несмотря на тот факт, что разрушение старого здания знаменовало собой прогресс, мы понимали, что оно символизировало конец уходящего века. И никогда больше мы не войдем в эту библиотеку и не ощутим этой анахронистической атмосферы средневековья, и широкие лужайки вокруг нее исчезнут навсегда под громоздким зданием Уайднеровской библиотеки. Отец говаривал после ознакомления с книгохранилищем и работой, которую выполнил Уайднер, что его фамилия могла бы очень хорошо обойтись без буквы «н»¹. Как бы то ни было, то, что библиотека Уайднера была удобным книгохранилищем, бесспорно, но ее архитектурные изыски, по моему мнению, не соответствовали ее назначению. Это было очень холодное и мрачное здание, и позже во время военных лет парадная лестница была украшена двумя холодными и мрачными портретами представителей военной мощи Америки. Они были офицерами, но определенно, не самого высшего ранга.

В то время меня чаще всего можно было найти в Гарвардской философской библиотеке. Это было приятное место, а библиотекарь, д-р Рэнд, был ярко выраженным гарвардским эквивалентом слегка усохшего английского преподавателя. Он был великолепным историком и библиографом, так что всегда было интересно рыться на книжных полках в поисках чего-то нового и волнующего. Например, мы обнаружили, что целый ряд книг был преподнесен библиотеке Уильямом Джеймсом, и на их полях были сделаны пометки рукой самого Джеймса, которые не были особенно изящными, какими могли бы быть, если бы первоначально предполагалось, что они предстанут перед взором многочисленных читателей. Экземпляры книг Ройса и Бертра на Расселла, принадлежавшие Джеймсу, вызывали особое изумление. Когда Рэнд обнаружил, что эти книги являются настоящим сокровищем, он запер их в специальном ящике, и требовалось особое разрешение, чтобы иметь к ним доступ.

Но даже после этого в библиотеке оставалось много драгоценных книг, читать которые нам было интересно. Английский философ Ф. К. С. Шиллер, несмотря на отсутствие поистине глубоких мыслей в его трудах, обладал

¹Widener обозначает «расширитель, распространитель», и без буквы «n» теряет это значение. — *Прим. пер.*

великолепным сатирическим стилем, всегда забавлявшим нас. Кроме того, никто и никогда не знал, что можно найти среди вновь поступавших книг и периодических изданий. Это бесцельное копание в книгах было частью наших еженедельных занятий.

Весной я начал просматривать периодические издания по воспитанию и образованию, чтобы удовлетворить свое любопытство по поводу того, как в них интерпретируется такое явление, как вундеркинд. Я был сильно наказан за это любопытство, когда нашел в журнале под редакцией Г. Стэнли Холла из Кларковского университета статью мисс Катрин Долбер, дочери бывшего выдающегося физика из колледжа Тафтс¹. Эта статья была посвящена обсуждению Берля, Сайдиса и меня самого во всех подробностях. Похоже наши результаты не произвели на мисс Долбер должного впечатления. Со скрупулезной точностью она представила не только официальные записи о нас из нескольких школ, но вообще все, что смогла собрать вплоть до мнений наших сокурсников на последних курсах университета.

Ни в коей мере нельзя было назвать этот документ лестным. Я сам уже давно понимал, что мое социальное развитие оставалось далеко позади моего интеллектуального роста, но я был страшно подавлен тем, каким невоспитанным, нудным и неприятным человеком я выглядел в статье мисс Долбер. Я-то полагал, что нахожусь на пути к решению моих проблем. Статья мисс Долбер заставила меня почувствовать, словно я игрок в кости, который снова оказался в начальной точке в результате неудачного хода.

Я показал статью отцу, который был так же разгневан, как я унижен. Отец отправил письмо протеста с требованием опубликовать его в следующем номере «Педагогической Школы», хотя это все равно никак не решило проблему. Адвокат нашей семьи не смог добиться удовлетворения для нас в этом вопросе. Попытка обратиться к закону привела бы к гласности, и я подвергся бы намного более опасному и жестокому испытанию, какие когда-либо выпадали на мою долю. Даже теоретически американский закон не особенно признает право человека на личную жизнь, и если подать иск, то для его удовлетворения в нем необходимо указать ущерб, нанесенный клеветой. Таким образом, называть адвоката стряпчим, а доктора знахарем очень опасно, поскольку такие заявления наносят большой ущерб профессиональной репутации данного человека. А у меня еще не было никакой профессии; и хотя я надеялся в будущем приобрести какую-то профессию, ущерб, нанесенный статьей, было бы очень трудно доказать и невозможно

¹ Катрин Долбер, «Педагогическая Школа», том. 19, «Дети с ранним развитием», стр. 463. — *Прим. автора.*

оценить. Это именно тот вопрос, который позднее был поднят адвокатами в отношении «Нью-Йоркера», когда они занимались иском против этого журнала, поданным У. Дж. Сайдисом; и результат этой защиты укрепил нас в нашем мнении не давать хода данному делу.

Я считаю такое отношение к клевете чрезвычайно неправильным. Прежде всего потому, что бросить серьезное пятно на человека, которому еще только предстоит начать свою профессиональную карьеру, по моему мнению, является намного более серьезным правонарушением, чем вмешаться в жизнь человека, который уже имеет хорошую репутацию в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, покушение на самоуважение человека, который уже находится в сложном и сомнительном положении, такой же серьезный ущерб, как и членовредительство. Я полагаю, что разумные нравственные нормы относительно подобных вопросов хорошо демонстрируются деятельностью медицинских журналов, которые, по моему мнению, настолько хорошо организованы, что в них совершенно просто использовать силу закона. В интересах общественности сообщать со всей точностью и свободно о различных медицинских случаях в профессиональных журналах. И тем не менее, считается серьезным правонарушением упоминать фамилию пациента или какие-либо другие данные, по которым можно идентифицировать его, по крайней мере, без его добровольного согласия на это. Когда печатается фотография пациента в случае необходимости, обычно, если на глазах и лице нет существенных симптомов заболевания, то их и не печатают. И я не вижу причины, почему бы педагогическому журналу, или какому-то другому журналу, не претендующему на статус научного, не проявить большую широту взглядов в данном вопросе. Речь здесь не идет о свободе печати, это целиком и полностью касается лишь вопроса необходимой корреляции данной свободы: возложения ответственности на прессу.

В течение моего последнего года в Гарварде я подал заявление на предоставление мне стипендии для обучения в других университетах. И я был чрезвычайно взволнован, когда мне сообщили, что я выиграл такую стипендию. Предлагались два места на выбор: Кембридж, где Расселл находился в зените своей славы, и Турин, ставший знаменитым из-за Пино. Я узнал, что для Пино лучшие дни уже миновали, и что Кембридж — это одно из самых лучших мест для изучения математической логики. Тогда я написал Расселлу, поскольку необходимо было получить разрешение преподавателя прежде, чем я мог отправиться на учебу.

XIV

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Кембридж, июнь, 1913—апрель, 1914

В то лето мы вернулись в Нью-Гемпшир, и у меня был хороший шанс отдохнуть перед предстоящим учебным годом и больше познакомиться с горным районом. Горы доставляли мне бесконечную радость. Они прекрасны даже теперь, а в те дни перед войной и угрозой войны, перед всемирной мясорубкой двух мировых войн, перед появлением автомобилей, повлекшим за собой сокращение расстояний и превращение шоссеиных дорог в городские трущобы, страна была действительно прекрасна. И теперь, когда моя физическая активность ограничена по причине моего возраста и различных пережитых ранее злключениям, я с некоторой грустью мысленно возвращаюсь в то время, когда восхождение на склоны гор не требовало особых усилий, и когда за двадцать минут быстрой ходьбы я мог взобраться на склон, покрытый рыжевато-буро-коричневым кружевом леса. С этого склона я мог любоваться стволами могучих деревьев, каждое из которых могло бы быть мачтой королевского корабля. Я ощущал некую романтическую связь со всеми этими холмами и лесом.

Одной из моих главных домашних обязанностей было приносить почту и молоко. Каждый день я проходил две мили до почты, находившейся в деревне Уайтфейс, и две мили обратно, и часть этого пути я нес ведро молока, ручка которого впивалась в мою ладонь. Я охотно ходил за почтой, потому что именно там меня ожидало то, что должно было открыть мне путь к приключениям: письмо о зачислении от Расселла.

Профессор Хантингтон порекомендовал мне прочесть за лето две книги по математике прежде, чем начинать работу под руководством Расселла. Это была «Современная Алгебра» («Modern Algebra») Боше и «Проективная Геометрия» («Projective Geometry») Веблена и Юнга. Первая книга тогда не произвела на меня особенного впечатления, хотя я перечел ее несколько раз и посчитал, что она весьма пригодна для теории матрицы. Вторая книга пришлась мне по сердцу как наиболее последовательное изложение аксиоматической точки зрения, какое я когда-либо встречал. Я решил практически

все задачи из первого тома, который вызывал у меня в то время наибольший интерес. У книги было два автора, хотя Юнг из Дармута был уже не очень продуктивен, и основным автором книги был профессор Освальд Веблен из Принстона. Он был основателем великой математической школы в Принстоне, а также научным руководителем Института перспективных исследований, также в Принстоне. Он, вне всяких сомнений, является одним из отцов американской математики.

Вся семья зимой должна была отправиться за границу. У нас появился соблазн отправиться пораньше, и мы зашли настолько далеко, что стали выяснять насчет билетов, но это было время войны на Балканах, и отец посчитал, что политическая атмосфера слишком напряженная, чтобы рискнуть отправиться в путешествие. Но наступил день, когда мы действительно отправились в путь. Мы выбрали пароход компании Лиланд Лайн, небольшое судно огромного международного синдиката, занимавшегося перевозкой на пароходах скота и пассажиров из Бостона в Ливерпуль. Я помню, что в те счастливые дни можно было за пятьдесят долларов заказать каюту на одно и иметь в своем распоряжении все судно.

Мы отправились из Кембриджа по подземке и туннелю восточного Бостона в тот заброшенный район трущоб и доков, известный как Восточный Бостон. Там наше судно встало на прикол. Я помню, как было неприятно пробираться сквозь лабиринт железнодорожных путей с тяжелым багажом в руках под аккомпанемент строгих и противоречивых указаний отца.

Ехать за границу было облегчением, ниспосланным с небес. Стюарды в белых жакетах принесли нам печенье и крепкий бульон еще до того, как мы покинули гавань. И хотя мы все еще были в старой знакомой бостонской гавани с ее неприятным памятником Банкеру Хиллу, мы уже находились на территории иностранного государства: манеры стюартов, еда и питье и сам язык, на котором говорили люди, — все было новым и незнакомым для нас.

У моих родителей почти на уровне инстинкта сохранилось убеждение, что тот английский, на котором они говорили и который знали, являлся единственно правильным английским, и во всех остальных его формах присутствовало нечто логически неправильное. Осмелюсь сказать, что отец более охотно приноровился бы к баскскому или тибетскому диалектам, нежели поменял бы английский американского Бостона на английский Лондона или Ланкашира.

На судне доминировал именно ланкаширский вариант английского. С тех пор, именно этот язык слышал я чаще всего; и хотя, по всей вероят-

ности, это не самый благозвучный вариант английского, в нем присутствует особенная добротность, присущая хорошему хлебу или хорошему сыру.

Пассажиров было мало, и новости о событиях в мире, передаваемые по радио, не были особо навязчивыми. Путешествие было долгим и полным мира и покоя. Пища была сносной, но тяжелой. Смотреть было не на что, разве что на отливающие холодным блеском волны, или на случайный флирт дочери старого морского капитана с радиомехаником. Понемногу играя в шаффлборд и шахматы, мы продолжали наше путешествие с комфортом. И однажды мы обнаружили, что наше судно причалило в порт высадки, в Мерси.

Формальности, сопровождавшие высадку, были просты. Было утро воскресного дня, и после того, как мы купили билеты в Лондон, мы съели по кусочку хлеба и сыра в пабе и продолжили свой путь. Я смотрел из окна поезда и вспоминал впечатления от английского ландшафта, полученные мною еще ребенком. В частности, я припомнил плющ, маленькие фермы и поля, кирпичные и каменные строения и пейзажи с редкими лесами и низкорослыми деревьями.

Со станции Юстон мы отправились в Блумсбери, в котором тогда даже в большей степени, чем сейчас, для заезжего научного сотрудника со средним достатком предлагали проживание в лачугах. Мы остановились в отеле в Саутгемтон Роу, описанный, как я узнал позже, Грэмом Грином как место действия в одном из его печальных романов о беженцах и шпионах. С помощью своего Бедекера¹ мы нашли два вегетарианских ресторана. Мы навестили старого друга отца Израиля Зангвилла в его меблированных комнатах в Темпле и составили план моего пребывания в Кембридже. Вся остальная семья должна была отправиться в Мюнхен на зиму. Констанс должна была изучать искусство, а Берту предполагали отправить в частную школу для девочек-подростков.

Отец поехал со мной в Кембридж. Мы навестили Бертрана Расселла в его жилище на Тринити, и он помог нам сориентироваться. Пока мы были у Расселла в доме, вошел молодой человек, которого отец взял в качестве аспиранта и который не вызвал в нас ни малейшего интереса. Это был Г. Харди, математик, который позднее оказал на меня очень сильное влияние.

Оказалось, что для меня не требовалось специальное разрешение на зачисление, поскольку между Гарвардом и Кембриджем существовало со-

¹Baedeker — название путеводителей по разным странам.

глашение относительно привилегий для перспективных студентов. Поэтому я полагал, что не смогу поселиться в колледже, и мне было необходимо снять жилье в городе. Отец не сильно старался, подбирая для меня жилье в меблированных комнатах. В одном месте в присутствии домовладелицы он спросил меня, что я думаю по поводу этого места. Я почувствовал себя в ловушке. Когда мы уходили я был вынужден признаться, что эти комнаты мне показались самыми убогими, грязными и неудобными из всех, которые мне довелось повидать. Вместо того чтобы аннулировать устный договор, который мы заключили, отец положился на то, что мне вряд ли придется еще раз встретиться с домовладелицей, и отпустил эту проблему на волю случая. Он торопился на поезд в Лондон. Наконец, я был оставлен, за неимением лучшего, у другой неряшливой маленькой домовладелицы в Нью-Сквер. Она согласилась снабжать меня за небольшую плату овощами и сыром, необходимыми мне для поддержания вегетарианского образа жизни.

В то время было немыслимо, чтобы американский мальчик, нормально воспитанный, не испытывал бы англофобии в определенной степени. Войны между двумя странами, включая недеklarированное враждебное отношение, возникшее во время нашей Гражданской войны, подспудно нашли свое выражение в тоне английской репортажей, не упускающих возможности погладить янки против шерсти. Но более, чем что бы то ни было, именно усилия пылких американских англофилов повлияли на то, что американский мальчик стал размахивать флагом и издавать воинственные вопли.

И все же позже, когда я вернулся из Англии, я понял, что между мной и Англией установилась очень тесная и постоянная связь, и особенно я ощутил свою привязанность к Кембриджу. Я узнал, что англичане сильно отличаются от англофилов в том, что однажды проникнув под защитный покров, который по их мнению оберегал их от американцев и прочих иностранцев, они вполне готовы были признать, что в Англии существуют вещи, выпавшие из поля зрения Господа Бога, и что с миром определенно происходит что-то неладное. Я обнаружил, что англичане настолько же недоверчивы, насколько я не верил в панацею англофилов, в том, что касалось импортирования английских обществ в Америку в разобранном на мелкие части виде и завернутыми в соломку, как если бы это были замки эпохи Тюдоров. Короче говоря, я обнаружил, что Англия англофилов была выдуманной землей в заоблачной выси, не существующей ни по эту, ни по другую сторону океана, а пребывающей лишь в душах избранных.

Я узнал также, что среди обществ, в которых мне приходилось жить, именно те, что больше всего отражали английский образ жизни, считались

истинно американскими в пору моего детства. Деревенская жизнь в Айере и Гарварде, хотя и не была деревенской жизнью, в которой присутствовали сквайр или приходской священник, тем не менее, имела поистине английские корни. Мои деревенские друзья из Нью-Гемпшира, вероятно, вплоть до второго пришествия будут осуждать таких же, как они сами, живущих в Озерном крае, и будут приняты там с подобными же упреками в свой адрес; и несмотря на взаимную враждебную сдержанность и разницу в диалектах, позиция обеих сторон была практически одинаковой. И понадобилось бы всего несколько недель непосредственного общения, чтобы и те, и другие осознали, что между их позициями и предположениями не такая уж и большая разница.

Англия, которую я увидел в первый раз, не прошла еще через испытания двух мировых войн, и в ней со времен наполеоновской войны царил мир, если не принимать во внимание колониальные войны и военные конфликты в Крыму и Южной Африке. Это была Англия, где богатые жили как в раю, а жизнь бедных очень напоминала ад. Это была Англия, где рабочему человеку было намного труднее стать ученым, чем мексиканскому батраку в настоящее время. Это расслоение и сопровождающий его снобизм, который был проявлением мазохизма со стороны бедных в большей мере, чем проявление садизма со стороны богатых, является тем, что со временем навсегда кануло в лету, как и Франция *ci-devants*¹ во времена Французской революции, хотя, возможно, что какие-то элементы этого расслоения сохранились.

Моя домовладелица познакомила меня с тем, что являлось своего рода английским снобизмом и раболепием, столь распространенные в то время и столь редко встречающиеся теперь. Она, неряшливая, злобная маленькая женщина, не одобряла нашего соседа, живущего через два дома от нас. «Ах, он же всего лишь сын торговца,» — говаривала она, хотя ранг торговца был чем-то неизмеримо более высоким, чем то, на что она могла бы претендовать.

Студенты университета в 1913 году были юными отпрысками аристократии, или, в крайнем случае, принадлежали к хорошо обеспеченному среднему классу. Именно тогда я увидел зарождение аспирантуры, на которую стали выдаваться дотации. Юноша из рабочей среды с задержкой в физическом развитии из-за недоедания в раннем детстве, и еще раньше, в утробе матери, с плохими зубами, с огрубевшей кожей на руках, одетый

¹Бывших — об аристократии периода Французской революции. — *Прим. пер.*

в подержанный костюм и большие тяжелые ботинки, проходит обучение в начальной и средней школе, а затем в университете при поддержке в виде стипендий, выдаваемых ему. Это те люди, которых сейчас я знаю как молодых преподавателей; их принимали из-за их способностей и личностных качеств, но в обществе их осуждали за дурные манеры, от которых они не могли избавиться, несмотря на искренние и сознательные усилия. Не однажды кто-нибудь из них рассказывал мне о тех болезненных ощущениях, которые ему довелось переживать в начале прежде, чем он научился принимать участие в легкой беседе, сидя за столом с почетными гостями.

Явление, о котором я говорю, распространено далеко за пределами уединенных кортов английских университета. Теперь я испытываю своего рода облегчение от того, что могу сесть на скамейку в парке и поговорить с английским рабочим, который не будет видеть во мне «барина» и потому не оскорбится моим присутствием, а также не станет искать какой-либо выгоды от беседы со мной. Возможно, современному поколению англичан, которое прочтет эту книгу, может показаться, что я обвиняю их предшественников в пороках, которые совершенно не свойственны им, и англичанин нового поколения не способен понять их. Но могу сказать, что, поскольку я навещаю Англию ежегодно, я вижу, что раболепие исчезает, и на передний план выходят отношения, основанные на всеобщем достоинстве и товариществе.

Ну, вот и все, что касается моих воспоминаний о Кембридже. Во время моего первого приезда, после проведения нескольких дней за изучением этой страны, я утратил все надежды и был бесконечно одинок. Семестр еще не начался, так что возможности завязать новые знакомства у меня не было. Я бродил среди колледжей и по паркам и лужайкам, и совершенная красота зданий и растительности были более, чем просто утешением для меня, переживающего ностальгию. Тем временем, я познакомился с парой аспирантов: индусом, проживавшим в том же здании, что и я, и молодым англичанином, жившим через два здания от меня. Они оба учились в колледже св. Катерины; они пригласили меня принять участие во встречах дискуссионного клуба, принадлежавшего тому колледжу.

У меня не сохранились какие-то ясные воспоминания о том, что обсуждали и что делали в том клубе в колледже св. Катерины. Я помню, что меня попросили прочесть статью и сказать несколько слов по ее поводу. Я исполнил просьбу, и у меня сохранилось смутное воспоминание о том, что я покрыл себя позором. Конечно же, я провел первые несколько недель в Кембридже, занимаясь изучением мнений англичан и избавлением от неко-

торых своих наиболее невозможных недостатков в поведении. Я знаю, мой неприкрытый национализм втянул меня в несколько детских ссор.

Тем не менее, я чувствую, что это был критический период в моем формировании, и я в большом долгу перед моими преподавателями и друзьями по аспирантуре. В них я нашел восприимчивость и терпимость к идеям, что было так не характерно для Гарварда, и стимулирующее полемическое умение заставить студента представить эти идеи.

Хотя я очень хорошо проводил время с несколькими из молодых аспирантов в их клубах и с группами их знакомых и в «тусовках» и за чашкой чая в чьей-нибудь комнате, там была еще одна группа несколько более старших по возрасту аспирантов, заканчивающих аспирантуру и готовящихся стать преподавателями, которые были особенно добры ко мне и помогали во многих вещах. Одним из них был Ф. Бартлетт, теперь сэр Фредерик Бартлетт и профессор психологии в Кембриджском университете. У меня сложилось впечатление, что он перевелся из одного более современного английского университета, и что в то время перспективы в отношении его карьеры не были особенно хорошими. Его постоянное спокойствие и способность отстаивать свои позиции в любом споре были целительным снадобьем для моей собственной импульсивности. Его критические замечания были всегда справедливыми, без скидок на дружеские отношения. Я рад, что наши с ним отношения сохранились на протяжении многих десятилетий, и в своей основе не претерпели никаких существенных изменений.

Бернард Масцио был еще одним из моих старших товарищей, кто был ко мне очень добр и помогал взрослеть. Он родился в Австралии, где он получил свою первую степень. Его энергичность и быстрота реакции сделали его важной фигурой в клубе «Наука о морали», больше известного под названием «Клуб недопустимой морали», где мы вместе с ним несколько раз участвовали в полемических спорах с теми, с кем были не согласны.

Ч. К. Огден и И. А. Ричардс были моими первыми приятелями, очень разными по характеру. Огден, добившийся продления обучения в аспирантуре на неслыханное количество лет, в то время жил над воротами в Перри Кюри, где его комнаты были украшены фотографиями практически всех выдающихся людей научного мира Англии. Наряду с прочими занятиями, он был еще и журналистом, и он выпросил у меня разрешение написать статью обо мне, которую он опубликовал в журнале «Кембридж» («Cambridge»), и содержание которой полностью стерлось в моей памяти по прошествии стольких лет. Ричардс и Огден были близкими приятелями, и я полагаю, уже в то время, когда я жил в Кембридже, они начали свою совместную

работу над тем, что позднее было опубликовано как «Значение значения» («Meaning of Meaning»). Как бы то ни было, но уже тогда был замечен их интерес к семантике.

Одна из вещей, сильно поразившая меня в Кембридже, — это замкнутая атмосфера, в которой жил студент английского университета. Он пришел из школы, движимый потребностями юности, которые составляли наиболее существенную и характерную часть его образования, в университет, построенный согласно схеме, отвечающей во многом потребностям его юных лет. Если он преуспевал, перед ним открывалась карьера, длиной в целую жизнь, сопровождаемая практически теми же благоприятными обстоятельствами, что и в годы обучения

Английские университеты, хотя они больше не являлись исключительно безбрачными духовными учреждениями, какими были в начале девятнадцатого столетия, все же сохранили многое из того, что присуще монашескому образу жизни. Таким образом, молодой человек, начинающий изучать математику, привносил в свою оценку занятий математикой огромную долю юношеского отношения «играем в игру», которому он научился на крикетном поле. Это, хотя и содержало в себе много хорошего и вело к преданности науке, какую трудно найти в нашей более суетной жизни, однако не способствовало развитию зрелого отношения к его собственной работе.

Когда Г. Х. Харди, и это читатель легко может найти в его книге «Апология математика» («Mathematician's Apology»), определяет теорию чисел с точки зрения отсутствия ее практической пользы, он не в полной мере раскрывает нравственную проблему математика. Чтобы игнорировать требования общества и отмахнуться от богатств Египта ради научного аскетизма истинного математика, который не примет ни военную, ни промышленную оценку математики за все блага мира, нужно действительно обладать большим мужеством. Тем не менее, это эскапизм в чистом виде, присущий поколению, для которого математика стала скорее сильным лекарством против меняющейся науки и мира, где мы живем, чем слабым наркотиком, потребляемым лотофагами.

Когда я вернулся в Кембридж уже зрелым математиком, проработав несколько лет с инженерами, Харди много раз повторял, что техническая фразеология большинства моих работ по математике была притворством, и что я использовал ее для того, чтобы подлизаться к моим друзьям-инженерам в Массачусетском технологическом институте. Он думал, что я был чистым математиком, скрывающим это, и что эти аспекты моей рабо-

ты, не относящиеся прямо к математике, являются несерьезными. Однако это было не так. Те же самые идеи, которые могут быть использованы в этом «Чистилище Мудрецов», и известные как теория чисел, являются мощным инструментом для изучения телеграфа, телефона и радио. Неважно, насколько невинен настоящий математик в душе и в своих мотивациях, похоже на то, что он является могущественным фактором в изменении облика общества. Следовательно, он по-настоящему опасен как капитанармус новой научной войны будущего. Ему это может не нравиться, но если он не принимает во внимание эти факты, он не выполняет полностью своего долга.

При планировании моего курса Расселл совершенно обоснованно заметил, что человек, собирающийся специализироваться в математической логике и в философии математики, должен также знать кое-что о самой математике. В связи с этим, в разные периоды времени я посещал целый ряд курсов по математике, включая курс Бейкера, Харди, Литтлвуда и Мерсера. Я не долго ходил на курс Бейкера, поскольку к нему я был плохо подготовлен. А курс Харди стал для меня откровением. Начав с первых принципов математической логики, перейдя к теории совокупностей, затем к теории интеграла Лебега и общей теории функций действительной переменной, он закончил теоремой Коши и приемлемой логической основой для теории функций комплексных переменных. По содержанию этот курс охватывал тот объем знаний, с которым я познакомился у профессора Хатчисона из Корнелла, однако, вне всяких сомнений, внимание в нем было сосредоточено именно на том, что тормозило мое понимание прежних курсов. За все годы моих посещений лекций по математике я никогда не слышал, чтобы кто-то мог с такой же ясностью, так же интересно и с такой же научной обоснованностью, как Харди, излагать материал. Если мне когда-либо придется признать кого-либо в качестве моего истинного наставника по математике, это обязательно будет Г. Х. Харди.

Именно на его курсе я написал первую статью по математике, которую опубликовали. Теперь, когда я вспоминаю об этой статье, я не думаю, что она была очень хорошей. Она посвящалась разупорядочению положительных целых чисел в хорошо упорядоченных рядах больших порядковых чисел. И все же, она дала мне возможность впервые ощутить, что значит быть напечатанным, и это фактор для стимуляции роста молодого ученого. Статья появилась в журнале «Вестник математики» («Messenger of Mathematics»), который издавался в Кембридже, и я имел удовольствие увидеть ее в печати.

Я посетил два курса Бертрانا Расселла. Один из них был чрезвычайно ясным изложением его точки зрения по чувственным данным, а другой — лекционный курс по *Principia Mathematica*¹. Что касается первого курса, я не мог принять его точку зрения относительно абсолютной природы чувственных данных в качестве исходного материала для жизненного опыта. Я всегда рассматривал чувственные данные как представления, более того, негативные представления, которые по направленности диаметрально противоположны представлениям, соответствующим идеям Платона, а также представления, которые далеко отстоят от переживания непроработанных исходных чувств. Если не принимать во внимание наши разногласия по этому конкретному вопросу, я считал, что содержание курса было новым и необыкновенно стимулирующим. В частности, я познакомился с относительностью Эйнштейна и с новым значением роли наблюдателя, поскольку Эйнштейн, будучи именно в этой роли, революционизировал физику, а Гейзенбергу, Бору и Шредингеру удалось революционизировать ее окончательно.

На лекционном курсе Расселла нас было всего трое, поэтому мы быстро в нем преуспели. Впервые я получил полное понимание логической теории типов и глубокого философского смысла, заложенного в ней. Я со стыдом осознал все недостатки моей докторской диссертации. И все же, благодаря этому курсу я написал небольшую работу, которую позднее опубликовал; и хотя она не вызвала особого одобрения у Расселла, как впрочем, и особого интереса к себе в то время, статья, которую я написал по поводу сведения теории отношений к теории типов, заняла свое скромное, но прочное место в математической логике. Вскоре после того, как мне исполнилось девятнадцать, она была опубликована в «Трудах Кембриджского философского общества» («*Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*») и ознаменовала собой мое истинное вступление в мир математической мысли и творчества.

Даже после стольких лет мне нелегко писать о моих отношениях с Бертраном Расселлом и о работе, выполненной под его руководством. Мой пуританизм, присущий каждому жителю Новой Англии, столкнулся с его философским оправданием распутства. Существует много общего между повесой, который ощущает философскую страсть к тому, чтобы улыбаться и быть вежливым, а также распутником, который убивает в своей жене чувство привязанности, и спартанским мальчиком, который спрятал укра-

¹ Основы математики (лат.)

денную лисицу под своим плащом и был вынужден сохранять невозмутимое выражение лица, когда лисица его кусала. Это не внушает мне никакой любви к философу-повесе. Старомодный повеса, по крайней мере, испытывает удовольствие от своего безразличия; пуританин работает в рамках кодекса, в котором четко определены ограничения, не позволяющие ему попадать в неприятные ситуации. Философ-повеса так же ограничен, как и пуританин, и не должен сбиваться с заданного пути; однако путь этот плохо освещен и вехи на нем едва заметны. Я крайне свободно высказывался по этому поводу, и я совершенно уверен, что Расселл слышал, как одной темной ночью я делился этими мыслями со своим приятелем, когда мы встретились с ним на улице и возвращались к нему на квартиру. И хотя он и виду не подавал, что слышал мои слова, этот случай сделал меня особенно настороженным в отношении его критики.

Я знаю, что Расселл рассматривал мою докторскую диссертацию, защищенную в Гарварде, как не отвечающую требованиям, поскольку я недостаточно глубоко был осведомлен по проблеме логических классов и парадоксов, представляющих собою трудность в выведении фундаментальной системы аксиом для логики в противовес выведенной системе аксиом для конкретного построения на основе признанной логики. Что касается меня, я уже тогда чувствовал, что попытка утверждать все эти допущения для логической системы, включая допущения, посредством которых это все можно было бы увязать между собой, чтобы сделать новые выводы, была обречена на незавершенность. Мне казалось, что любая попытка сформировать завершённую логику должна была опираться на неупоминающуюся, но вполне реальную привычку человека к манипуляции, и попытаться сохранить такую систему на языке, полностью отвечающем требованиям, это воскресить парадоксы типа *в их самом, насколько это возможно, худшем виде*. Я полагаю, что я высказал кое-что относительно данного вопроса в философской статье, появившейся позже в «Журнале философии, психологии и научного метода» («*Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Method*»). Бертран Расселл и другие философы того времени имели привычку называть этот журнал «*Whited Sepulche*»¹, намек на обложку, в которой выходил этот журнал, сделанную из простой белой бумаги.

Мои еретические высказывания того времени были позже подтверждены работой Геделя, доказавшей, что в любой системе логических постулатов существуют вопросы, на которые невозможно ответить положительно,

¹Лицемер. Библ. лицемер сравнивается с окрашенным [побеленным] гробом, который крашив снаружи, а изнутри полон «костей мертвых и всякой нечистоты». — *Прим. пер.*

используя постулаты данной системы. А это значит, если один из ответов сообразуется с изначальными постулатами, можно доказать, что и противоположный ему ответ будет в равной степени сообразен с ними. Такая трактовка проблемы решения делает неясной значительную часть работы, выполненной Уайтхедом и Расселлом в *Principia Mathematica*.

Таким образом, логика нуждалась в совершенствовании. Ограниченная логика, которая сохраняется, стала скорее естественной предшествующей обработкой того, что, в действительности, необходимо для соответствующей работы системы дедукции, чем нормативным отчетом о том, как это нужно обрабатывать. Итак, шаг от системы дедукции до дедуктивной машины короток. *Calculus ratiocinator*¹ Лейбница нуждался всего лишь в двигателе для того, чтобы стать *machina ratiocinatrix*². Примечательно то, что я сам, совершенно независимо от него, также сделал шаг от моей прежней работы по логике к изучению логики машин, и таким образом снова столкнулся с идеями м-ра Тьюринга.

Возвращаясь к моим студенческим дням, когда я работал под руководством Расселла, хочу сказать, что несмотря на многие разногласия и даже трения, мне очень многое открылось в те дни. Его изложение *Principia* было удивительно понятным; и наша маленькая группа смогла получить максимальное количество знаний из этого курса. Его общие лекции по философии были также своего рода шедеврами. Кроме того, что Расселл признавал важность Эйнштейна, он также видел значение теории электрона в настоящем и будущем, и он побуждал меня к ее изучению, хотя в то время она для меня была очень трудной, поскольку я не имел соответствующей подготовки в физике. Однако мне кажется, что в своей оценке квантовой теории он не был столь же определенным и точным. Следует помнить о том, что работа Нильса Бора, сотворившая новую эпоху в науке, только появилась на свет в то время, и в своей первоначальной форме она не особенно поддавалась философской интерпретации. Лишь спустя почти двенадцать лет, в 1925 году, конфликт мнений, порожденный ранней работой Бора, начал разрешаться, и идеи Бройля, Борна, Гейзенберга и Шредингера показали, что квантовая теория произвела такой же великий переворот в философских предположениях в физике, как и работа Эйнштейна.

Что касается социальной сферы жизни, наиболее яркими сторонами моего общения с Бертраном Расселлом были вечеринки, устраиваемые им

¹Счетчик (*лат.*)

²Вычислительная машина (*лат.*)

по четвергам, и из-за количества приглашаемых гостей они назывались «сквошами». На них собиралась группа весьма достойных людей. Там бывал Харди, математик. Бывал на них и Лоуес Дикинсон, автор «Писем от Джона Китайца» («Letters from John Chinaman») и «Современного симпозиума» («Modern Symposium»), и оплот либерального политического мнения того времени. Был там и Сантайяна, покинувший Гарвард навсегда, чтобы поселиться в Европе. Кроме них, интересным собеседником был сам Расселл. Мы много слышали о его друзьях Джозефе Конраде и Джоне Голсуорси.

Среди мудрецов из Тринити, с которыми мне пришлось общаться, было трое особенно важных преподавателей нравственной науки, известных как Безумное Чаепитие в Тринити¹. Их невозможно было с кем-то спутать. Описать Бертрانا Расселла как-то иначе, нежели сказать, что он похож на Болванщика, просто невозможно. Он всегда был очень выдающимся благородным Болванщиком, а сейчас он Болванщик, убеленный сединой. Карикатурное изображение Теннила почти доказывает предвидение со стороны художника, хотя мне и говорили о том, что прототипом для персонажа Льюиса Кэрролла и карикатуры Теннила послужил вполне реальный шляпных дел мастер из Оксфорда, и что его «непристойные позы» были результатом отравления промышленной ртутью. МакТаггарт, гегельянец и д-р Коджер из «Нового Макиавелли» («New Machiavelli») Уэллса, с его пухленькими, как у ребенка, ручками, с его невинным и сонным выражением лица, с его несколько кособокой походкой, мог быть только Соней.

Третий, д-р Г. Э. Мур, был совершенным Мартовским Зайцем. Его одежда всегда была испачкана мелом, его шляпа всегда мятая или вовсе отсутствующая, волосы, свалывшиеся в клубок, не ведали расчески по причине вечной забывчивости этого человека. Его привычка раздраженно проводить рукой по волосам ничуть не способствовала улучшению его прически. Он отправлялся на занятия через весь город не иначе как в комнатных тапочках, а между тапочками и брюками (которые были на несколько дюймов короче, чем следовало) выглядывали собранные в гармошку белые носки. У него была примечательная манера выделения слов, написанных на доске: вместо того чтобы подчеркивать их снизу, он прочерчивал мелом линию прямо по этим словам. В философском споре он имел привычку употреблять совершенно уничтожающие замечания, слегка задыхаясь, но улыбаясь и оставаясь невозмутимым. «И в самом деле, — говаривал он, — нельзя ожи-

¹Ссылка на книгу Л. Кэрролла. — *Прим. пер.*

дать, что любой человек в здравом уме поддержит подобную точку зрения!» По крайней мере, однажды на встрече в клубе «Наука о Морали» он довел до слез мисс Джоунс, госпожу Гиртон, известную среди упорствующих в своих заблуждениях как «Мамми Джоунс». И все же, когда мне пришлось поближе познакомиться с ним, и когда я стал зависим от его критики моей работы, я обнаружил, что он добрый и дружелюбный человек.

Среди преподавателей существовал обычай выдавать награду за индивидуальность, которая в большинстве случаев становилась наградой за эксцентричность. Некоторые из моих друзей по Кембриджу говорили мне, что они думали, что некоторые из моих не совсем обычных привычек были приняты с расчетом, что они получают одобрение. Как бы то ни было, это так; и хотя я не думаю, что особенности Расселла (которые были едва заметны) были чем-то еще, кроме истинного проявления его аристократического происхождения, я совершенно уверен, что неряшливость Г. Э. Мура и академическая непрактичность МакТаггарта очень тщательно культивировались. Они напоминали вкус резкого старого портвейна — вкус, остающийся незавершенным без умелого вмешательства винодела.

Во время семестра я познакомился с целым рядом людей, и мой камин был украшен пригласительными билетами различных дискуссионных клубов. Я получил приглашение навестить кое-кого из друзей м-ра Зангвилла, живущих в пятнадцати милях от города; и однажды я появился там, покрытый пылью и заляпанный грязью, поскольку все это расстояние прошел пешком. В целом, к концу семестра я обрел свое место в обществе Кембриджа. Мне даже начало нравиться мое новое окружение.

И все же большую часть времени в физическом смысле я чувствовал себя отчаянно неуютно. Моя домовладелица довольно мало получала с меня; и все же едва ли это может послужить уважительной причиной тому, что меня кормили сырой морковкой и несъедобной брюссельской капустой, которые она подавала вместо вегетарианской пищи. Я дополнял свою диету случайными плитками шоколада и тому подобным, но итог был таков, что я сильно недоедал.

В часы досуга, а у меня их было много, моим спасением был «Юнион» и его библиотека. Моя принадлежность к гарвардскому «Юниону» дала мне возможность использовать все то, что находилось в распоряжении его Кембриджского аналога, я даже пару раз принял участие в знаменитых дебатах студентов-старшекурсников. Более того, некоторые из моих друзей время от времени просили меня отобедать в «Юнионе», так я узнал кое-что о прелестях английского клуба.

Окружение в Кембридже было намного приятнее для меня, чем окружение в Гарварде. Кембридж весь был поглощен наукой. Делать вид, что тебя не интересуют научные проблемы было *sine qua non*¹ жизни respectableного гарвардского ученого, в Кембридже же это было общепринятой и интересной игрой, смысл которой заключался в том, что, оставаясь один, ты должен был усердно трудиться, однако же в обществе должен делать вид, что ты к этому абсолютно равнодушен. Более того, в Гарварде эксцентричность и индивидуальность всегда вызывали неприязнь, а в Кембридже, как я уже говорил, эксцентричность ценится столь высоко, что те, кому она не присуща, вынуждены напускать ее на себя ради соблюдения приличий.

Таким образом, когда наступил декабрь, и я отправился в Мюнхен, чтобы провести рождественские каникулы с семьей, я был и счастлив, и чувствовал себя так хорошо, как никогда прежде. Путешествие было забавным. Я пересек континент по гарвичскому пути и неплохо провел время на протяжении всего путешествия. Я проснулся задолго до рассвета, чтобы увидеть сигнальные огни Голландии, и испытал приятную растерянность, услышав голландскую речь носильщиков. Я позавтракал на большом, пустынном железнодорожном вокзале, где каждый звук вызывал гулкое эхо, и рассвет застал меня уже по дороге в Роттердам. Не знаю, с помощью ли английского, или плохого немецкого, или жестов мне удалось убедить носильщика перевести мои вещи на тележке через весь город на другую станцию, и вскоре я обнаружил себя направлявшимся в Кельн, неудобно расположившегося в купе третьего класса с герметично закрытыми окнами, в атмосфере, состоявшей наполовину из запахов коммивояжеров и запаха табачного дыма.

Я приехал в Кельн немногим позже полудня и устроился в очень дешевом отеле, который, как мне теперь кажется, был ни чем иным, как домом для официантов. В тот день я уже не мог продолжить свой путь в Мюнхен, так что я пошел прогуляться по городу и попытался соотнести мои свежие впечатления с воспоминаниями о путешествии в детские годы, более одиннадцати лет назад. Я обнаружил, что в действительности очень многое сохранилось в памяти: например, станция, мост и собор.

Я отправился в Мюнхен на следующий день на поезде прямого сообщения. Все, что я видел на моем пути, доставляло мне удовольствие: леса, слегка припорошенные снегом, деревни и станции, напоминавшие мне иллюстрации из строительного конструктора Анкер (Anker), с которым я играл

¹Непременное условие (*лат.*)

в детстве. Мои знания немецкого были недостаточны для того, чтобы я мог общаться со своими соседями по купе, так что основную часть пути мое внимание было приковано к пейзажу за окном. Вид берегов Рейна пробудил в моей памяти воспоминания о путешествии в далекие детские годы, а горы Франконии, склоны которых были покрыты лесами не вызывали даже отдаленный ассоциаций с Белыми Горами.

Моя семья встретила меня на станции в Мюнхене, и меня отвезли в старомодную, но расположенную в центре города, квартиру, которую они снимали. Хотя в Америке уже давно существовали многоквартирные дома, мне еще не приходилось жить в них, и моих родителей не привлекала жизнь в одной из квартир такого дома. Кроме того, мне с детства привили мнение, что жизнь в городе в таких квартирах — это жизнь, свидетельствующая о лишениях и неудачах людей, вынужденных селиться в них. Тот факт, что наша домовладелица не говорила по-английски, а моя мать не чувствовала себя уверенной в немецком, не способствовал облегчению ситуации.

Отец проводил время, работая в Баварском суде и в Государственной библиотеке. Вдали от Гарвардской библиотеки (где в силу долговременной работы он мог найти любую из нужных ему книг) и из-за обычных ограничений допуска к стеллажам и вечных раздражающих мелочей неприятной системы каталогов, которая была общепринятой повсюду за пределами Соединенных Штатов, его работа продвигалась вяло. Более того, он испытывал разочарование по поводу того, что его имя было не так хорошо известно его европейским коллегам, как он ожидал, и что с ними у него практически не было личных взаимоотношений. В какой-то мере этого и следовало ожидать, поскольку отец в своей работе шел по своему индивидуальному пути, и он мог безапелляционно возражать против предположений ученых, его современников, и писал в резкой манере, которая оскорбляла их чувство собственной значимости. В Германии в то время была иерархическая структура общества, низы были представлены рабочим классом, а наверху в этой иерархии находился Кайзер; а в рамках университетов существовала своя иерархия. И если простой иностранец, не имеющий своего места в этой системе, выступал против целой школы немецких научных Geheimrats¹, это был скандал, не поддающийся никакому описанию. Отец, будучи крайне чувствительным человеком, не мог не ощущать той атмосферы, что сгустилась вокруг него.

До того периода времени отец всегда глубоко восхищался немецкой культурой и немецкой системой образования. Хотя ему всегда были непри-

¹Тайные советники (*нем.*)

ятны милитаризм и чиновничество, развившиеся со времен его молодости, в общем и целом он был немецким либералом середины последнего столетия. На его развитие оказали параллельное влияние русское толстовство и Германия, и в нем они не вызывали противоречий. Он в течение многих лет ждал момента, когда сможет вернуться в Германию, и будет принят как великий ученый среди немецких деятелей науки. Когда этого не случилось, он почувствовал себя отверженным, а может, просто непринятым, и его страстные желания обратились в ненависть, которая была столь же горька, как и ненависть по поводу утраченной любви.

Мои сестры были соответствующим образом устроены в хорошие школы. Я не помню, через что в музыкальном и художественном образовании прошла моя сестра Констанс прежде, чем она решила работать в школе художественного промысла. Берту отправили в модную и уважаемую школу для девочек, Institut Savaute, где она делала успехи в своем общем образовании и в понимании Германии. Я не совсем хорошо помню, чем занимался Фриц в период учебного года.

В то время я уже был достаточно взрослым, чтобы быть принятым отцом в качестве друга. Мы вместе ходили на различные лекции и на встречи за кружкой пива, где обсуждались интересные предметы. Я помню одну из таких встреч, посвященную миру и пониманию во всем мире, на которой выступал Давид Старр Джордан, знаменитый ихтиолог и президент университета в Стэнфорде. Я помню, что пил пиво и чувствовал себя очень взрослым среди немецких студентов.

Время от времени родители брали меня с собой в Плещ и другие кабаре; с сестрами я часто ходил в кино, в котором только что стали появляться признаки последних достижений в кинематографе. Также изредка я посещал ярмарки и исторические музеи. Однако особую радость во мне вызывали посещения Немецкого Музея: музея науки, техники и промышленности. Часть экспонатов были историческими и устарелыми; но музей был мировым лидером в демонстрации методов научных экспериментов, которые посетитель мог проводить сам за защитным стеклом, дергая за веревочки или поворачивая регуляторы. Там были приятные пожилые зрители, готовые всегда оказать услугу посетителю и продемонстрировать ему любопытные вещи, не выставляемые для общего обозрения. Я запомнил особенно одного из них, который был весьма добр ко мне; он знал несколько слов по-английски, и у него был приятный баварский акцент.

В Немецком Музее была чрезвычайно современная научная библиотека; там я с прилежным усердием читал различные книги, рекомендованные

мне Расселлом. Среди них я помню статьи Эйнштейна в оригинале. Я уже говорил, что Расселл был одним из первых философов, признавших огромное значение работы Эйнштейна в тот *annus mirabilis*¹ 1905, когда он создал теорию относительности, решил задачу броуновского движения и разработал квантовую теорию фотоэлектрических явлений.

Еще одним приятным воспоминанием о тех каникулах был Английский Сад, несмотря на то, что была зима, и он был занесен снегом. Я помню катающихся на коньках людей на пруду рядом с китайской пагодой. В то время я не знал, что Английский Сад был разбит согласно планам янки из Новой Англии из города Уобурн, штат Массачусетс, великим и сварливым Бенджамином Томпсоном, графом Рамфордом и казначеем Бенедикта Арнольда.

Я вернулся в Кембридж в январе. В этом городе я уже чувствовал себя почти как дома и не так одиноко, как прежде. Я продолжал заниматься философией и математикой и начал писать вторую статью для Кембриджского Философского Общества. На этот раз я попытался использовать термины из *Principia Mathematica* для описания ряда качеств, обнаруженных в цветовой пирамиде и не рассмотренных в трактовании ряда Уайтхедом и Расселлом, поскольку они не были бесконечно растяжимыми в обоих направлениях. Я посчитал необходимым дать логическую трактовку систем измерения в присутствии пороговых величин между результатами наблюдений, разница между которыми была едва заметна. В статье я использовал некоторые идеи, имеющие отношение к идеям профессора Уайтхеда, который в то время был в Лондонском университете и который лишь совсем недавно использовал новый метод определения логических единиц как построений из единиц примитивной системы, не обладающей какими-либо специфическими свойствами, вместо определения их как объектов системы аксиом. Я обратился к профессору Уайтхеду с просьбой о встрече и навестил его в его доме в Челси, где познакомился со всей его семьей. В то время я и не предполагал, что профессор Уайтхед закончит свою длительную и полезную деятельность в качестве моего соседа в Гарвардском университете, и что позже я в качестве очень неумелого ученика его дочери буду изучать некоторые элементарные основы искусства скалолазания на скалах Голубых Холмов и в карьерах Квинси.

Я намеревался завершить учебный год в Кембридже, но оказалось, что Расселла пригласили в Гарвард на время второго семестра, и потому,

¹Выдающийся год (*лат.*)

оставаясь в Кембридже на весенний семестр, я бы занимался пустым времяпрепровождением. По совету самого Расселла я решил закончить учебный год в Геттингене, изучая математику у Гильберта и Ландау, а философию у Гуссерля. Я вернулся в Мюнхен на каникулы между двумя последними семестрами. Отец уже уехал в Соединенные Штаты, где он утешился в компании нескольких молодых коллег с отделения немецкого языка, но мать и остальные члены нашей семьи все еще оставались в Мюнхене.

В тот год я прочел, что Гарвард предлагает ряд призов за эссе, написанные студентами, как старшекурсниками, также и аспирантами. Я выяснил, что имею право принять участие в соревновании на один из призов Боудон (Bowdoin) и послал эссе довольно скептического содержания, которое я назвал «Наивысшее Благо» («The Highest Good»). Оно предполагалось как опровержение или, в любом случае, как отрицание всех абсолютных этических норм. Ни как сочинение, ни как философское эссе оно не произвело большого впечатления на Барлетта, но как бы там ни было, я выиграл один из призов. Я совершенно уверен, что сэр Фредерик все еще рассматривает этот случай скорее как один из недостатков Гарварда, а не как мой личный успех.

Мой отъезд из Англии был омрачен очень неприятным инцидентом с моей домовладелицей. Когда отец договаривался с ней, он думал, что я буду жить у нее в течение одного семестра или меньше. Однако по обычаю, заведенному в Кембридже, семестр имеет конкретно обозначенную продолжительность, и он длиннее периода времени, известного как полный семестр, во время которого студенты должны иметь жилье, и все контракты по найму жилья заключаются или заключались на более долгий период времени. Когда стал подходить к концу второй семестр, моя домовладелица стала настаивать на таком контракте. Сначала она требовала, затем стала давить на меня, а от давления перешла к оскорблениям. Моя ответная реакция лишь ухудшила ситуацию. Один из моих друзей-аспирантов, к кому я обратился за советом, предложил устроить небольшой беспорядок; но несмотря на то, что я был глуп, я не был глуп настолько. Когда я попытался вынести один из моих чемоданов из дома на себе, домовладелица завладела другим; и когда я обратился в полицию с просьбой помочь мне получить назад мою собственность, мне заявили, что это гражданское дело, и что полиция не может ничего поделать в такого рода делах.

Я жил на очень маленькую сумму, так что после того, как я заплатил домовладелице необходимую сумму, чтобы выкупить чемодан, я обнаружил, что у меня не хватает денег, чтобы добраться до Мюнхена. Я занял

небольшую сумму у привратника здания «Юниона». Из чувства стыда я занял слишком маленькую сумму. В результате, сидя в поезде, направлявшемся в Мюнхен, я был вынужден решать съест ли мне сэндвич с сыром на завтрак и остаться без обеда или наоборот. Я не помню, что я предпочел. Все закончилось тем, что я сошел с поезда в Мюнхене, не имея ни одной монетки в кармане. К счастью в камере хранения нужно было платить за багаж, когда забираешь его, поэтому я оставил багаж на вокзале и пешком отправился на нашу квартиру.

В квартире я обнаружил, что ситуация сложилась довольно критическая. Едва заметная неприязнь между домовладелицей и матерью после того, как отец уехал и больше не мог помогать своими знаниями немецкого, переросла в крупную ссору. Мать отправилась на поиски жилья, и после огромных усилий нам удалось найти квартиру в пригороде, почти рядом с северной частью Английского Сада. Здесь мы обрели полный покой.

XV

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ СТУДЕНТ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1914–1915

После проведения нескольких дней в Мюнхене я отправился в Геттинген до начала семестра, чтобы принять участие в психологическом конгрессе, который должен был там состояться, и повидаться с моим старым приятелем Эллиоттом, гарвардским психологом, приехавшим для участия в этом конгрессе. Я немного помню о конгрессе, но город, окруженный почти полностью старыми стенами, показался мне приятным, своего рода жемчужиной средних веков.

За смехотворно, по моим понятиям, маленькую сумму я был зачислен в университет и начал искать жилье и вегетарианский ресторан, где я смог бы обедать. Я нашел меблированную комнату сразу же за стеной города в доме фройлен Бушен. Это была вилла наполовину из дерева в швейцарском стиле, а моя комната, хотя и темная, была неплохой. Фройлен Бушен, преподававшая музыку, занималась деловыми вопросами в семье. Она справлялась с этим весьма компетентно, оставив проблемы, связанные с завтраками и другими домашними нуждами, своей сестре, не стремившаяся к почтительному вниманию со стороны общества, на которое претендовала преподавательница музыки. Где-то рядом с семьей крутился малоприметный брат, выучившийся в свое время на дантиста, но похоже, не занимавшийся этой врачебной практикой.

Я помню одну из вечеринок, устроенную Бушенами для студентов, проживавших у них, на которую пришли несколько симпатичных девушек, живших по соседству. Я хорошо помню, насколько глубоко я, истинный представитель Новой Англии, был шокирован, когда обнаружил, что вся компания, и мужчины, и женщины курили сигареты и пили гораздо больше, чем это требовалось для легкого опьянения.

Я нашел для себя вегетарианский ресторан на Театрштрассе в доме фрау Бауэр. Она была вдовой с целым выводком дочерей самого разного

возраста, помогавших ей на кухне. Девочки ожидали клиентов за столом обычно босые, поскольку вегетарианство не было единственным, в чем семья фрау Бауэр отличалась от остального общества. Они придерживались новых поветрий в одежде, принадлежали к молодежному движению, имели заскоки в отношении здорового образа жизни, а также были антисемитами. Именно в их ресторане я впервые увидел ту ужасную газету *Hammer*¹, содержащую уже в то время всю ту ложь и все то богохульство, которые в более поздний период распространялись Гитлером и Геббельсом и привели к таким страшным последствиям.

Несмотря на фанатизм, семья Бауэр была не такой уж плохой. У них была вкусная и дешевая еда, и как люди они были вполне дружелюбны. Они подавали нечто, приготовленное из овсяных хлопьев и имеющее непривлекательное название *Naferschleimsuppe*, что означало «вязкий суп из овса». Он был недорогим и сытным.

Мне любопытно, понимали ли бедные Бауэры, что за змей они пригрели на своей груди в моем лице и в лице молодого шотландского физика-математика по имени Хайман Леви, который сейчас является выдающимся профессором в Империи Колледже науки и техники в Лондоне, и несмотря на его безупречный акцент жителя Глазго, он, как и я, является тем, кем должен быть согласно своему имени; и вот мы, два сына еврейского народа, находясь в опасности, игнорировали ярость антисемитских газет, что были разбросаны вокруг нас, и обедали, да что уж там, наслаждались дешевой и сытной едой, приготовленной для нас. Когда я думаю, что в придачу к своему еврейскому происхождению профессор Леви стал еще и оплотом левых в политической структуре Англии, я представляю, как старая мамаша Бауэр, если, конечно, она уже умерла, переворачивается в своей могиле.

В ресторане Бауэров обслуживали очень медленно. Мы обычно несли наши тарелки к кухарке на кухню, и она наполняла их, черпая из кастрюль, что стояли на плите. Такая неофициальность была допустима, поскольку все мы представляли бесшабашную, безденежную смесь немцев и американцев, британцев и русских, и многих из нас, вовсе не имеющих никаких пунктиков в отношении диеты, привлекали низкие цены. Там же мы обычно читали свои газеты.

Кнеірен или вечеринки немецких студентов хорошо известны. Мы, англичане и американцы, также имели свои Кнеірен, когда встречались два отдельных общества, членам которых нравилось проводить время за трапезой,

¹Молот (нем.)

и которые были известны как английская и американская колонии. Руководителей этих двух колоний называли Патриархами, и Леви был британским Патриархом. Оба клуба занимали помещение, находившееся над рестораном «Францисканер». Поддача пива была постоянной и непрекращающейся, а пол имел такой наклон, что ходить по нему было трудно, даже не нагружившись пивом. У нас на оба общества было пианино и Kommersbuch — песенник немецких студентов, а также песенник шотландских студентов, который был личной собственностью Леви. Наши встречи были долгими, наполненными пивом и гармонией. Мы отдавали дань уважения земле, которая приютила нас, а также землям, которые воспитали нас, распевая песни то на английском, то на немецком. Наши вечеринки были самыми буйными в городе, и пару раз нам приходилось оставлять насиженные места из-за протестов владельцев или полиции.

Среди нас был один человек, чью фамилию я не стану называть из уважения к его семье и родственникам, поскольку кто-то из них может быть все еще жив, хотя ни один из современных жителей Геттингена никогда не сможет простить его. Я буду называть его Эрли, хотя это не его настоящее имя. Эрли был сыном американского издателя книг с текстами гимнов, и похоже, что у него было намерение своим поведением вернуть себе доброе имя семьи. Он был женат, и его жена и юная дочь сочувственно относились к встречам объединенных колоний. Эрли искал по всему миру теплое местечко, где он смог бы поселиться, и его выбор пал на Геттинген. Каким-то непонятным образом ему удалось поступить в университет, студентом которого он был на протяжении вот уже десяти лет, хотя я ни разу не слышал, чтобы он записался или посещал какой-либо из курсов. Когда кто-либо из американских студентов предпринимал вылазку в соседний город с целью более, чем сомнительной, именно Эрли становился его проводником, другом и философом.

Я должен признать, что все это было лишь незначительным проявлением его личности. Серьезной же целью его жизни была выпивка. Ни одна встреча объединенных колоний не проходила без того, чтобы еще до ее окончания он не напился до потери сознания, и кто-нибудь из нас должен был сопровождать его до дома. Я полагаю, что он приносил свои глубокие извинения за эти случаи; на самом деле в нем действительно было что-то, свойственное людям с хорошим воспитанием и происхождением.

Когда я снова приехал в Геттинген в 1925 году, Эрли там уже не было, но слава о нем продолжала жить. Мне рассказывали, что он неплохо жил до первой мировой войны, но к тому моменту, когда разразилась война, его

семья смогла вернуть его домой. Если принять во внимание, сколько ему было лет в ту пору, и какой образ жизни он вел, должно быть, его уже давно нет в живых. Однако этот тип людей неистребим; и в какие бы времена не собирались вместе студенты, и если вокруг них возникала уютная и приятная атмосфера, там всегда будет присутствовать вредоносное существо — вечный студент. Я пишу эту главу в комнате отеля на бульваре Сен-Жермен в Париже. В данный момент за углом десятки таких Эрли попивают свой аперитив в кафе «Флор» («Flore») и «Де Маго» («Deux Magots») и пытаются приобщить более серьезных молодых людей к своему образу жизни.

У меня были самые разные знакомства в Геттингене. Я помню одного студента, который вырвался из рук имперской русской полиции, изучавшего психологию в силу своей профессиональной деятельности. Еще один из моих знакомых из круга философов был очень умным русским евреем. Однажды мы были на маленькой вечеринке в доме домовладельца, у которого снимал жилье этот самый русский еврей; домовладелец был главным лесничим в отставке с резким характером, который естественным образом ассоциировался с его прежней профессией. Я не помню всего, что мы обсуждали, но мой друг-философ попросил меня рассказать немного о работе Бертрана Расселла. После того, как я сказал несколько слов, мой приятель выпалил: «Но он не принадлежит ни к какой школе».

Для меня это было серьезным потрясением: судить о философе не по тому, что заложено в его работе, а по компании, к которой он принадлежит. И кстати, это было не в первый раз, что я сталкивался с эдакой научной стадностью, которая в те времена была общепринятой в Германии и которую можно было наблюдать и в других странах, но мне серьезно никогда не приходилось наткнуться на первоклассный пример такого рода педантизма. Я столкнулся, и это правда, с коллективным манифестом американских новых реалистов. Но слабость этой группы была настолько очевидна, что, по моему мнению, их солидарность и взаимная эмоциональная поддержка вызывали ассоциацию с группой студентов колледжа, вернувшихся домой после волнующего вечера, которому предшествовал великолепный футбольный матч: они в буквальном смысле не могли выстоять одни.

И все же, когда я увидел подобное явление в Германии, это было похоже на нечто большее, чем просто группа, поддерживающих друг друга единомышленников. Под этим ясно читалось, что привилегия думать для любого человека зависела от того, были ли у него правильные друзья. Позже, когда мне пришлось вернуться в Соединенные Штаты, я обнаружил, что имел неправильных друзей. Я учился с великими людьми, но они ничего

из себя не представляли на американской сцене. Отделение математики в Гарварде не приняло бы меня, поскольку, в основном, я изучал математику в Кембридже и Геттингене. Когда открывшееся после войны отделение в Принстоне стало набирать свои кадры, я уже почти полностью превратился в одинокого волка, чтобы кому-то пришло в голову пригласить меня туда. Эти два университета (вместе с университетом в Чикаго) на самом деле никогда не впадали в крайности, присущие университетам Германии, если говорить о корпоративной изоляции, но они добросовестно попытались это сделать.

Я посещал курс теории типов, который читал профессор Ландау, и курс по дифференциальным уравнениям под руководством великого Гильберта. Несколько позже, когда я более глубоко познакомился с литературой по математике и с методами математического исследования, я стал лучше понимать этих двух профессоров. Гильберт был поистине величайшим гением математики, каковых я когда-либо знал. Его экскурсии от теории чисел к алгебре и от интегральных уравнений к основам математики охватывали практически все, что было открыто в математике. Именно в его работе можно было найти полный набор методов и инструментов; тем не менее, он всегда превыше всего ставил фундаментальные идеи. Он был не столько экспертом в манипуляции, сколько великим мыслителем в математике, и его работа была ясной и понятной, потому что ясным и понятным было его видение. Он практически никогда не зависел от чистого эксперимента.

Ландау, напротив, был несостоявшимся шахматистом. Он полагал, что математику необходимо представлять как последовательность положений, аналогичную передвижению фигур на шахматной доске, и он не верил в часть математики, поддающуюся выражению без помощи символов, состоящую из идей и стратегии. Он не верил в математический стиль, и как следствие всего этого его книги, хотя и весьма содержательные, напоминают Sears-Roebuck каталог.

Интересно сравнивать его книги с работой Харди, Литтлвуда или Гаральда Бора, каждый из которых писал в культивированной манере зрелого человека. Ландау же обладал исключительным интеллектом, но у него не было ни вкуса, ни рассудительности, ни философского мышления.

Невозможно рассказывать о Геттингене того времени без того, чтобы не вспомнить о Феликсе Кляйне, но по той или иной причине я не познакомился с ним в течение того семестра, когда там жил. Я склонен полагать, что или его не было в городе, или же он был болен. Когда позже я познакомился с ним в 1925 году, я нашел его очень больным на самом деле:

мрачный человек с бородой, колени которого прикрыты одеялом, он сидел в своем великолепном кабинете и рассуждал о математике прошлого, как если бы он был Поэтом истории математики. Он был великим математиком, но к тому времени в своей специальности он представлял собой скорее Geheimrat, старейшину математики, чем человека, рождающего математические идеи. В нем было что-то от короля, что давало надежду тем, кто стремился сделать карьеру в сфере американской математики, что они тоже могут стать королями, если последуют по его пути, и если они со всем тщанием будут подражать его манерам (то, как он срезал кончик сигары перочинным ножом), как будто внимательное наблюдение за этим ритуалом каким-то волшебным образом могло способствовать их продвижению по пути к славе. Много лет спустя я сделал открытие, что два поколения гарвардских математиков обучились этой манере именно у него.

Кроме этих двух математических курсов я ходил на занятия профессора Гуссерля по философии Канта и на его семинар по феноменологии. Курсы по философии почти не произвели на меня впечатления, поскольку мой немецкий был недостаточно хорош для понимания тонкостей философского языка. В то время я вынес кое-что из математических курсов, но еще больше из своего рода интеллектуальных размышлений, которые позволяют по прошествии какого-то времени осознать важность того, что уже слышал, но не до конца понял.

В моем научном образовании еще большую роль, чем курсы по математике, сыграли математический читальный зал и Математическое Общество. Читальный зал содержал не только то, что, вполне вероятно, было полным собранием книг по математике, какие только существовали в мире, но там были также и копии отдельных журналов, которые Феликс Кляйн получал на протяжении многих лет. Рыться в этих книгах и журналах было поистине приятным занятием.

Математическое Общество обычно собиралось в комнате для проведения семинаров, где столы были завалены последними номерами всех математических периодических изданий, выпускаемых во всем мире. Гильберт был председателем, а профессора и подающие надежды студенты сидели рядышком. Как студенты, так и профессора принимали участие в зачитывании работ, и обсуждение было свободным и критичным.

После заседаний мы прогуливались через весь город к кафе Рона, находившемуся в красивом парке на вершине холма, возвышавшегося над городом. Там мы выпивали по кружке пива или чашке кофе и обсуждали самые разные математические идеи, как наши собственные, так и те, о которых

прочли в литературе. Так я познакомился с молодыми людьми такими, как Феликс Бернштайн, который сделал замечательную работу по теории Кантора, маленький Отто Сас, носивший туфли на высоких каблуках и колючие рыжие усы. Сас стал мне близким другом и защитником, и я счастлив, что позднее, когда наступил гитлеровский режим, я смог помочь ему обосноваться в Соединенных Штатах.

Такая комбинация научной и общественной жизни на *Nachsitzenungen*¹ в кафе Рона на холме была весьма привлекательной для меня. Эти встречи чем-то напоминали встречи в Гарвардском Математическом Обществе, но здесь более пожилые математики были более великими, а молодые были более способными и полны энтузиазма и общение было более свободным. Заседания Гарвардского Математического Общества по сравнению с заседаниями в Геттингене были как безалкогольное пиво по сравнению с крепким пойлом жителя Мюнхена.

Примерно в это время я впервые испытал, что такое сконцентрированная, полная страсти работа, которая необходима для нового исследования. У меня была идея, что метод, уже использованный мной для получения ряда более высоких логических типов из точно не определенной системы, можно было бы использовать для установления чего-то, чем можно заместить аксиоматическое трактование для широкого класса систем. У меня появилась идея обобщить значения транзитивности и взаимозаменяемости, что уже было использовано в теории ряда, для систем с большим числом измерений. Я переваривал эту идею в течение недели, отвлекаясь от работы только ради того, чтобы проглотить кусочек черного хлеба с тильзитским сыром, который я покупал в магазине деликатесов. Вскоре я понял, что у меня получается что-то интересное; но неразрешенные идеи были истинной пыткой для меня до тех пор, пока я не запишу их и не выведу из своей системы. Получившаяся в итоге статья, которую я назвал «Исследования по синтетической логике» («*Studies in Synthetic Logic*»), представляла собой одну из лучших частей моих ранних исследований. Она появилась позже в «Трудах кембриджского философского общества» («*Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*») и послужила основой для курса «Обучающие лекции» («*Docent Lectures*»), которые я читал в Гарварде годом позже.

Математика слишком трудна и непривлекательна для тех, кто не способен понять то великое вознаграждение, которое она может дать. Это

¹Посиделки (нем.)

вознаграждение по характеру похоже на вознаграждение, получаемое художником. Когда видишь, как трудный, неподдающийся материал принимает живую форму и значение, начинаешь ощущать себя Пигмалионом, неважно, имеешь ли дело с камнем или с жесткой, камнеподобной логикой. Видеть, как туда, где не было ни значения, ни понимания, вливаются значение и понимание, это подобно работе в содружестве с творцом. И никакая техническая точность, никакой физический труд не смогут заменить этот творческий момент ни в жизни математика, ни в жизни художника или музыканта. Это неразрывно связано с представлениями о ценностях, которые совершенно идентичны представлениям о ценностях, присущих художнику или музыканту. Ни математик, ни художник не смогут сказать вам, в чем различие между значительной работой и мыльным пузырем; но если он не способен определять это в глубине своего сердца, то он не художник и не математик.

Имея дар к творчеству, человек творит на основе того, чем обладает. Что касается меня, то, чем я располагаю, и что я нашел полезным к применению — это обширная и устойчивая память и подвижное, подобное калейдоскопу, воображение, благодаря которому до определенной степени я способен видеть всю последовательность возможностей довольно сложной научной работы. Огромное напряжение, оказываемое на память в работе, связанной с математикой, для меня выражается не столько в попытке удержать в фокусе внимания огромное количество фактов из литературы, сколько в том, чтобы удерживать возникающие одновременно аспекты определенной проблемы, над которой я работаю и превращать мои мимолетные ощущения в нечто достаточно постоянное, чтобы они заняли свое место в памяти. Я обнаружил, что если бы я был способен объединять все мои прошлые идеи, связанные с проблемой, в единое ясное ощущение, то проблема становилась бы наполовину решенной. Остается лишь отбросить те аспекты этой группы идей, не имеющие отношения к решению проблемы. Такое отбрасывание нерелевантного и очищение релевантного я могу делать лучше всего в те моменты, когда у меня остается минимум посторонних ощущений. Очень часто, похоже, такие моменты возникают, когда я просыпаюсь; но, вероятно, на самом деле это означает, что именно ночью я прохожу через процесс концентрации, которая необходима для четкого обозначения моих идей. Я совершенно уверен, что, по крайней мере, часть этого процесса может происходить во время того, что принято называть сном и в виде сна. Вероятно, более подходящим для этого было бы так называемое близкое к гипнотическому состояние, в котором ожидается засыпание, и оно

часто ассоциируется с гипнотическими образами, имеющими сенсорную плотность галлюцинаций, но которыми, в отличие от галлюцинаций, можно манипулировать до определенной степени посредством воли субъекта. Полезность этих образов в том, что в работе, где основные идеи еще недостаточно разграничены, чтобы легко и естественным образом обратиться к системе обозначений, они снабжают некой импровизированной системой обозначений, способных помочь человеку продвигаться до определенной стадии, где можно применить обычную систему обозначений. И действительно, я обнаружил, что существуют другие ментальные элементы, которые с легкостью включаются в использование в качестве предварительной системы обозначений при формировании идей в математике. Однажды во время приступа пневмонии я был в бреду и испытывал сильную боль. Но галлюцинации, порожаемые моим бредом, и реакция на боль вызвали в моем разуме ассоциации с некоторыми трудностями все еще преследовавшими меня в одной неполностью решенной проблеме. Я идентифицировал мое страдание с очень реальным беспокойством, испытываемым человеком, когда группа идей должна хорошо подходить друг другу, и все же не подходит. Такая вот идентификация прояснила проблему в достаточной мере для того, чтобы я смог преуспеть в ней по-настоящему во время моей болезни.

И все же моя жизнь в Геттингене не была только научной работой. Мне нужны были занятия на воздухе, и поэтому я совершал прогулки с моими английскими и американскими коллегами в лес к югу от Геттингена и в район ГанOVER – Мюнден. То, что я любил есть на обед, может показаться неудобоваримым, но все это было освежающим и вкусным: сэндвич с тильзитским сыром, консервированный укроп, стакан светлого пива и малиновое мороженое.

В Геттингене было много интересного. На реке Лайн рядом с нашим любимым местом для плавания стояла мельница, где проводились ярмарки; нам нравилось смотреть интермедии и слушать зазывал, которые в этом незнакомом мне окружении вызвали воспоминания о ярмарках в Новой Англии. Я помню разные сорта пива, которые я украдкой пробовал из местного автомата, и купальни с разными видами ванн и огромными полотенцами хорошего качества. Я помню двухчасовые занятия и маленький буфет, где мы покупали сэндвичи и сухое печенье в пятнадцатиминутный перерыв.

Летний семестр подходил к концу, и приближающаяся буря Первой мировой войны уже возвестила о себе в газетах, сообщавших об убийстве в Сараево. Последовавшие за этим событием неловкие действия дипломатов не снизили всеобщей напряженности. К счастью, я планировал вернуться

в Америку, и я уже заказал место в третьем классе на пароход Гамбург–Америка.

В Геттингене я приобрел много полезного для себя. Моя связь с философами была не особенно удачной. Я не обладаю складом философского ума, позволяющим человеку чувствовать себя комфортно среди абстракций, если только к ним уже не проложен мостик от конкретных наблюдений или вычислений в какой-либо области науки. Я также мало получил на официальных курсах математики. Курс по теории типов Ландау напоминал трудное продираание сквозь массу деталей, к которым я не был подготовлен. Из курса Гильберта по дифференциальным уравнениям мне были понятны лишь отдельные его части, но эти части произвели на меня огромное впечатление, благодаря присутствующей в них научной мощи и интеллекта. Пожалуй лишь заседания нашего *Mathematische Gesellschaft*¹ научили меня тому, что математика не только предмет для изучения, но и предмет для обсуждения, и можно даже жить ею.

Кроме всего этого в Геттингене я научился знакомиться с людьми, с такими же, как я, и с теми, что на меня не похожи, а также ладить с ними. Это ознаменовало большой шаг в моем социальном развитии. Итог был таков, что покидая Германию, я был гражданином мира в гораздо большей степени, чем тогда, когда я приехал сюда впервые. Я говорю это совершенно искренне, хотя не все аспекты жизни в Геттингене были мне по нраву, а во время войны, которая разразилась тотчас же после моего отъезда, я определенно был настроен против Германии. И все же, когда я вернулся в Германию в смутные времена между 1919 годом и началом гитлеровского режима, несмотря на отчуждение, испытываемое мною в связи с политическими вопросами, я почувствовал в ней присутствие некоего большого научного элемента, с которым я имел общую основу, благодаря прошлому опыту, и это позволяло мне ощутить себя частью Германии.

Мой год учебы в Корнелле и два года на последних курсах в Гарварде, когда я изучал философию, представляли собой продолжение моих юношеских лет и мое постепенное вхождение в самостоятельную научно-исследовательскую работу. Эти годы были удовлетворительными с точки зрения моего интеллектуального развития, но я по-прежнему не видел выхода из Трясины Отчаяния². Я полностью сознавал, впрочем, как и все вокруг меня, то, что путь вундеркинда усеян ловушками и западнями, и в то время,

¹Математическое Общество (нем.)

²Цитата из Дж. Беньяна «Странствования паломника». — *Прим. пер.*

как я знал наверняка, что мои чисто умственные способности были выше среднего уровня, я в то же самое время понимал, что обо мне будут судить в соответствии с нормами, согласно которым, мой скромный жизненный успех будет рассматриваться как неудача. Таким образом, мне не удалось избежать затруднительных ситуаций, обычно сопутствующих юности; и хотя попытки выбраться из этих затруднений были на гораздо более высоком интеллектуальном уровне, чем у большинства подростков, они представляли собою чаще, чем обычно, жестокую и полную сомнений борьбу с силами, символизирующими мою неуверенность и неадекватность.

Именно год жизни сначала в Кембридже, а затем в Геттингене дал мне мое освобождение. Впервые я мог сравнить себя в интеллектуальном отношении с теми, кто был не старше меня по возрасту и кто, между прочим, представлял собою сливки части европейского и даже мирового общества, принадлежавшей к сфере науки. Я также подвергся изучению со стороны высокочтимых людей, какими были Харди, Расселл и Мур, наблюдавших меня без ореола, отбрасываемого моим ранним развитием, и без того порицания, которое было неотъемлемой частью того времени, когда я переживал особо сильное смятение души. Я не знаю, считали ли они меня необыкновенно одаренным, но, по крайней мере, они (или некоторые из них) рассматривали мою карьеру как нечто совершенно обоснованное. Я уже не был под непосредственной опекой отца, и мне не надо было оценивать себя, глядя на себя его глазами. Короче говоря, я был посвящен в более великий мир международной науки, и оставалась надежда, что я смогу что-то совершить в ней.

Все время я учился, как вести себя в обществе, и изучал требования, которые необходимо соблюдать, когда живешь среди людей, имеющих другие обычаи и традиции. Мое обучение в Германии ознаменовало собой еще больший отрыв от моего детства, а также большую необходимость в умении адаптироваться к чужим нормам, или по крайней мере, избегать прямых столкновений с ними.

Конфликт в Сараево постепенно перерос во всеобъемлющее противостояние. К тому моменту, как я прибыл в Гамбург, на улицах появились плакаты, призывающие всех австрийцев, подлежащих призыву в армию, вернуться на родину. Город был переполнен, и в *Christliches Hospiz*¹, где я остановился, мне смогли предложить лишь место в ванной комнате в доме для obsługi, который был пристройкой к главному зданию. Ночью я

¹Странноприемный дом (нем.)

услышал пение на улицах и подумал, что началась война; но она пока не началась, и я до рассвета бродил вокруг пруда.

Я сел на поезд до Куксгафена, где я пересел на Цинциннати, пароход, принадлежавший компании Гамбург–Америка Лайн. Полтора дня спустя я увидел мобилизующийся британский флот в Спитхехе, а через два дня после этого мы получили сообщение, что между Германией и Англией началась война, и что радиостанция закрылась. Когда мы направлялись в Бостон, мы не знали, удастся ли нам завершить наш путь, и однажды промелькнул слух, что мы, возможно, плывем на Азорские острова. Однако положение солнца показывало, что это не так, и что мы, как и предполагалось, плыли в Бостон. Этот корабль позднее был поставлен в одном из бостонских доков до тех пор, пока Соединенные Штаты не стали принимать участие в войне, после этого его использовали в качестве американского транспортного средства, а еще немного спустя он был торпедирован немцами.

Мой отец встретил меня на корабле, испытал огромное облегчение, увидев меня целым и невредимым. Мы вместе сели на поезд в Нью-Гемпшир. Я заметил, что отец относился ко мне с большим уважением, чем прежде: как к взрослому человеку. Во время нашего путешествия мы говорили о войне. Я был удивлен обнаружить, насколько однозначным было мнение отца и университета, который он представлял, против Германии.

Сообщения о войне были плохими. Мы надеялись на быстрое окончание войны, но германские войска все глубже и глубже проникали на территории Фландрии и Франции, и даже когда маршалу Жоффру удалось одержать временную победу в Марнском сражении, было ясно, что нас ожидала долгая, отчаянная и непонятная война. Именно тогда дети моего поколения осознали, что мы родились слишком поздно или, вполне вероятно, слишком рано. В 1914 году Санта Клаус умер. Мы предполагали, что жизнь и есть тот кошмар, что был описан в произведениях Кафки, очнувшись от которого, еще яснее осознаешь, что этот кошмар — реальность, или же реальность — еще более страшный кошмар.

Я написал Бертрану Расселлу, чтобы узнать, стоит ли возвращаться в Кембридж на следующий учебный год, поскольку в Гарварде мне снова была выдана стипендия на 1914–1915 академический год. Он ответил, что будет более безопасно и желательно, если я закажу билет из Нью-Йорка на старый корабль, принадлежавший Американ Лайн. Он был построен во времена, когда еще устанавливали вспомогательный парус, и его нос был как у яхты, и у него также был бушприт. Все это казалось мне очень романтичным.

Мои две тетушки, преуспевавшие в то время в торговле одеждой на мировом рынке и много времени проводившие в Париже, провожали меня в Нью-Йорке. Путешествие было долгим, но приятным. Вместе со мной на борту корабля были молодые люди, которые пытались забыть о войне. Мы играли в подобие гольфа с помощью палочек и дисков для шаффлборда, рисуя мелом отверстия на палубе и используя вентиляторы, крепежные планки и рубку в качестве искусственных препятствий. Там была пожилая пара из Австралии, с умилением наблюдавшая за нашим баловством. У себя дома они управляли чем-то вроде сельскохозяйственной школы. Позже мне пришлось встретиться с ними в мрачном военном Лондоне, и их сердечность была большим утешением для меня.

Таким образом, я прибыл в Кембридж во время войны. Атмосфера была мрачной и тяжелой. Часть зданий, располагавшихся на задворках университета, была превращена в импровизированные военные госпитали для раненных солдат. На всех пустынных пространствах на территории университета были выстроены уродливые хибарки-временки, казавшиеся более постоянными, чем что-либо, заранее спланированное как постоянный объект.

В «Юнионе» постоянно вывешивались списки убитых, и отчаявшиеся отцы и братья читали их с надеждой, что в них нет имен кого-либо из их семей, и все же ожидая, что рано или поздно фамилии их родных могут появиться в них. Журнал Блэквуда печатал ежемесячно отрывки из книги Йена Хэя Бейта «Первые сто тысяч» («The First Hundred Thousand»), рождавшей в нас ощущение непосредственной близости войны и нашей к ней причастности.

Военные новости были печальными и зловещими. Мои друзья и коллеги с трудом могли со всей серьезностью заниматься своей научной работой, а темные улицы и выкрашенные в белый цвет края тротуаров усиливали общее настроение тоски и обреченности. В конце концов, до нас дошли слухи, что немцы собирались вскоре предпринять большую операцию на подводных лодках против торговых и пассажирских кораблей.

Мне было странно повсюду встречать солдат — в кинотеатрах, на улицах и даже в аудиториях университета — и думать о том, что будучи иностранцем я был защищен от участия в принесении всеобщей жертвы. Несколько раз я подумывал о том, чтобы записаться в армию, но меня останавливал тот факт, что, в конце концов, это была не моя война, и отправляться на нее до того, как родители смогут принять это, будет в некотором смысле серьезным предательством по отношению к ним. Кроме того, у ме-

ня было очень плохое зрение, и я был далеко не самым лучшим кандидатом в солдаты; также мне не хотелось приносить себя в жертву ради того, что касалось вещей, в которых я не был убежден до конца. Хотя несомненно я поддерживал в этой войне Англию и Францию, все же я не испытывал того праведного гнева, охватившего моего отца в силу целого комплекса переживаемых им эмоций, о которых я уже писал.

Я был под впечатлением от франкмасонства, присущего британскому правящему классу, представители которого, неважно каких политических мнений они придерживались, могли делиться знанием многих секретов, тщательно скрывааемых от прессы и общественности. Я был вынужден обратить на это внимание во время моего второго пребывания в Кембридже. Я имел привычку получать от моих родителей экземпляры старого бостонского Транскрипта, остававшегося, как и прежде, источником сверхреспектабельности и довольно достоверной информации. В одном из номеров я прочел о затонувшем британском крейсере «Отважный». В британских газетах я не встретил ни одного слова касательно этого случая. Я отправился с этой новостью к Расселлу, и он мне сказал, что это известно с момента, когда это произошло, и что «Иллюстрированный Журнал Лондонские Новости» («Illustrated London News») опубликовал фотографию корабля с подписью «Фотография Отважного!» («Audacious») и никаких объяснений по поводу проявленной отваги.

Более того, кажется, Расселл был хорошо информирован относительно всех подробностей о войне, которые скрывались от широкой общественности. Хотя в этот период Расселл был чрезвычайно непопулярной фигурой среди официальных представителей Британского правительства. Он сознательно возражал против войны и был глубоко убежденным пацифистом; и когда позже Америка вступила в войну, он высказался относительно Американского правительства настолько враждебно, что его отправили в тюрьму и лишили права преподавать в Кембридже.

Для меня такое сочетание — быть занесенным в черные списки правительства и в то же время иметь право получать от своих официальных оппонентов информацию, которая была недоступна широкой общественности, — казалось признаком как стабильности Англии, так и уверенного положения ее правящего класса в то время.

К наступлению рождественских праздников я больше не мог выносить мрачной атмосферы Кембриджа, и я отправился в Лондон. Я нашел жилье и в меланхолии проводил время за чтением книг о Лондоне, при-

надлежавших моей домовладелице, и посещая упомянутые в этих книгах места, чтобы проверить, изменились ли они к тому времени. Я нашел своих австралийских друзей в отеле Блумсбери. Я также навестил еще одного гарвардского приятеля, с кем я подружился из-за философии, Т. С. Элиота, который, как мне кажется, выбрал для себя Оксфорд тогда, как я предпочел Кембридж. Я нашел его в меблированных комнатах Блумсбери, и мы с ним не очень весело провели время вместе за рождественским обедом в одном из ресторанов Лайонс. Я также повидался с Уайтхедами и убедился, что военные лишения не прошли мимо них.

Немного спустя после того, как я вернулся, я получил телеграмму от родителей, в которой они сообщали, что подводные лодки становятся настоящей угрозой, и что мне необходимо вернуться домой на самом первом корабле, отплывающем в Америку. В действительности Кембридж был практически закрыт, и оставаться там не имело никакого смысла. Я решил закончить свой учебный год в Колумбии, таким образом, я заказал билет от Ливерпуля до Нью-Йорка и отправился в печальное путешествие на поезде в Ливерпуль, сопровождаемый удручающими военными событиями. Мои соседями по купе была группа солдат-дизертиров, которые спрыгнули с поезда на первой же остановке еще до того, как мы прибыли на улицу Лайм, и прямо в руки военной полиции.

Мне приходилось зимой путешествовать по Атлантическому океану, и эти путешествия были такими же спокойными и приятными, как и в летнее время, но этот мартовский вояж был далеко не таким. Как только старое судно отправилось в путь, лишь юношеская жизнеспособность спасала меня от морской болезни на протяжении всего пути. Среди пассажиров выделялась семья беженцев из Бельгии, оставившая свое временное убежище в английском Кембридже, чтобы обрести более постоянное место для проживания в американском Кембридже. Профессор Дюпрье был выдающимся профессором в области права Римской империи в Ловене, и обаятельным джентльменом, но он был непрактичным маленьким ученым европейского типа. Практический ум семьи и жизнеспособность были представлены в лице его жены, величавой и открытой фламандки. У них было четверо детей, два мальчика и две девочки, которые были слишком юными, чтобы не испытывать удовольствия от приключений, сопровождающих путешествие, из-за переживаний по поводу того, что их страна потерпела поражение, и им пришлось покинуть родину. С этой семьей в течение нескольких последующих лет нам придется встречаться довольно часто.

Корабль прибыл в Нью-Йорк, где меня встретили нью-йоркские родственники. Я отправился в Бостон на несколько дней, чтобы проведать семью, а затем я вернулся в Нью-Йорк, чтобы завершить учебный год в Колумбийском университете, на который мне была выдана стипендия.

Высотные здания студенческих общежитий в Колумбии после Кембриджа и Геттингена показались мне подавляющими. Я также нашел жизнь в этом месте неудовлетворительной из-за отсутствия контактов и общности. Пожалуй, единственное, что объединяло профессоров, живших в многоквартирных домах в Юниверсити Хайтс, располагавшихся в самых разных местах, или в пригородных бунгало, это было почти всеобщее враждебное отношение к Николасу Мюррею Батлеру и ко всему, что он защищал.

Я не очень хорошо уживался с другими студентами в общежитии. Между нами не было интеллектуальной связи, и похоже, у меня вообще не было такта. Я упорствовал, критикуя тех, что имели больший опыт в области науки, и делал это не допустимым для своего возраста образом. Я важничал, выдавая какую-либо информацию, что не приветствовалось среди людей, окружавших меня, которые, в основном, были старшекурсниками. И правду говоря, я не всегда знал, что эта информация была особенно нежелательной. Я без приглашения садился играть в бридж, вторгаясь между уже устоявшимися группами близких друг другу игроков, даже не убедившись в том, а хотят ли они, чтобы я играл. Я должен был бы быть более чутким к тому, какую реакцию вызывало мое поведение. Они обычно досаждали мне тем, что поджигали газету, которую я читал, и другими подобными жестокими выходками.

Следуя совету Бертрانا Расселла, я учился под руководством Джона Дьюи. Я также посещал курсы других философов. В частности, я прослушал курс лекций одного из новых реалистов, но я лишь еще раз убедился в том, что неудобоваримая масса красноречия, извергнутая по поводу математической логики, совершенно была несовместима с каким-либо знанием, содержавшимся в ней.

Мой семестр в Колумбии был сдвигом к лучшему, но хотя я начал научно разрабатывать собственные идеи, от профессоров практически не получал никакой помощи. На самом деле имя лишь одного из них было поистине великим по сравнению с теми, кого я научился ценить в Кембридже и Геттингене, это был Джон Дьюи; и все же, полагаю, что я не получил от него того, что мог бы. Он скорее обращал внимание на слова, которыми оперировал, а не научное содержание: то есть его изречения нелегко было перевести на точный научный язык и передать математической системой

обозначений, с которой я познакомился в Англии и Германии. Будучи очень молодым, я ценил помощь и дисциплину жесткой логики и математических обозначений.

Примерно в то же время, когда я вернулся в Америку, мне сообщили, что отделение философии в Гарварде собирается попросить меня в следующем году занять место ассистента преподавателя, и что мне позволят прочитать курс «Обучающих лекций», что являлось прерогативой доктора философии. Таким образом, я приступил к подготовке моего курса обучающих лекций для Гарвардского университета.

Моя научно-исследовательская работа в Нью-Йорке представляла собой попытку создать аксиоматическую и конструктивную трактовку *analysis situs*¹ в области формирования понятий и терминов в рамках *Principia Mathematica* Расселла и Уайтхеда. Это было в 1915 году, за много лет до того, как Александер, Лефшец, Веблен и другие преуспели примерно в тех же вещах, которые я тогда пытался сделать. Я исписывал формулами страницу за страницей и даже в чем-то действительно преуспел, но я был разочарован, потому что мне казалось, что объем результатов, полученных мною, был невероятно мал, если принимать во внимание то количество предположений, которые я составил для их получения; следовательно, я не мог достаточно далеко идти в своих исследованиях, чтобы облечь их в форму, пригодную для публикации. Отнесясь к этому пренебрежительно, вполне возможно, что я упустил шанс стать основателем наиболее модного предмета в сфере математики. Тем не менее, мой ранний старт в математической логике, в предмете, к которому многие из математиков обращались лишь после серьезной работы в каких-то других областях, напитал меня абстракцией ради абстракции и дал мне до определенной степени точное ощущение необходимости создания равновесия между математическими механизмами и полученными результатами до того, как я обрел способность рассматривать математическую теорию удовлетворительной с научной точки зрения. Это не однажды приводило меня к тому, что я отказывался от занятий теорией, по крайней мере, частично созданной мною же и ставшей из-за легкости, с которой была сделана докторская диссертация, модной сферой исследований. Здесь я, в частности, ссылаюсь на исследование пространств Банаха, которые я открыл независимо от Банаха летом 1920 года всего лишь через несколько месяцев после того, как он выполнил эту работу, и до того, как она была опубликована.

¹Ситуационный анализ (*лат.*)

В связи с этим позвольте мне сказать, что тот факт, что я отталкивался от самой что ни на есть абстрактной теории, всегда подводил меня к тому, чтобы высоко ценить богатство научной структуры и применимость математических идей к решению научных и технических задач. У меня всегда были и все еще есть большие подозрения и некоторые сомнения, когда речь идет о поверхностной и неубедительной работе; и до тех пор, пока сфера применения не стала корректироваться требованиями военного времени, я не могу отрицать, что большая часть работы американских ученых в конкретных областях, а также немалая часть работ за рубежом страдала именно определенной неубедительностью.

Я часто предавался прогулкам по всему Манхэттенскому острову, заходя до самого Бэттери. Вместе с профессором Каснером я прогуливался по береговым скалам вдоль реки со стороны Джерси. Он жил в той части Гарлема, что располагался у подножия Университи Хайтс, в то время Гарлем был совсем не тем, что он представляет собой в наши дни. Каснер делился со мной многими идеями по дифференциальной геометрии, и он был приятным собеседником для таких прогулок. Он знал береговые скалы еще в те времена, когда человек редко захаживал туда; теперь уже трудно найти такие дикие места.

Во время моего пребывания в Нью-Йорке я также познакомился с Американским Математическим Обществом и впервые встретился с большинством пожилых ученых этой группы. В то время заседания общества проводились в старом отеле Мюррей Хилл, все еще хранившем в себе дух респектабельности, характерной для бесшабашных девятых годов. Это общество в большей степени представляло собой общество Нью-Йорка, не как в настоящее время, поскольку оно и на самом деле было создано нью-йоркской группой и на протяжении многих лет было известно как Нью-Йоркское Математическое Общество. Ему когда-то сопутствовал запах пивной, который со временем выветрился, а также сквозившие во всем благосостояние и респектабельность ученого.

Воскресенья, а иногда и субботы я проводил с моей бабушкой и другими нью-йоркскими родственниками где-то в районе Манхэттена в Спьютен Дьювил. Мои родственники были очень добры ко мне, но переполненный жителями многоквартирный дом в северной части Манхэттена вызывал у меня чувство близкое к удушью. Однажды я отважился принять приглашение моей кузины Ольги прогуляться в деревню вместе с ней, чтобы навестить ее друзей. Мне следовало посвятить это время моей бабушке, поскольку она была старенькой и болела диабетом, и похоже, ей оставалось

жить не более одного года. Однако, негодование, с каким моя мать приняла известие о пренебрежении мною моими обязанностями, было лишь частично вызвано ее привязанностью к бабушке. В основном же, это негодование было вызвано ее страхом, что я могу окунуться в еврейское окружение в более угрожающей форме из-за Ольги и других представителей юного поколения.

Отец моей матери умер, когда я был в Колумбийском университете, и я встретился с матерью во время ее спешного путешествия через Нью-Йорк в Балтимор. Вскоре после этого я получил телеграмму от отца, с просьбой приехать домой, поскольку необходимо срочно встретиться. Как обычно в то время, имея лишь жалкие гроши в кармане, я кинулся на поезд и провел всю ночь, сидя в вагоне. Когда я приехал домой, мне сообщили ужасную новость. Один из бывших студентов, учившихся вместе со мной, занимавший в то время положение преподавателя в Гарварде, сообщил руководителям философского отделения, которые решали вопрос относительно моей будущей карьеры, что перед тем, как получить степень доктора, я дал взятку смотрителю, чтобы тот показал мне результаты некоторых из экзаменов. Я уже писал об этом инциденте, и хотя я определенно не могу оправдать мое поведение, я могу утверждать, что никакой взятки не было. Отец тотчас же отвез меня в офис профессора Перри, чтобы провести очную ставку с моим обвинителем, и я пережил истинное удовольствие, услышав впервые в жизни, как отец выдал свой великолепный репертуар ругательств не в мой адрес, а в адрес моего врага. Этот инцидент закончился моим официальным оправданием, но впоследствии, когда я искал постоянную работу, он сыграл в моей жизни плохую роль.

Мое пребывание в Колумбии никак не было связано с моими первоначальными планами на тот год, оно было навязано мне в связи с трудностями военного времени и страхами моих родителей. Вероятно, это был самый непродуктивный период в моей научной деятельности между теми всплесками, что имели место во время моих поездок по Европе и постепенного восхождения к статусу преподавателя и независимого ученого. И если этот период кажется бессодержательным, так это потому, что он и был таковым. И все же, за этот период времени я кое-что узнал о Нью-Йорке и о научной жизни в большом университетском городе. Я осуществил некоторую часть моей научной работы, которая имела бы большое значение, если бы у меня в то время было достаточно мужества увидеть ее оригинальность и сконцентрироваться на ней, несмотря на общую потерю интереса к новому ситуационному анализу.

XVI

ИСПЫТАНИЕ: ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГАРВАРДЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ В ШТАТЕ МЭН 1915—1917

Мы вернулись в Нью-Гемпшир, чтобы провести там то лето. Рафаэль Демос, которого я уже знал как студента философского отделения в Гарварде, и два других молодых грека, Аристид Эвангелос Потридис с классического отделения Гарвардского университета и Бойкос из сельскохозяйственной школы при университете штата Мичиган, встретились там со мной в середине лета, и мы собрались на экскурсию в горы.

Это был длинный поход по дикой местности, в который я впервые отправился без отца. Поход был веселым и оживленным не только из-за красот пейзажа и того особенного удовольствия, переживаемого моими современниками в таких путешествиях, но и из-за личности Потридиса — прирожденного поэта, читавшего лучшие произведения из современной греческой поэзии. Увидеть наши Белые Горы глазами человека, развившего свои навыки хождения по горам на Парнасе и Олимпе и связывавшего удовольствие, получаемое от занятий этим видом спорта, с подлинными традициями классической культуры, было великим откровением.

Вскоре после этого мы вернулись в город к обязанностям, связанным с учебой. Я был преподавателем секции по философии на многочисленном первом курсе, а также полноправным преподавателем курса по логике. Во время преподавания на курсах мне нужно было вести учет посещаемости, читать статьи для одного или двух профессоров и проводить одно заседание секции в Гарварде и одно в Радклиффе по начальному курсу философии. Кстати сказать, по возрасту я почти не отличался от большинства моих студентов, посещавших эти секции. Я не думаю, что я испытывал страх перед аудиторией, когда преподавал, но все же надо было иметь определенное мужество, чтобы стоять перед толпой студентов, в особенности, если в этой

толпе были девушки моего возраста, и удерживать обсуждение в рамках последовательного и упорядоченного курса. Я не знаю, каким образом справлялся с этим, поскольку, как и подобает начинающему преподавателю, я весьма и весьма претендовал на собственную непогрешимость, что теперь, когда мне пятьдесят восемь, становится все менее характерным для меня. Хотя надо сказать, что классы в Гарварде и Радклиффе традиционно всегда были послушны, а мне был интересен мой предмет, и я всегда был готов принять участие в полемике.

Я был благодарен за то, что обладал бойкостью речи. Намного легче укрощать юношескую словоохотливость и чрезмерность, чем культивировать способность выражать собственные мысли, когда слова застревают в горле. Кроме того, я был надежно защищен от осознания того, как я выглядел на самом деле, собственной неопытностью. Это осознание пришло ко мне позже, когда я покинул удобства Кембриджа для того, чтобы соприкоснуться с жизнью без каких-либо прикрас в лесах Ороно, штат Мэн. Тогда-то мне и пришлось жестоко поплатиться за свое неумение работать с классом, которые наслаждались моим бессилием в установлении дисциплины.

Кроме преподавания у меня были своего рода специальные обязанности. Профессор Хаттори из Токио давал целый ряд курсов по китайской и японской культуре и философии, и ему нужна была помощь молодого американца, чтобы выполнять рутинную работу: отмечать посещаемость и выставлять отметки. Я взялся за эту работу и вскоре обнаружил, что она стимулирует во мне интерес к восточной цивилизации, с которой мне уже приходилось соприкасаться, когда я исследовал свое еврейское происхождение из-за того, что во мне пробудился интерес к общей проблеме, касающейся людей, которых недооценивали. Этот интерес к Востоку усиливался из-за того, что моим близким другом в тот год, с кем я часто ходил в походы в Миддлсекс Фелз и на Голубые холмы, был Чао Йен Рен, блестящий молодой китаец, который перевелся с последнего курса из Корнелла, где он изучал физику, в Гарвард, чтобы заниматься философией, он также хорошо разбирался в фонетике и занимался исследованием китайской музыки. Чао и я — по-прежнему близкие друзья на протяжении уже многих лет, и в те периоды, когда я не мог увидеться с ним, я получил Green Letters¹, посредством которых он разрешил проблему обширной переписки. Это довольно пространственные документы, с помощью которых он держал своих друзей au fait² своих дел.

¹ Письма Грина — периодическое издание. — *Прим. пер.*

² В курсе дел (*фран.*)

Мимоходом хотел бы отметить, что Чао Йен Рен стал, вероятно, величайшим филологом в Китае и одним из двух реформаторов китайского языка. Он был переводчиком Бертрана Расселла в Китае; он женился на очаровательной китаянке, бывшей врачом по профессии, которая также делает прекрасные переводы книг о китайской кулинарии для западных стран. У них четыре дочери, старшие две родились в Соединенных Штатах и сейчас замужем; в годы последней войны они помогали своему отцу преподавать китайский в Гарварде.

Дружба с такими людьми помогла мне понять значение неевропейских ученых для американских университетов. Я жил в период, когда происходили значительные изменения в относительной и абсолютной роли Америки в мировой науке. Правду говоря, эти изменения были лишь частью общего процесса, в котором страны или активизировали свою творческую деятельность, или же снижали ее. Это видно хотя бы по тому, как неоспоримое первенство Германии сошло практически на нет из-за эмиграции, войны и экономических трудностей. Еще я обнаружил, и это не менее потрясает и имеет большое значение, изменения в странах, первоначально чуждых европейской культуре, таких, как Китай, Япония и Индия и в новых колониальных странах. Многие из них всего лишь за период моей жизни приобрели огромный вес в западном научном мире.

Кроме моих регулярных курсов, я также читал так называемый обучающий курс по конструктивной логике. В течение ряда лет Гарвард давал каждому гарвардскому доктору философии право прочесть ряд лекций на темы по собственному выбору бесплатно; студенты, прослушавшие эти лекции, не могли рассчитывать на то, чтобы получить степень. Так или иначе, такие лекции получили официальное признание в Гарвардском университете. Я уже упоминал, что намеревался дополнить аксиоматические методы неким процессом, в соответствии с которым математическими единицами должны были быть построения более высокого логического типа, сформированные таким образом, что они должны были автоматически иметь определенные логические и структурные свойства. В идее было рациональное зерно, но были и определенные трудности, которые я не смог предвидеть и оценить, зависящие от фундаментального соответствия нашего опыта. Моя работа была тесно связана с понятием перспектив Бертрана Расселла, и я подозреваю, что в обеих работах было много общих недостатков и достоинств.

В то время на небосклоне гарвардского математического отделения появилась звезда первой величины. Это был Дж. Д. Биркгоф. В 1912 году

двадцативосьмилетний Биркгоф поразил математический мир, решив важную задачу в динамической топологии, которая была сформулирована, но так и не решена Пуанкаре. Что было еще более примечательным, Биркгоф выполнил эту работу в Соединенных Штатах без какого-либо обучения за рубежом. До 1912 года считалось абсолютно необходимым, чтобы молодой многообещающий американский математик завершил свое образование за границей. Биркгоф положил начало независимому формированию американских математиков.

Он продолжил свою работу по динамике именно в том аспекте, который ранее исследовал Пуанкаре, и читал курс лекций по проблеме трех тел. Я записался на этот курс, но то ли в силу моей неподготовленности, то ли из-за трудно воспринимаемого стиля изложения Биркгофа, а скорее всего из-за того и другого, я чрезмерно напрягался и не смог продолжать посещать эти занятия.

Биркгоф и Мюнстерберг были слушателями моего обучающего курса. По мере продолжения войны Мюнстербергу все сложнее и сложнее приходилось в Гарварде. Он был на стороне Германии, в то время как большинство его коллег, включая моего отца, поддерживали союзников. В конце концов, Мюнстерберг написал письмо моему отцу, воспринятое моими родителями как оскорбление и вызвавшее сильную ссору, во время которой Мюнстерберг ссылался на свой интерес к моей работе и на посещение моего курса лекций, а также на то, что он поддерживал мою работу. Естественно, ситуация не могла не вызвать во мне замешательства, и я проявил скорее преданность, чем такт, приняв сторону моего отца.

Если во время моих первых посещений Гарварда я лишь время от времени посещал заседания Гарвардского Математического Общества, то теперь впервые я стал регулярно ходить туда. Это было общество, созданное по типичному для Гарварда образцу. Профессора сидели в первом ряду и снисходили до студентов в милостивой олимпийской манере. Пожалуй, самой заметной фигурой был У. Ф. Осгуд с его лысой яйцеподобной головой и густой раздвоенной бородой, срезающий кончик сигары ножом, следуя манере Феликса Кляйна, и державший ее с намеренным изяществом.

По моему мнению, Осгуд был олицетворением гарвардского математика. Подобно многим другим американским ученым, посетившим Германию в начале века, он вернулся домой с женой-немкой и манерами истинного немца. Пожалуй, следует многое сказать в защиту женитьбы на немках — я счастлив, что сам сделал это. Во времена Осгуда этот псевдогерманизм Новой Англии был в моде. Его восхищение всем тем, что принадлежало Гер-

мании, подтолкнуло его к написанию книги по теории функций на почти правильном немецком языке. Вне всяких сомнений он был под впечатлением от статуса немецкого Geheimrat, и он стремился придать академической жизни в Америке такую форму, где он мог занять подобное положение. Он проделал успешную работу по анализу вопреки тем запретам, которые постоянно толкали определенный тип жителей Новой Англии от того, что первоначально, к тому, что является производным и общепринятым. Некоторые из его идей должны были привести его к открытию интеграла Лебега, но он не сделал последнего шага, который мог бы привести его к принятию потрясающих последствий его собственной концепции. Должно быть, у него все же было мучительное осознание того, что его поезд ушел, поскольку в свои последние годы он никогда не позволял своим студентам использовать метод Лебега.

Еще одним представителем германского периода американского математического образования был профессор Максим Боше. Он был сыном бывшего учителя французского, но свое образование получил в Германии и женился на немке. Как и в случае с Осгудом, немецкий был языком, на котором его семья говорила дома; но во всем остальном он отличался от Осгуда. Его работа была более оригинальной и на более широкой основе, и в своих манерах он был свободен от напускной манерности.

Из всех остальных математиков, пожалуй, двое произвели на меня особенное впечатление, это профессора Эдвард Вермили Хантингтон и Джулиан Лоуэлл Кулидж. Я уже говорил о Хантингтоне, чья оригинальность стала препятствием для осуществления им профессиональной карьеры в Гарварде. Его перевели в Научную Школу Лоуренс, где он обучал инженеров, хотя его способности в области чистой математики и логики были гораздо больше, чтобы заниматься лишь этим. Он дожил до того дня, когда его ересь получила всеобщее признание, и сегодня аксиоматический метод привлекает даже больше, чем должен был бы, кандидатов на получение степени доктора философии. Он был великолепным, вдохновляющим и терпеливым учителем.

Поскольку у руля управления университетом стоял Лоуэлл, Джулиан Лоуэлл Кулидж, будучи представителем рода Лоуэллов, потомком Джефферсона, был обречен на то, чтобы быть в фаворе. Кулидж получил свое образование в Англии и Германии. Он работал в области геометрии, где он проявил большое усердие и трудолюбие. Он был не только умным, но и совершенно изумительным человеком, а его неумение произносить букву «р» придавало ему еще больше обаяния.

Представлять статью на заседании клуба математиков было настоящим обучением в умении логически и интересно излагать материал. Оригинальность и сила воспринимались как должное. Сила в математике состоит из умения задействовать механизмы, как общепринятые, так и прочие, позволяющие человеку решить большую часть не решенных ранее проблем, с которыми он сталкивается в процессе своей работы. Это — способность создавать или разрабатывать методы, которые бы соответствовали требованиям решаемой проблемы, но это не получало высокой оценки среди членов того клуба. В то время не было такого места, где интересы перспективного студента, вышедшие за рамки того, что изучается на старших курсах, имели бы первостепенное значение, хотя с некоторых пор была создана такая организация в форме математического коллоквиума, который в настоящее время принял на себя большую часть функций математического клуба.

Я ходил в походы и занимался немного борьбой в гимнастическом зале, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Борьба — один из видов спорта, где близорукость не играла практически никакой роли. Правда, я так никогда и не преуспел по-настоящему в борьбе, но у меня были накачаны мышцы, и я был сильным, особенно сильными были мои плечи, так что даже более лучшим борцам приходилось сильно потрудиться прежде, чем они могли одолеть меня. В течение какого-то времени я весь был покрыт нарывами, и местами на моем теле была содрана кожа от соприкосновения с матом, словом, все в лучших традициях этого вида спорта.

Приехав из Кембриджа и Колумбии, я вернулся в атмосферу власти семейной дисциплины, которая не была уже такой интенсивной и распространяющейся на все жизненные сферы, как это было в мои студенческие годы. Да и было существенное различие: я больше не был учеником отца ни в одном из предметов. В семье сохранилась сама идея прежней структуры, но на этот раз играл роль тот факт, что я сам приносил доход, и поэтому стал иметь право на определенный статус в семье. И все же, я могу сказать, что лишь несколько лет спустя после моей женитьбы я перестал быть в глазах отца ребенком, от которого необходимо требовать послушания.

С того времени, как я вернулся из Европы, мои родители завели обычай приглашать студентов отца на воскресные чаепития. Приглашались также и мои студенты, и однокурсники моих сестер. Чаепития по воскресеньям, на которые приглашали представителей юного поколения — традиция старая как мир, и по прошествии времени ее первоначальный смысл так и не изменился. Когда я читал работы Теккерея, профессора флеботомии из

Кембриджа, и о его попытках представить своих дочерей многообещающим аспирантам, это отозвалось эхом в моей памяти. Тем не менее, мне, как кому бы то ни было, не пристало высмеивать эти чаепития, поскольку в действительности именно благодаря им я учился тому, как вести себя в обществе по причине скудного наличия каких-либо других мероприятий, которые могли бы способствовать этому, а также мои сестры, как впрочем и я сам, на этих чаепитиях впервые познакомились со своими будущими супругами. Я многое узнал о том, как правильно вести себя, общаясь с другими людьми, начал развивать дружеские отношения и завязывать новые знакомства.

Мой отец был профессором русского языка в Гарварде, а также ему вменялось оказывать различные услуги тем русским, которые приезжали с визитами. Во время войны русских было много, сначала приезжали с различными важными миссиями и даже по поручению русского правительства, а позднее — это были беженцы, бежавшие от опасностей грядущей революционной бури, а затем и от самой революции. Это были мужчины и женщины самого разного пошиба. Некоторые из них прибывали с очень серьезными миссиями такими, как, например, развертывание закупочной кампании по поручению царского правительства. Некоторые приезжали по личным мотивам, и были еще очень немногочисленные молодые щеголи, которые и посещали наши чаепития, где они пели русские песни, аккомпанируя себе на пианино, и флиртовали направо и налево во всех уголках нашего дома. Даже среди них встречались такие, у кого были серьезные задатки для того, чтобы хорошо устроиться на новой земле; но были среди них и такие, кто был также мало привязан к жизни, как пена к пиву. В течение некоторого времени мать и отец находили особое удовольствие, выступая в роли гостеприимных хозяев для этой группы аристократов, и они, к моему сильному неудовольствию, бывало сравнивали их учтивость, изысканность и *savoir-fair*¹ с моей неуклюжестью; но все время я хорошо сознавал, что наш дом был лишь декорацией для любовного танца этих утонченных душ, и они взирали на нас с крайним равнодушием, если не с презрением. В частности, я знал, что, если бы смог изобразить поведение этих беженцев за сценой, а также их сценическую элегантность, и если бы родители только заподозрили, что я это сделал, меня тут же бы изгнали навеки. Но в конце концов родители сами почувствовали, что в поведении этих экзотических личностей, словно разыгрывающих чеховский вишневый

¹ Умение (фран.)

сад, было что-то слегка презрительное в отношении нас, и их визиты стали все реже и реже, пока не прекратились вообще.

С самого начала мой отец был против коммунистов. Частично это было так из-за того, что с Россией он был связан личным знакомством с такими людьми, как Миллюков, который был меньшевиком и ассоциировался с потерпевшим поражение режимом Керенского. В идеале отцу следовало бы сохранить свои связи с новой Россией, нравилась ему она или нет, для того, чтобы он смог до конца понять, что же происходило, и смог предупредить правительство Соединенных Штатов, какими новыми опасностями это все грозило. Так или иначе, со времен революции не только научные сотрудники отца отходили все дальше и дальше от России, но нить за нитью рвались и его личные связи с этой страной. Он опубликовал книгу о России и о том, что она собою представляла с американской точки зрения, но она была основана исключительно на тех вымыслах, поток которых был неиссякаем с некоторых пор. Короче говоря, отчуждение, которое отец стал испытывать по отношению к России, повлекло за собой его нежелание выполнять свои прежние обязанности в Гарварде, связанные с приезжающими русскими, и я не сомневаюсь, что его отказ от дальнейших исследований славянских языков был одной из причин, в силу которой Лоуэлл спустя несколько лет безучастно отнесся к просьбе отца разрешить ему продолжить работу в Гарварде после того, как он достиг пенсионного возраста.

Общественное мнение все больше оказывалось на стороне Тройственного соглашения, и все говорило о том, что нам надо было вступать в войну. Во время второго семестра была создана организация для обучения офицерского состава, известная как Гарвардский Полк (Harvard Regiment), в которую я вступил незамедлительно. Глубокой зимой мы с трудом тащились по снегу в тонкой летней униформе до бейсбольной клетки на солдатском поле, где нас посвящали в члены Школы солдата и Школы новобранцев. Когда пришла весна, мы продолжали наши занятия на открытом воздухе позади гарвардского стадиона и провели несколько тренировочных походов и маршей. Мы также маршем добрались до государственного хранилища ружей в Уэйкфилде, где упражнялись в искусстве стрельбы из мушкетов в течение нескольких дней. Несмотря на свое плохое зрение, я один раз в своей жизни показал результат, достойный снайпера. Это не было включено в список моих заслуг, скорее это была заслуга моего инструктора, мистера Фуллера, бостонского брокера.

Ситуация с Гарвардским Полком зависла в воздухе, но у меня был план отправиться летом в Платтсбург и обучаться там для зачисления в

резервный состав. Все это, конечно, зависело от того, найду ли я работу на предстоящий год. Я встретился со многими деканами и руководителями различных отделений, искавших новых кандидатов для пополнения персонала, но, казалось, никто из них не был особенно заинтересован во мне, и профессор Перри уверял меня, что я еще не проявил себя достаточно хорошо, чтобы получить рекомендации. В то время я не был многообещающим преподавателем, но я не мог отделаться от мысли, что частично меня с такой холодностью принимали на факультетах из-за моего возраста и из-за их консервативного предубеждения против экспериментирования с чем-то неизвестным.

И все же мои затруднения частично были последствием моего развития. Годом раньше я с легкостью получил место ассистента преподавателя, поскольку не было никакой конкуренции с более старшими по возрасту и получившими одобрение представителями Гарварда в тех сферах, где они действительно хотели бы работать. Сейчас же, по прошествии года, ситуация была другой. Я просил о преподавательской деятельности, а вместе с этим о допущении к карьере в сфере, где желаемые места были немногочисленны и редки. Да и гарвардским преподавателям не особенно хотелось тратить время на человека, который может преуспеет, а может и нет, и будущее которого трудно предугадать.

В конце концов, под давлением моего отца, я решил поискать работу, связанную не с философией, а с математикой, и мне казалось несколько унижительным регистрировать свое имя в ряде агентств по найму преподавателей. Эта процедура напоминает рыбную ловлю, где рыба часто клюет, но редко заглатывает наживку. Наконец клюнуло, и я согласился провести следующий год в качестве преподавателя математики в университете штата Мэн в Ороно. Мы вернулись на Вершину Мира, в наш летний дом в Сэндвиче, чтобы провести там лето.

Рафаэль Демос еще раз навестил нас вместе с Джимом Марселлом, молодым австралийцем, студентом гарвардского философского отделения. Марселл, Демос и я вновь отправились в поход на север к горе Вашингтон вдоль гряды Уэбстера. Когда мы вернулись, я отправился в лагерь подготовки офицерского состава в Платтсбурге, штат Нью-Йорк, чтобы попытаться получить назначение в армию, что было очень желательным в случае вступления Соединенных Штатов в войну.

Я отправился с пристани в Сэндвич Лоуер Корнер. На пароходе, на котором я переправлялся через озеро Чэмплейн, я встретил приятеля моих школьных дней, неисправимого негодяя с улицы Уолкер, однажды гонявше-

гося с топором в руках за другим мальчишкой и ставшего одним из самых отчаянных молодых мошенников в Массачусетс. Он пытался выдать рядового кавалериста, с которым он путешествовал, за офицера, но я уже был достаточно знаком с армейскими знаками различия, чтобы не отличить желтую полоску на шляпе рядового кавалериста от золотисто-черной на шляпе офицера.

Гарвардский Полк в какой-то степени подготовил меня к армейскому лагерю. Но меня все еще шокировало то, что все эти молодые люди, вообразившие себя солдатами, пили прямо из бутылок и грязно ругались. В моей компании была пара человек, с которыми мне было интересно разговаривать, хотя здесь были представители нескольких нью-йоркских обществ смельчаков. Человек из моей компании, привлекавший меня более, чем другие, был из миссионерской семьи из Бурмы, он олицетворял собою непрерывность великой миссионерской традиции Адонирана Джадсона.

Мое скалолазание сказалось на моей физической подготовке, и я был достаточно силен, чтобы выдерживать марши и тренировочные бои. Я был поражен тем, что не только другие, но даже я сам изменил свою манеру поведения из-за того, что все мы были членами большой управляемой группы. К примеру, мне обычно и в голову бы не пришло купаться голым рядом с автострадой. Однако когда перед тобой в реке плещутся сотни обнаженных тел, ты уже не воспринимаешь свою собственную наготу как оскорбление для чувств окружающих тебя людей.

Или вот еще, как-то пробираясь между палаток, я случайно раздавил чьи-то очки. В обычной жизни я бы представился и предложил этому человеку заплатить за его очки; но в присутствии стольких молодых людей, одетых в униформу и не особо задумывавшихся о каких-то обязательствах, боюсь, что я спасовал.

Во время нашего обучения стрельбе из мушкетов я чувствовал себя крайне неуверенно. Без той специальной подготовки, через которую я прошел у мистера Фуллера в Гарвардском Полку, из-за зрения я не мог попасть в цель. Когда я объяснился по поводу этого недостатка с офицером, руководителем стрельбищ из мушкетов, и вернулся в палатку, мои соседи по палатке стали обвинять меня в симуляции. Они уже знали, как легко можно было смутить меня ругательствами; я чувствовал себя подавленным. Я так рассердился, что схватил одно из ружей, находившихся в палатке, правда не с намерением использовать его по прямому назначению и не в качестве клюшки, а скорее это был жест гнева и отчаяния. Конечно же, они без труда

разоружили меня, но я потерял дар речи от потрясения, когда я впервые ясно увидел, каким убийственным образом можно было истолковать мои действия.

Я завершил занятия в лагере, не получив рекомендаций для зачисления в армию, и у меня осталось чувство чего-то незавершенного. Я вернулся в горы на недельку, а затем отправился в Ороно, чтобы приступить к моей новой работе в университете штата Мэн.

Ороно показался мне незавершенной и менее приветливой копией городов Новой Англии, к которым я привык. Я договорился насчет обедов гостинице Ороно, что было общепринятым среди молодых преподавателей факультета, и снял меблированную комнату в белом и довольно привлекательном доме, выстроенном в стиле, характерном для Новой Англии, владельцем которого был университетский библиотекарь.

Хотя мне и доставляла удовольствие работа, выполняя которую я был недотягиваю для моего отца, все же я не чувствовал себя счастливым в Мэне. Пожилые, постоянные профессора, в основном, были неудачниками, давно похоронившими надежду что-либо завершить в науке или как-то продвигнуться в своей профессиональной деятельности. Некоторые из них все еще проявляли остатки каких-то амбиций, но большая часть смирилась со своим положением неудачника. Молодые преподаватели были явлением преходящим, как и я сам, нашедшие это место после регистрации в агентствах по найму после того, как стараниями их профессоров были отобраны сливки с их выпусков. И те, кто был в этом университете постоянно, и заезжие гости не были заинтересованы в работе здесь, и их единственным стремлением было покинуть этот университет как можно скорее прежде, чем работа здесь заклеит их окончательно как неспособных работать в более достойных учреждениях. Крайне редко в таких местах, как это, люди избегают умственной атрофии.

Президентом был выходец со Среднего Запада, и он хорошо сознавал свою власть. Студентами в то время, в основном, были сильные молодые фермеры и лесорубы, которым хорошо удавалось быть такими же праздными и вести такой же образ жизни, какой был характерен для студентов старейших университетов Новой Англии, но они на две трети отставали по своему интеллектуальному уровню. Их интересовал лишь футбол и издевательства над профессорами. Поскольку я был молодым, нервным и реагировал на все, они выбрали меня своей жертвой. Большинство моих курсов были для них занудными, и они проделывали множество разных штучек, раздражавших меня.

Пользоваться шпаргалками на экзаменах и списывать домашние задания было системой. Вскоре я обнаружил, что если я докладывал о всех этих неприятных вещах, как предписывали мне мои обязанности, то это больше отражалось на мне, чем на этих негодях. Я также обнаружил, что многие из коллег с моего отделения и с других негодовали по поводу моего незнания и равнодушия к жестким правилам поведения в маленьком колледже, а также по поводу моего раннего развития и того, что они рассматривали как мои научные притязания.

Я пытался вернуться к математической научно-исследовательской работе. Д-р Шеффер из Гарварда незадолго до этого предложил мне способ, благодаря которому можно было основывать математическую логику на одной единственной фундаментальной операции. Я последовал этому положению, но несколько в модифицированной форме, и опубликовал статью, подписав ее лишь своим именем. Я думаю, что в самой статье я отдал должное д-ру Шефферу, но полагаю, что сделал это не совсем адекватно. Сейчас я вижу, что моя модификация работы Шеффера была едва ли достаточной, чтобы быть опубликованной в виде отдельной статьи, и что мне следовало подождать, пока он не оформит свое заявление в более определенной форме. Не только в медицине и юриспруденции есть жесткий этический кодекс, и никакая добрая воля в мире не заставит кого-либо принять этот кодекс в качестве жизненного правила до тех пор, пока у этого кого-то не будет хотя бы минимального опыта в делах такого рода. К счастью, ни д-р Шаффер, ни его коллеги-математики не восприняли мой поступок как оскорбление, но во мне самом возникло глубокое беспокойство, когда я осознал, что я сделал, и до сих пор это грузом лежит на моей совести.

Моим родителям очень не нравился мрачный тон моих писем из Ороно. Однако я должен сказать, что они прилагали все усилия к тому, чтобы я приятно проводил время во время своих коротких отпусков. Именно тогда я познакомился с пивом и кислой капустой ресторана Джейкоба Верта в Бостоне и удовольствиями, связанными с новой театральной труппой, только что созданной в театре Копли. Я также стал больше смотреть примитивных фильмов того времени, чем в прежние времена, и мне было позволено время от времени встречаться с некоторыми из сокурсников моей сестры Констанс из Радклиффа. Но даже в самой гуще бостонских развлечений я содрогался при мысли о неотвратимом возвращении в Ороно.

Наконец меня приняли в члены маленькой научно-исследовательской группы в Ороно. Душой этой группы был статистик Раймонд Перл, который позже сделал профессиональную карьеру на медицинском факультете

в университете Джонса Хопкинса. В его маленьком доме рядом с троллейбусной линией, протянувшейся от деревни до университета, избранные гости могли принять участие в приятной беседе и услышать надлежащую оценку идей. В те дни, когда английский Кембридж казался мне бесконечно далеким, а перспектива начать настоящую профессиональную деятельность была где-то в бесконечно далеком будущем, эти посещения дома д-ра Перла заставили меня вновь почувствовать себя живым.

Еще одним из немногих ученых университета Мэн была мисс Боринг. Она была зоологом и сестрой психолога Боринга, с которым я дружил на старшем курсе в Корнелле. Я еще раз встретился с мисс Боринг много лет спустя в Китае, где она преподавала в университете Йенчинг, а я работал в соседнем университете Цинг Хуа.

В нашей группе было также несколько докторов из Бангорской главной больницы. Я помню несколько интересных лекций о раке легких, которые были прочитаны задолго до того, как это заболевание перестали воспринимать как разновидность туберкулеза, выделив его в отдельное заболевание.

Встречи в этой группе были не единственной причиной моих поездок на троллейбусе в Бангор. Бангор больше не был шумным городом, где возвращавшиеся из леса лесорубы вкушали женские прелести и контрабандное виски, но старые плохие времена нанесли ему непоправимый ущерб, и он был лишен очарования большинства города в Новой Англии. То, что влекло меня туда, так это военный тренировочный корпус, встречи которого в гимнастическом зале посещали представительные граждане Бангора, бывшие намного старше меня.

Зимние поездки на троллейбусе и на поезде в город были очаровательны сами по себе. Вся местность была покрыта толстым ковром белого снега, хрустевшего под ногами в морозные дни. Холодный воздух обжигал легкие. Еще не наступило то время, когда зимой можно было ездить на автомобилях по автострадам, и потому звон санных колокольчиков далеко разносился по морозному воздуху.

В том доме, где я снимал меблированную комнату, жил норвежец-студент, который специализировался в производстве бумаги. Университет в Мэне был центром по обучению этому предмету, и на самом деле воздух был пропитан неприятным серным запахом местного бумагоделательного завода. Заводь на реке Пенобскот напротив нашего дома была разделена досками и бревнами, где удерживалась масса балансовой древесины, стекавшей с севера. Мой норвежский друг ездил на занятия на лыжах и часто катался на лыжах по занесенным снегом болотам и лесам. Все остальные,

как студенты, так и профессора, еще не освоившие этот скандинавский вид спорта, пользовались снегоступами, производимыми индейцами в Оулдтауне, отправляясь на занятия. Перед входными дверями зданий колледжа из сугробов частоколом торчали снегоступы, и все студенты, как юноши, так и девушки, ходили на занятия в шерстяных гетрах и ботинках Баркер или мокасинов, что было отличительным признаком северного лесного народа.

Время шло медленно. Я помню, что прочитал все произведения О. Генри и Марка Твена, сидя в темном углу среди библиотечных стеллажей, но, к сожалению, тогда модный сегодня детектив не был еще популярен. Зимой я находился в стрессовом состоянии из-за того, что Америка должна была принять участие в войне и из-за сообщения о смерти моего друга Эверетта Кинга. Он был моим компаньоном в детском экспериментаторстве, и я уверен, что, если бы он был жив, он стал бы значительной фигурой в американской науке.

Весна началась внезапно, принеся с собой сырость и слякоть, что вполне обычно для северной части Новой Англии. В университетском городке появилась всего пара новых лиц. Я помню одного вновь прибывшего молодого американца, женатого на француженке. Он расположил меня к себе тем, что позволил сопровождать его на рыбалку на самый крайний участок далеко раскинувшейся дикой местности по другую сторону реки Пенобскот.

Уже не было сомнений по поводу скорого вступления в военные действия. Существующий корпус обучения офицерского состава был намного увеличен, и привлекались все, кто был способен проводить там учения. Из-за моего обучения в Гарвардском Полку и в Платтсбурге меня также вынудили приступить к этой службе; но, как выяснилось, у меня не было необходимых навыков, и я был слишком категоричен, отдавая команды, так что я не очень преуспел на этой службе. Когда, в конце концов, началась война, я попросил освободить меня от обязанности обучать, чтобы я смог отправиться на какую-либо действительную службу, поскольку мне так же сильно хотелось покинуть университет Мэн, как и университету хотелось избавиться от меня.

Благодаря дружескому участию одного из бангорских докторов я прошел своего рода предварительное медицинское обследование и отплыл на пароходе в Бостон, чтобы испытать свою удачу в военной службе. В пути меня впервые осенило, что меня могут убить или покалечить, и это повергло меня в уныние. И все же, я пытался убедить себя в том, что у меня есть

также шанс привезти с войны вполне пригодное для использования тело, по-прежнему соединенное с душой.

Когда я прибыл в Бостон, я стал обивать пороги фортов в гавани и бюро по призыву в армию в надежде, что я могу поступить на службу, если не как офицер, то просто как призывник. Мои глаза везде мне все портили. В конце концов, родители решили с моего молчаливого согласия, что я должен попробовать записаться на службу подготовки офицеров резерва, которая была только что официально создана в Гарварде.

С наступлением войны на новой службе подготовки офицеров запаса был более систематический подход, чем в старом Гарвардском Полку. Нас разместили в общежитиях для новичков, находившихся в ведомстве президента Лоуэлла, и которые позднее войдут в единую систему расселения студентов Гарвардского университета.

Группа академически подготовленных офицеров французской армии организовала для нас специальный курс лекций; один из этих офицеров, майор Мориз, оставался в Гарварде на протяжении многих лет в качестве профессора французского языка. Летом нас перевезли в равнины Барр, где мы разбили лагерь и продолжили учения по маневрированию. Я помню, как мы рыли окопы, как проводили тренировочные сражения, как учились орудовать штыком. Я провел там лишь некоторую часть времени, потому что экзамены на присвоение офицерского звания в артиллерии проводились в новых зданиях Массачусетского технологического института. Я знал, что это был практически мой последний шанс получить офицерское звание артиллериста, дававшее мне право принять участие в военных действиях. Естественно, я успешно сдал экзамены по математике, но я не смог подтвердить свою пригодность к военной службе. Я печально провалился на экзаменах по физической подготовке, а также по верховой езде на учебном манеже. Я оказался совершенно не готовым к этим экзаменам и свалился со старой клячи, которая была так же неподвижна, как гимнастический конь.

Что касается медицинского осмотра, то мои глаза подвели меня, а также у меня оказалось высокое для моего возраста кровяное давление, хотя, к моему удовольствию, моя долгая жизнь показала, что оно не повышалось за опасные для жизни границы. Похоже, что армейские доктора сразу распознали, что у меня слишком неустойчивый характер для того, чтобы быть пригодным для армии. И если еще оставались какие-либо шансы на получение звания офицера, они все рухнули из-за того, что в соответствии с псевдоблагородными нравами того времени я пытался провести одного из докторов и вступил с ним в спор, чтобы уговорить его дать мне благопри-

ятный отзыв о физическом состоянии, за что он с позором вытолкал меня вон из своего кабинета.

Я закончил службу по подготовке офицеров резерва с документом, который абсолютно не годился для того, чтобы получить звание. Близился конец лета, и оставшуюся его часть я провел на озере Силвер в Нью-Гемпшире. Я кое-что читал по алгебраической теории чисел, которую я начал изучать, пока был в Мэне, и сделал несколько попыток расширить результаты Биркгофа в четырехцветной задаче.

Эта задача вместе с последней теоремой Ферма и демонстрацией гипотезы Раймана, касающейся дзета-функции, является одной из вечных загадок математики. Каждый математик, добросовестно выполняющий свою работу, пробовал решить, по крайней мере, одну из них. Я пытался решить все три, и каждый раз мое предполагаемое доказательство рассыпалось в прах в моих руках. Я не сожалею об этих попытках, поскольку именно попытка решать задачи, которые выше способностей математика, дает ему шанс научиться максимально использовать свои способности.

В то лето мы жили рядом с летним домом профессора Осгуда, и я часто виделся с ним. В своем летнем коттедже в Нью-Гемпшире он казался намного добродушнее и сердечнее по сравнению с тем, каким он был в лучах славы, занимая свое положение в Гарварде. Я немного занимался скалолазанием, и моей особой гордостью в те юные годы было то, что вместе с моей сестрой Констанс и одним из друзей мы прошли тридцать четыре мили за один день в походе в горах Пассаконавеи и Уайтфейс и обратно. Конечно, я устал, и на следующий день у меня поднялась температура; но в двадцать лет мы весьма жизнеспособны, и похоже, что наше предприятие не причинило нам никакого вреда.

XVII

СРЫВ ПЛАНОВ, ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДЕНЩИНА И ВОЙНА С ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ПИНЕЙКОЙ В РУКАХ 1917–1919

Когда мы вернулись в город, стало очевидно, что мне необходимо искать какую-то гражданскую форму военной работы. Мой поиск работы, не связанной с преподаванием, был результатом военного времени и того, что нормальная жизнь в университете временно практически прекратилась. Я чувствовал, что мое математическое образование было самым лучшим из того, что я мог предложить, так что я сел на электропоезд, направлявшийся в Квинси, где находился судостроительный завод Фолл Ривер, чтобы попробовать поучиться в проектировании двигателей для судов. Из этого ничего не вышло, поэтому я отправился на завод Дженерал Электрик в Линне. Одним из инженеров на этом заводе был русский друг моего отца, а другой был моим преподавателем курса физики в Гарварде. Там меня, естественно, приняли более тепло. Мне сказали, что в тот момент для меня не было работы; но, если я пожелаю, они могут принять меня в качестве ученика в свою программу по подготовке инженеров с выплатой мне жалования. Это означало, что я брал на себя обязательство не покидать это место в течение следующих двух лет. Я принял предложение и начал работать в цехе по изготовлению газотурбинных двигателей. Я помогал проводить опыты по поглощению пара и использовал свои математические знания в некоторых термодинамических расчетах. Каждый день, когда я возвращался домой, я чувствовал себя усталым но счастливым, и был безнадежно вымазан теми смазочными веществами, которые применялись на заводах, и казалось, никакое мыло не в состоянии было это смыть. Я воспринимал эту грязь как отличительный знак рабочего человека.

Однако мой отец был убежден, что с моей неловкостью я никогда не преуспею в технике, и стал искать для меня другую работу. Он написал пару статей для издательства «Encyclopedia Americana» («Американская Энциклопедия»), находившегося в Олбани. Он попросил мистера Райнса, ответственного редактора, прислать мне приглашение работать в качестве штатного компилятора. Хотя я чувствовал, что с моральной точки зрения, я был обязан остаться в компании Дженерал Электрик, все же я слишком зависел от отца, чтобы осмелиться ослушаться его приказов, таким образом, сгорая от стыда, я подал заявление об уходе инженерам в Линне, давшим мне шанс получить работу. Мне сказали, что я никогда снова не смогу устроиться на работу на этот завод, но из-за своей беспомощности и отсутствия жизненного опыта, я совершенно не мог ничего сделать, кроме как следовать приказам отца.

Отец поехал в Олбани вместе со мной, помог мне поселиться у довольно приятной домовладелицы в старом высоком кирпичном здании недалеко от ратуши. Он также ходил со мной в офис мистера Райнса. Нам пришлось воспользоваться лифтом, так как офис располагался на одном из этажей унылого делового здания, выходящего фасадом на заваленный капустой рынок европейского типа. Мистер Райнс был старым джентльменом, носившим бороду, знающим свое дело, строгим, но в то же время дружелюбным.

С самого начала Олбани мне понравился. Его центральная часть во многом напоминала европейские города или Бэк Бей в Бостоне. Я нашел хорошие рестораны, где я мог обедать, хороший театр варьете и хорошие кинотеатры, где я мог проводить свободное время. Я также нашел гимнастический зал в местной ассоциации молодых христиан, где я мог поддерживать свою физическую форму.

Работа в издательстве «Encyclopedia» заключалась в компилировании некоторых не очень важных статей; я думаю, что оплата там была сдельной. Вскоре я обнаружил, что чувствую себя довольно уютно на новом месте, где я работал с группой малооплачиваемых коллег; некоторые из них лишь начинали делать свою жизненную карьеру, а другие, напротив, потихоньку скатывались вниз. Среди нас был один пожилой английский бизнесмен, который однажды потерпел крах и теперь был слишком стар, чтобы начинать новое дело. Он гордился своим знанием опер Гильберта и Салливана, а также способностью сочинять слова и музыку подобного рода. Другой из наших компиляторов из машинистов Британской железной дороги поднялся до библиотекаря (хранителя архива) лондонского журнала «Таймс». У него

сохранилась папка, полная корректурных оттисков с набросками некрологов о знаменитых людях, которые все еще живы, написанными во время их болезни, а также папка с готовыми некрологами об особенно важных людях на случай их внезапной смерти. Он потерял место из-за пристрастия к алкоголю, но сохранил свои способности и был весьма полезен для «Encyclopædia». Его фонд статей был наиболее несоответствующим, но это несоответствие в целом вызывало чувство приятного изумления.

У нас был также ирландец, бывший семинарист, типичный представитель Дублина времен Джеймса Джойса, разговаривавший на том приятном литературном английском образованного жителя Дублина, в котором присутствовал лишь едва уловимый ирландский акцент. Был среди нас также и американский лексикограф, с которым я часто играл в теннис, и который позже стал главным редактором «Encyclopædia».

С нами работала девушка, старшекурсница из Корнелла. Она была дочерью русского еврея, жившего в Олбани и торговавшего пушниной. Мне она казалась очень привлекательной и воодушевлявшей. Мы часто прогуливались с ней по окрестностям Олбани, и я заходил к ней домой с визитом и водил ее на театральные представления. Она и я были достаточно молоды, чтобы ощущать себя на подъеме. Нам доставляли удовольствие эксцентричность и дружеское отношение тех, кто был старше нас и кто нашел приют на этом своеобразном, но приятном островке богемы. И все же, будучи почти одногодками, мы больше предпочитали посещать разные развлекательные места в городе вдвоем, чем с остальными членами группы, работавшей в «Encyclopædia». Даже когда я обнаружил, что она помолвлена с молодым врачом, служившим в армии во Франции, я продолжал приглашать ее на прогулки, поскольку испытывал необходимость в женском обществе.

Мы работали не только в офисе, но и в Нью-Йоркской Государственной Библиотеке в учебном корпусе рядом с Капитолием. В этом здании я нашел много интересного для себя. Кроме того, что там была действительно хорошая библиотека, и я думаю, Государственный Совет Членов Правления, в нем также был Нью-Йоркский Государственный Музей, где находилась смесь географических, геологических, ботанических, антропологических, зоологических, палеонтологических, и петрографических, минералогических и кристаллографических коллекций. Я провел много свободного времени в этом музее, и, вероятно, много того времени, которое не следовало так проводить. Я познакомился с одним из хранителей музея, специалистом по кристаллографии и драгоценным камням, и изучил статью по кристаллографии в моей любимой «Encyclopaedia Britannica» («Британ-

ская Энциклопедия»). Я также часто встречался с одним из палеонтологов штата. Эти знакомства вновь пробудили во мне интерес к происхождению позвоночных, и я перечитал Гаскелла и Паттона, чтобы проверить, имеет ли какой-либо смысл теория о паукообразных применительно к происхождению позвоночных.

Я обнаружил, что в однообразной работе составления энциклопедии присутствуют определенные этические нормы. Составитель должен быть именно тем, что подразумевает это слово. Разрешается использовать информацию из других существующих энциклопедий, но ее необходимо тщательно сверить с другими источниками. Если тебе необходимо сделать подстрочник, используй только энциклопедии на иностранном языке, и ни в коем случае не прибегай ни к каким дополнительным источникам. Будь осторожен при написании начальной строки статьи. В целом, воздерживайся от собственных оригинальных идей.

Мне понадобилось какое-то время, чтобы запомнить правила почти на инстинктивном уровне; и не однажды я поддался мальчишескому желанию словчить. Я развил в себе привычку читать энциклопедии тем, что писал их, и значительная часть информации, которой я обладал, была полезной. В одной или двух статьях, одна из них была по «Эстетике», я позволил себе выразить собственные философские воззрения, и этот материал и сегодня мне кажется оригинальным. Я лелеял мысль о том, чтобы собрать в одну маленькую книгу ряд таких статей и мои более ранние сочинения на философские темы. Однако, наряду с этими весьма оригинальными и хорошими статьями, я позволил себе писать о предметах, по которым не имел соответствующей подготовки. Так статьи, написанные мною о баллистике, были абсолютной галиматсией. Я надеюсь, что мистер Райнс не пропустил их.

Несмотря на все недостатки и неприятные стороны литературной поденщины, она была для меня прекрасным курсом обучения. Я научился писать быстро, аккуратно, прилагая минимальные усилия, о предметах, о которых я знал очень мало. Просматривая написанный мною материал, я освоил специальность корректора.

Проблемы развития литературного стиля любопытным образом связаны с проблемой развития умения говорить на иностранных языках. Опыт, который приобретается в литературной поденщине, абсолютно напоминает опыт человека, погруженного в иностранную языковую среду, где он вынужден говорить на иностранном языке день за днем. Нельзя отрицать того, что литературный английский, хотя и тесно связан с разговорным английским, и его сильное отличие от разговорного слишком рискованно,

так как связано с проблемой понимания, и все же он отличается от разговорного достаточно сильно. Например, метафоры и специальные обороты речи, свойственные эффектному литературному стилю, оказываются тяжеловесными и «чопорными» для разговорного английского. Таким образом, проблема развития письменной речи для человека, уже умеющего эффективно использовать язык в устной речи, заключается в развитии той же свободы в этой утонченной сфере, какая присуща ему при разговоре. Если я хочу хорошо говорить на испанском, я должен думать на испанском, и мне не следует поддаваться соблазну переводить с английских фраз на испанский. Потому что то, что я говорю на испанском, переводя это с английского, никогда не будет соответствовать точно тому, что сказал бы человек, говорящий на испанском. Точно так же, если мне надо написать стихи или роман или научное эссе без особых затруднений, я должен достаточно практиковаться в том, чтобы выражать себя в соответствующей языковой форме, чтобы слова, которые я диктую или записываю, сразу складывались в поэтический английский или образный язык романиста или язык эссеиста-философа. Мои метафоры и речевые обороты должны рождаться свободно без мучительных поисков с моей стороны, конечно, не обязательно сразу же в той отполированной форме, но, по крайней мере, близкой к ней. Я не отрицаю необходимости пересмотра написанного для того, чтобы избавиться от слабых мест и не совсем точных выражений. И у меня нет желания предписывать другим писателям то, что входит в сферу чрезвычайно индивидуального выражения их собственной мысли. Но, если говорить обо мне, работаю ли я в сфере математики или же занимаюсь сочинением чего-либо, я не могу полностью выразить свои собственные мысли до тех пор, пока я не проникну глубоко в свое подсознание.

Я был счастлив в Олбани. Мне нравились люди, с которыми я работал, и мои работодатели, и мне нравилось это новое ощущение независимости. Поскольку моя новая работа отличалась от того, чем занимался отец, то и давление, и критика отца стали неизмеримо меньше, чем тогда, когда я работал в университете штата Мэн. Кроме того, я стал старше и более твердо стоял на собственных ногах. По сравнению с Ороно или Бангором, Олбани был раем чистоты, традиций и цивилизации.

Несмотря на мое новое состояние счастья и довольства, где-то в глубине моего сознания всегда присутствовала мысль о войне. Опыт на службе подготовки офицеров резерва продемонстрировал мне мою абсолютную непригодность к армейской службе, но у меня все еще была надежда получить допуск к ограниченной службе в качестве частного лица по усло-

виям нового законопроекта. В это время я стал членом полка штата Нью-Йорк (New York State Guard). Это была организация, которая расположилась на оружейных складах после отправки на фронт Национального Полка (National Guard), и ее обязанность состояла в том, чтобы охранять источники подачи воды и электростанции. Мне не особенно по нраву была такая полуактивная служба, но моя прежняя выучка способствовала тому, что я был вполне пригоден для службы на оружейном складе. Когда пришла весна, мы стали проводить субботы, а иногда и воскресенья на острове в Гудзоне, где был полигон для стрельбы из ружей.

Обычно время от времени я ездил в Кембридж во время своих коротких отпусков. Моя сестра Констанс делала попытки ввести меня в общество своих друзей из Радклиффа, и я помню, что среди них была девушка из Австралии, с которой я иногда проводил время. Свой короткий летний отпуск я провел в Нью-Гемпшире, а затем вернулся к работе в издательстве «Encyclopedia». Но к тому времени стало ясно, что такая работа, абсолютно приемлемая в качестве обучающей ступени на моем профессиональном пути, совершенно не удовлетворяла меня в качестве окончательного пристанища.

Я не испытывал уныния от того, что занимался работой, хотя и доставлявшей мне радость, но ведущей в никуда. Эта работа очень во многом как нельзя лучше подходила моему возрасту. С точки зрения той эффективности, с которой развивалась моя жизнь, это может показаться деградацией, но я сам так не думаю.

В жизни человека ни обычный рассказ в иллюстрированном журнале о чем-то успехе, ни трагедия в греческом духе не могут быть естественным и имеющим значение выходом. То, что в конце человек умирает, это понятно, но понятно также и то, что этот факт физического конца чьей-то жизни не является имеющим для него значение выходом. В путешествии, начинающемся в небытие и заканчивающимся в небытие смерти находится все то, что является действительно важным в жизни, и это путешествие не имеет ничего общего ни с полным драматизма плаванием среди штормов, ни с триумфальным шествованием от успеха к успеху; время от времени наступают периоды неудач или периоды затишья на морских просторах.

Может показаться, что после раннего развития и получения ученых степеней в столь раннем возрасте эта рутинная работа рабочего мастерской, компилятора, вычислителя и журналиста является шагом назад. Но для меня все это было примерами жизненного опыта в мире, окружавшем меня, большую часть которого мальчик обычно приобретает в более раннем

возрасте в виде обычной последовательности его естественного развития. Поскольку у меня не было возможности познать этот жизненный опыт в более раннем возрасте, и поскольку контакт с миром, окружающим любого человека, представляет собой существенную часть его образования, эти ежедневные переживания имели для меня то очарование и ту новизну, которые воспитанный в нормальных условиях мальчик никогда не смог бы ощутить. Таким образом, описание этих периодов жизни и моей реакции на них является столь же существенным для этой книги, как и все прочее, и, вероятно, это самые волнующие страницы.

Когда я снова начал искать работу, я услышал о вакансии на математическом отделении в Пуэрто-Риканском университете. Я отправил свои бумаги в качестве кандидата, но не получил никакого ответа. Несколькими днями позже я получил срочную телеграмму от профессора Освальда Веблена с нового испытательного полигона в Абердине, штат Мэриленд. Он просил меня приехать, чтобы принять участие в работе персонала по баллистическим испытаниям в качестве гражданского лица. Это был шанс для меня по-настоящему участвовать в работе, связанной с войной. Требовался мой безотлагательный приезд, поэтому я тотчас же встретился с Райнсом и уволился с работы в «Encyclopedia». Я сел на ближайший поезд до Нью-Йорка, где я сделал пересадку и направился в Абердин.

Абердин в штате Мэриленд в то время был маленьким ничем не примечательным провинциальным городком. Небольшая ветка железнодорожной линии, находившейся в распоряжении правительства, соединяла деревню с местом, где не было даже железнодорожной станции, и где мне надо было сойти с поезда. Я обнаружил целый ряд времянок, стоящих прямо на болоте, с тех пор это место превратилось в маленькую правительственную станцию, имеющую весьма приятный вид. В те же дни трактор стоял всегда наготове, чтобы вытаскивать огромные грузовики из топи.

Создание абердинского испытательного полигона явилось очень важным событием как в истории науки Соединенных Штатов, так и в профессиональной деятельности отдельных ученых, работавших там. Хотя научная работа в Америке уже в течение долгих лет была на высоком уровне в астрономии, геологии, химии и других сферах, все же большинство лучших представителей прошли обучение в Европе, а то и просто были приглашены из Европы. Математика сильно отставала от этих наук, как это было принято считать. Как я уже говорил ранее, Биркгоф был первым по-настоящему великим американским математиком, достигшим вершин в этой науке без обучения в Европе. К тому времени прошло всего лишь шесть лет, как

он получил свою первое научное звание в 1912 году. Таким образом, мы, американские математики, были очень слабым звеном, и в стране нас воспринимали как большую группу бесполезных недотеп со знаками отличия. Было практически невозможно поверить, что мы могли сыграть какую-либо полезную роль в государственной военной мощи.

Война с Германией повлекла за собой проектирование новых видов артиллерии и военного снаряжения. Для каждого вида артиллерийского вооружения и для каждого типа военного снаряжения необходимо было создать совершенно новую таблицу стрельбы и выдать ее непосредственным участникам сражений. Эти таблицы стрельбы состояли из перечня ожидаемой от пушек и другого военного снаряжения дальности стрельбы для каждого угла вертикальной наводки, вместе с поправками на откат лафета, изменение системы при угле вертикальной наводки, на избыточное количество в системе порохового заряда или избыточный вес снаряда, на ветер, давление воздуха в полете, и т. д. Таблицы должны были содержать расчеты вероятных погрешностей для всех исходных данных. Старые методы составления таблиц стрельбы оказались как медленными, так и слишком неточными для современных нужд, и были совершенно непригодны в новой и очень увлекательной сфере, стрельбе по самолетам. Следовательно, возникла срочная необходимость в каждом способном человеке, имеющем математическое образование, чтобы работать на вычислительных машинах, и гражданские лица такие же, как я, были вынуждены пойти на службу. Призванные на службу математики были отправлены в артиллерийские войска и в Абердин, и даже офицеров отозвали с фронта, чтобы усадить их за письменные столы, где они работали с логарифмической линейкой.

Профессор Освальд Веблен из Пристона получил звание майора артиллерийских войск и стал во главе этой разнородной группы. Его правой рукой были капитан Ф. У. Лумис и первый лейтенант Филипп Алгер, позднее ставший капитаном, отец которого был великолепным экспертом в баллистике на морском флоте. Что касается нас остальных, мы жили в несколько странном окружении, где занимаемое производственное положение, армейское звание и ученое звание — все играло роль, и лейтенант мог обращаться к рядовому «Доктор» или выполнять приказы сержанта.

Одна единственная вещь имеет значение: мы выполнили то, что от нас ожидали. Это был период, когда все армии мира осуществляли переход от неточной старой формальной баллистики к точному решению дифференциальных уравнений, и мы, американцы, не отставали ни от своих врагов, ни от своих союзников. И на самом деле, в вопросах интерполяции и расчета

поправок для исходных баллистических таблиц профессор Блисс из Чикаго великолепно использовал новую теорию функционалов. Таким образом, общественность впервые поняла, что мы, математики, можем играть какую-то роль в этом мире. Конечно, нас еще не рассматривали как волшебников, каковыми считали химика и инженера.

В этом смысле нам сопутствовала удача, так как из-за завоеванного нами престижа нам значительно повысили заработную плату, и стало гораздо легче найти работу, и поскольку власти предполагали, что мы не представляем особой важности, они не пытались вмешиваться или прибирать нас к рукам. Эмерсон рассказал не все о судьбе человека, создавшего более усовершенствованную мышеловку. Не только люди обивают порог его дома, однажды на его оскверненном дворе появляется преуспевающий представитель Корпорации Мышеловок, который покупает его за сумму, позволяющую ему выйти из дела по производству мышеловок, а затем этот представитель выбрасывает на рынок мышеловки, подогнанные под обычный стандарт, сохраняя в них, быть может, какое-либо усовершенствование, придуманное изобретателем, но все же в самом дешевом и незатейливом виде, какой способен стать предметом спроса. Зачастую восхитительный продукт частного производства, скажем, небольшого предприятия по производству сыра, сейчас продается крупным производителям сыра, которые превращают его наряду с продуктами сотен других предприятий в неприятный вулканизированный белковый пластик.

Во время Второй мировой войны и в течение некоторого времени после нее успех американского ученого обрекал его на судьбу американского сыра. В эту войну каждый химик, каждый физик, каждый математик был насильно призван на службу правительству, где свобода его деятельности была строго ограничена, что всегда сопутствует работе над секретными материалами, и сведена к разработке небольшого объема проблемы; ученого намеренно держали в неведении относительно всей сферы применения того, над чем он работает. Хотя и объясняют такое положение дел тем, что необходимо предотвратить утечку секретных сведений в руки врага, и несомненно это является одной из причин, но это также, вне сомнений, связано с американским стремлением к стандарту и недоверием к выдающимся способностям отдельной личности. А это, в свою очередь, связано с нашей любовью к правительственным проектам и к частным лабораториям с бюджетом, равным миллионам долларов, поощряющим традиционное эдисоновское исследование по всем, какие только возможны, направлениям за счет беспорядочного и непредсказуемого использования разума и интеллекта.

Однако в те давние времена создания испытательного полигона в Абердине Король Равнодушия уже умер, а Ее Величество Строгая Регламентация еще не взошла на трон. Это был период становления в американской математике. В течение долгих лет после Первой мировой войны большая часть американских математиков была представлена теми, кто на себе испытал дисциплину этого испытательного полигона. Я говорю о таких людях, как Веблен, Блосс, Гронволл, Александер, Ритт и Беннет.

Меня особенно интересовали молодые люди. Там я встретил Хьюберта Брейя, которого не видел с тех пор, как закончил колледж Тафтс. Брей в течение ряда лет работал в институте Райс, и сейчас он занимает там пост руководителя математического отделения. Какое-то время мы жили вместе. Позднее я переселился в переполненную комнату в одном из гражданских барачков к Филиппу Франклину, ставшему позднее моим зятем и коллегой по Массачусетскому технологическому институту, и к Гиллу из Нью-Йоркского колледжа. Я также какое-то время находился в приятельских отношениях с Порицким, позже оставившим математику и научную работу и занявшимся прикладной математикой, устроившись на работу в компанию Дженерал Электрик, и с Уиддером, преподающим сейчас в Гарварде на отделении математики.

Этот перечень далеко не полный. Гроштейн, оставивший Гарвард ради работы на испытательном полигоне, а затем ушедший на армейскую службу в качестве офицера, был долгое время ведущим математиком в Гарварде, вплоть до своей безвременной кончины. Я не упомянул огромное число имен астрономов, инженеров, преподавателей средних школ, с которыми в последние годы практически не встречаюсь.

Франклин и Гилл, которым было по девятнадцать лет и которые были значительно моложе меня, были моими близкими друзьями. Когда мы не работали на шумных ручных вычислительных машинах, называемых нами «дробилки», мы играли на протяжении нескольких часов в бридж, используя эти самые машины для подсчета очков. Иногда играли в шахматы или в недавно изобретенный вариант этой игры, рассчитанный на трех игроков, или же подвергали себя опасности, поджигая бездымный порох или ТНТ (тротил). Мы вместе ходили плавать в холодных солоноватых водах залива Чизепик или прогуливались в лесах среди растительности, слишком южной, чтобы быть нам знакомой. Я помню дынные деревья, на которых плоды росли в экзотической тропической манере прямо из ствола дерева.

Чем бы мы не занимались, мы всегда говорили о математике. Многие из наших разговоров не обязательно приводило нас к каким-то непосред-

ственным исследованиям. Я помню какие-то полуготовые идеи о геометрии Пфаффьянса, которой я заинтересовался из-за Габриэля Маркуса Грина из Гарварда. Я не могу вспомнить все другие вещи, обсуждаемые нами, но я уверен, что эта возможность жить на протяжении длительного периода в математике и с математиками укрепила в нас стремление посвятить себя нашей науке. Довольно любопытно то, что эта жизнь оказалась очень похожей на замкнутую, но полную энтузиазма жизнь в науке, которую мне довелось узнать в английском Кембридже, и какую нельзя встретить ни в одном из американских университетов.

За время своих отпусков я несколько раз съездил домой. Я много времени провел с Г. М. Грином во время этих поездок. Он очень увлекся моей сестрой Констанс, ставшей многообещающим математиком. Однажды, во время моего приезда домой я обсудил с родителями план, давно занимавший мои мысли и состоявший в том, чтобы использовать мои связи на испытательном полигоне для зачисления меня в армию на ограниченную службу. Наконец, в октябре 1918 года появилась такая возможность, и при содействии майора Веблена я отправился в соседний городок, бывший главным городом округа, чтобы получить документы о моем призыве.

Меня отправили в пункт призывников в Форт Слокум, находившийся на острове недалеко от побережья округа Уэстчестер штата Нью-Йорк. Уже было ясно, что война близилась к концу. Меня пугала непоправимость совершенного мною поступка. Я чувствовал себя так, словно был приговорен к заключению. Толпа новобранцев и их вид, с одной стороны, напуганных мальчишек, а с другой, крутых, преисполненных важности молодых солдат, не вызвали во мне никаких приятных ощущений. Единственно, что облегчало мою жизнь на острове, это присутствие другого такого же, как и я сам, не имеющего отношения к военным, новобранца д-ра Гарри Вулфсона с Гарвардского отделения семитских языков. Моя униформа обтягивала мою упитанную фигуру, а в униформу Вулфсона можно было поместить двоих таких, как он. Но даже несмотря на эти военные формы, мы все равно выглядели как профессора колледжа, когда прогуливаясь по дамбе, рассуждали об Аристотеле, средневековом еврейском языке и об арабской философии.

В конце концов, некоторых из нас отправили обратно на Абердинский испытательный полигон. Мы проплыли вокруг Манхэттена на буксирном судне и на одной из станций на побережье Джерси пересели в поезд, направляющийся в Филадельфию. В Филадельфии нас оглушил звук паровозных свистков в честь первых ложных сообщений о перемирии с Германией, а из окон учреждений дождем сыпались газеты. Два дня спустя, когда мы уже

получили предписание вернуться на испытательный полигон, рано утром нас собрали и сообщили, что было подписано настоящее перемирие.

Военная иерархия на испытательном полигоне была крайне своеобразной. Кроме группы руководителей, группы баллистиков и некоторых других групп подобного рода, там были рабочие, занимающиеся шитьем мешков для пороха, а также выполняющие земельные и строительные работы. Последние, в основном, были мужчины, не призванные на службу на фронте из-за венерических заболеваний. Все группы были перемешаны между собой, безотносительно к занимаемым должностям собирались в компании и расселялись по баракам. Я полагаю, мне не стоит разъяснять то, что я непрерывно переживал шоковое состояние, которое переживает человек, оказавшись среди людей, постоянно изрыгающих грязные ругательства, и еще не привыкший к грубой откровенности армейской жизни.

Два раза я нес караульную службу. В первый раз я очень легко справился с этим, поскольку мне надо было совершать обходы в здании, где размещались хроноскопы и научная библиотека. Между обходами у меня было много интересного материала для чтения. В другой раз мне пришлось нести службу обычного часового, таская ружье с прикрепленным штыком. Мне показалось трудным не иметь возможности вздремнуть и оставаться достаточно бодрым, чтобы откликаться дежурному по караулам. Ранним утром я немного отдохнул на голой пружинной кровати в комнате для караульных; и хотя, проснувшись, я чувствовал себя разбитым, достаточно было выданной всем нам большой чашки дымящегося кофе с сэндвичами, чтобы вновь взбодриться.

Кроме этих военных поручений и работы в офисе я выполнял кое-какую работу на стрельбище, собирая данные для таблиц стрельбы для зенитного огня. У нас была специальная телефонная линия, соединяющая точку размещения орудий с двумя или тремя наблюдательными пунктами, где наблюдатели следили через диоптрический прицел за отражениями взрывов снарядов в плоских горизонтальных зеркалах, расчерченных координатными сетками. Из-за слабого зрения я выполнял обязанности телефониста-оператора орудия; я лежал на земле вблизи неприятного шума и грохота стрелявшего орудия и передавал наблюдателям время выстрела, взрыва снаряда и о пятисекундных интервалах после этого. Эти интервалы давали возможность тем, кто наблюдал в зеркала, синхронизировать свои наблюдения за движением дыма по ветру, и следовательно, вычислять скорость ветра вверху. Также в мои обязанности входило уведомлять орудийную команду о том, что наблюдатели готовы.

Наблюдатели отправлялись на свой пункт на старом фордовском легковом автомобиле-фургоне, иногда они пересекали полигон, где происходила стрельба. Теоретически офицер службы безопасности обязан был прекращать огонь, чтобы позволить им проехать; но со временем даже офицеры службы безопасности теряли бдительность, и эта мера предосторожности порой не выполнялась. Я помню, как однажды наблюдатели с наблюдательного пункта пожаловались, что шрапнель пробила их крышу. «Хорошо, — сказал офицер службы безопасности, — мы произведем еще пару выстрелов и на этом закончим.»

Пока в нас жило чувство, что мы работаем во имя победы, мы сохраняли высокий боевой дух. После объявления об окончании военных действий у всех появилось ощущение, что мы топчемся на месте; а те, кого призвали в последний момент, вообще ощущали себя группой дураков. Гражданские служащие стали уезжать при первой же возможности, а мы, военнослужащие, проходили военную службу до тех пор, пока нас не отослали в лагерь, где освободили от воинской обязанности.

Даже имея темперамент, не подходящий для регламентированной жизни, и довольно сильное нежелание видеть то, чем я занимался, и узнавать о том, что все это значило, эти несколько месяцев армейской жизни оказались для меня своего рода убежищем от накопившейся за годы усталости из-за постоянной необходимости принимать решения. Уже много раз было говорено, что солдат и монах очень схожи между собой. Из-за пристрастия к регламентированной жизни и страха перед необходимостью делать выбор и нести ответственность, и чтобы почувствовать себя более защищенными, некоторые люди надевают форму солдата или рясу монаха.

Мне было крайне интересно то, как закончится война, и какой будет послевоенная жизнь. А пока я выжидал. Эта эмоциональная заторможенность возникла у меня перед моим поступлением на службу, когда я провел довольно продолжительный период времени в армейском лагере, и продолжалась долго; но она стала проходить вместе с временным ее ослаблением, вызванным заключением мира, и с возникновением надежды, что все может вернуться на круги своя.

Пока я ожидал приказа отправиться в лагерь Девенс в Айре, штат Массачусетс, чтобы окончательно уволиться из армии, разразилась эпидемия гриппа. Сначала мы не воспринимали ее всерьез, но вскоре мы стали узнавать о смерти то одного, то другого солдата. Мы все носили маски от гриппа, а огромный и неуклюжий профессор Гаскинс из Дартмута окуривал нас из своей трубки. Один очень честный и сознательный солдат, выпуск-

ник Массачусетского технологического института, посланный на разгрузку вагона, пожаловался на недомогание. Врач отослал его обратно на работу, а на следующий день он умер от воспаления легких.

Печально было видеть плохо отесанные сосновые гробы, громоздящиеся на станционной платформе, и думать о том, кто следующий. Я получил телеграмму от отца, в которой он сообщал, что мой друг д-р Г. М. Грин с Гарвардского отделения математики, обрученный с моей сестрой Констанс, только что скончался в результате эпидемии. Эта новость сильно потрясла меня. Она пришла незадолго до моего отъезда в лагерь Девенс.

Внешне Айер показался мне таким же, каким он был в дни моей юности, однако в нем произошло много важных перемен. Поскольку железные дороги имели тенденцию к удлинению, а такие маленькие ответвления, как Айер, стали приходить в упадок, этот город потерял свою былую славу важной железнодорожной узловой станции. А с другой стороны, лагерь Девенс, возникший лишь в начале войны, стал намного больше самого города, и торговцы наживались, продавая товары солдатам.

Практически нечем заняться, когда ожидаешь увольнения. Надо было пройти медицинский осмотр и подписать кое-какие бумаги. На один день меня отправили работать на разгрузке угля для электростанции. Большую часть времени я проводил в различных библиотечных пунктах, читая произведения Г. К. Честертон. Наконец наступил день моего увольнения, и после короткого визита к моим друзьям, жившим у аптеки Брауна, я сел на поезд и отправился домой.

XVIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ К МАТЕМАТИКЕ

Окончание войны принесло с собой в нашу семью острое чувство утраты, связанное со смертью Г. М. Грина. Грин был обаятельным и скромным молодым человеком, сильно привязанным к моей сестре Констанс, искренним и нежным. Он был также большой потерей для современной науки, поскольку он разработал совершенно индивидуальный подход к геометрии, и казалось, он станет тем элементом на математическом отделении в Гарварде, которого так не хватало. Смерть молодого человека на самом пике его профессиональной карьеры, вероятно, является одной из самых величайших трагедий, и нам всем, моей сестре, моим родителям и мне самому, было тяжело сознавать, что наш друг покинул нас навеки.

Родители Грина отдали его книги по математике Констанс, как той, которая больше всех находилась с ним в последние месяцы его жизни, и той, которой эти книги были нужнее, чем кому-либо еще. Констанс отправилась в Чикаго в надежде забыть о своей тяжелой потере, насколько это было возможно, занявшись новой работой. Поэтому у меня появилась возможность взглянуть на эти книги и прочесть их. Они появились как раз тогда, когда это было нужно для моей работы.

Впервые я по-настоящему хорошо стал понимать современную математику. Среди этих книг были «*Theorie des equations integrales*» («Теория интегральных уравнений») Вито Вольтерра, книга с таким же названием Мориса Фреше и другая его книга о теории функционалов, «*Funktionentheorie*» («Теория функций») Осгуда, книга Лебега о теории интегрирования (которой я уделил особое внимание) и, как мне кажется, какая-то книга на немецком также о теории интегральных уравнений.

Однако чтением книг по математике нельзя было оплатить ни еду, ни проживание в родительском доме, и само по себе чтение не продвигало меня в моей профессиональной деятельности. Я вновь принялся за поиски работы. Я разослал свои заявления в различные агентства по найму учителей, но был еще только февраль, и, похоже, до следующего сентября невозможно было найти место преподавателя. На озере Силвер соседом моих родителей

во время летних сезонов был мистер О'Брайен из бостонского «Геральда», и они отправили меня к нему в надежде, что он сможет предоставить мне работу в своей газете. Мой опыт в издательстве энциклопедии говорил в мою пользу. Однако я не мог понять, каким образом намеревался мистер О'Брайен использовать мои способности математика, обучая меня на должность финансового редактора. Для этого у меня, конечно же, не было ни таланта, ни склонности.

Весьма распространенным является то, что путают работу бухгалтера с работой математика. Разница между математикой, где важную роль играет воображение, и счетоводством очевидна, и в равной мере она видна между счетоводством и вычислением. Бухгалтер должен учитывать каждый цент. Его обязанность заключается в том, чтобы устранять несоответствия, порождающие возможность для кого-либо присваивать неучтенные деньги. Математик вычисляет с точностью до какого-то числа после запятой. Его максимально допустимая ошибка представляет собой не абсолютную величину такую, как цент, а установленную долю наименьшей величины, с которой он имеет дело. Вычислитель, превращающийся в бухгалтера, склонен оставлять значительные суммы денег неучтенными, тогда как бухгалтер превращает вычисление до подсчета двух знаков после запятой, где логичнее было бы из-за поставленной задачи учесть четыре или пять знаков, а в другом случае ни одного. И если человек недостаточно молод и гибок, то для него такой переход от одного задания к, казалось бы, аналогичному другому заданию просто катастрофа.

К счастью, я избежал подобной участи, поскольку мне предложили работу журналиста. В бостонском «Геральде» я писал статьи, и там я познакомился с мусорной корзиной и печатным словом, шумом пишущих машинок и линотипов и с общим ощущением спешки и суеты, естественных для редакции городской газеты. Я попробовал написать несколько передовых статей. Очень скоро я познакомился с тем, с каким тщанием автор передовиц должен проверять факты, чтобы не задеть ненароком чьих-либо чувств. Затем мне поручили писать статьи для воскресных выпусков.

Текстильная промышленность Лоуренса переживала одну из своих периодических забастовок, и меня послали, наделив полной свободой действий, для подготовки большого репортажа о ситуации. В то время я был менее либерально настроен, чем теперь. Случись мне встретить одного из руководителей профсоюза Лоуренса в поезде, я бы не удивился, если бы обнаружил, что у него есть рога и копыта. Вопреки моим ожиданиям, руководителем оказался прекрасный, милый пожилой человек, выходец из

Ланкашира, покинувший Англию, когда приближение промышленной революции ощущалось едва-едва. Он был свидетелем того, как филантропия первых производителей Новой Англии открыла путь владельцам, живущим вдали от своих владений, а английские ткачи были вытеснены канадцами французского происхождения, бельгийцами, итальянцами и греками. Он продолжал применять власть, работая с молодым поколением, хотя уже понял, что управлять этим поколением надо по-другому, не как их предшественниками; и молодые стали растить своих собственных профсоюзных лидеров под его руководством.

Он сказал мне, чтобы я присмотрелся к жилищным условиям в Лоуренсе, и к тому, как проводится работа по американизации иммигрантов. Также он дал мне список священников и лидеров профсоюза, чтобы помочь мне понять истинную жизнь различных иностранных элементов в Лоуренсе. Я оценил по достоинству честность этого человека и посчитал его совет разумным и полезным.

Лоуренс был больным городом. Фабрики задыхались от перенасыщенности устаревшим оборудованием и от конкуренции с Югом, где не было еще никаких норм по найму на работу, и где из-за более благоприятного климата выплачивалась более низкая заработная плата. Многие владельцы лоуренсовских фабрик никогда не бывали в Лоуренсе, оставив все проблемы, связанные с управлением и наймом рабочих, на усмотрение своих агентов, пытавшихся удовлетворить требования работодателей относительно прибылей и требования рабочих более высокой оплаты труда и улучшенных условий производства. Жилищные условия были ужасающими, и хотя работодатели оправдывали это, приводя избитый довод, что рабочие, нанимаемые ими, очень быстро приводят в неприглядное состояние любое приличное жилье, всегда можно было ответить на это, что предоставление такого гнусного жилья делает невозможным нанимать более приличных рабочих. Я посетил одно из занятий по адаптации иммигрантов к американскому образу жизни в ассоциации молодых христиан и пришел в ужас от того, что там увидел. Преподаватели не только не имели понятия о родном языке тех людей, которых они учили, а это был итальянский на том занятии, что я посетил, но они абсолютно не соприкасались с образованными людьми из иммигрантских обществ. Учебники, используемые на занятиях, призывали рабочих любить и почитать боссов, а также во всем подчиняться начальнику, как самому Иегове. Это был именно тот унижающий вздор, способный оттолкнуть любого рабочего, обладающего характером и независимостью.

Я опубликовал свои репортажи об этих вещах, представив их в том виде, как я видел их, и они вызвали некоторое противодействие, но, в целом, оно было более слабым по сравнению с тем, что я ожидал. Мне должна бы нравиться мысль о том, что мои статьи как-то повлияли на общественное мнение, заставив людей придать большее значение вопросу о более достойных жилищных условиях, и, возможно, они оказали небольшое влияние на более позднее благоустройство садовых городов типа Шаушин Виллидж в районе Лоуренса.

После этого задания О'Брайен поручил мне заняться политическими делами, которые были особенно ему по сердцу. Задание заключалось в том, чтобы подготовить все для выдвижения в кандидаты на пост Президента Соединенных Штатов генерала Эдвардса, бывшего командующего дивизионом Янки. Насколько я мог видеть после встречи с Эдвардсом, он был довольно благодушным пожилым джентльменом, ничем особенно не выделявшимся. Это задание не доставляло мне удовольствия. Между делом я навестил всех его друзей и родственников в Кливленде, Огайо и на Ниагарском водопаде, я встретился с бывшим Президентом Тафтом и другими выдающимися людьми в Вашингтоне, которые знали его по Филиппинам.

Несмотря на весь мой опыт в литературной поденщине в издательстве энциклопедии, я так и не научился писать с энтузиазмом о том, во что я сам не верю. Меня уволили из «Геральда», а статьи об Эдвардсе были поручены более ответственной рабочей лошадке. Я был готов уйти из газеты, и я благодарен за предоставленный мне опыт в написании статей, полученный мной в дни работы в ней, а также за более глубокое знакомство с американской жизнью.

Я покинул второе место работы, связанное с необходимостью писать, чтобы зарабатывать на жизнь, с новым ощущением, что литературная поденщина имеет свои преимущества. В целом, наши курсы английского языка в колледжах далеки от того, чтобы научить нас писать по-английски, так же, как курсы иностранных языков не могут дать нам истинного знания иностранного языка. Они сродни вводным курсам. Им не присущ уровень требований, который ставит студента перед необходимостью писать по тысяче слов в день, которые можно принять с критической точки зрения, или же в противном случае он понесет суровое наказание в виде лишения его куска хлеба. Они знакомят его с английским языком точно так же, как нас знакомят с юной леди на какой-нибудь вечеринке: мы не совсем расслышали ее имя и при повторной встрече вряд ли ее узнаем. После того как я ушел из «Encyclopedia», а особенно после того, как я покинул «Геральд», я

чувствовал в себе достаточную уверенность в том, что, если так случится, и мне придется сказать свое слово в печати, я смогу это сделать правильно и убедительно.

Таким образом, я рад, что мне выпало легкое испытание попробовать себя в качестве литературного поденщика между моими годами скитаний и годами, когда я стал мастером своего дела. Кроме того, мой опыт в качестве подмастерья принес мне в итоге независимость, приобрести которую никаким иным способом я не смог бы. Я не только зарабатывал себе на жизнь, но я еще делал это так, что отец не мог предъявить мне никаких претензий; и по большей части я работал вдали от дома и родительской опеки. Другими словами, я выросел.

В период моей временной безработицы я работал над двумя статьями по математике. Обе они касались расширения до обычной алгебры идеи Шеффера о ряде аксиом посредством одной фундаментальной операции. Я написал эти статьи среди стеллажей Гарвардской библиотеки, что находилась рядом с офисом моего отца. Они были опубликованы на следующий год. Хотя они и представляли такие направления, у которых, насколько мне известно, не нашлось последователей, все же они были самым лучшим из того, что я когда-либо написал по математике. Однако вскоре я оставил алгебру и аксиоматический метод и занялся анализом, который, как мне казалось, давал более богатую и существенную пищу для ума. Сейчас мне трудно как-либо оценить те работы или даже вспомнить, что же конкретно в них было.

В течение нескольких лет я пытался найти издателя для моих гарвардских обучающих лекций. Поскольку они не были завершенной работой, я не думаю, что я совершенно неправ в том, что вижу в идее конструктивной логики, которую я развивал в этих лекциях, определенный подход к идеям, посредством которых Гедель смог показать, что в каждой системе логических аксиом существуют теоремы, истинность или ложность которых невозможно доказать на основе этих аксиом. В конце концов, я отослал рукопись П. Э. Б. Журдену, выдающемуся английскому логик, жившему рядом с Кембриджем, и с которым я уже какое-то время переписывался. Когда я жил в Кембридже, я попросил его принять меня у него дома, но мы так и не смогли выбрать для этого время. Когда я выслал ему рукопись, и долгое время после этого я не знал, что он безнадежный инвалид, едва способный пошевелить пальцем. Он хорошо знал о том, что у него заболевание Фредерика, атаксия, врожденное нарушение нервной системы, всегда заканчивающееся параличом и ранней смертью. Невзирая на это смертельное

заболевание, он женился и стал редактором серьезного философского журнала «Монист» («Monist»). Он написал полную юмора критическую книгу о философии Бертрانا Расселла, в которой каждая глава предварялась соответствующим отрывком из Льюиса Кэрролла.

Моя рукопись пришла к Журдену за несколько месяцев до его смерти. Если бы я знал, что он так болен, я бы, конечно, не послал рукопись Журдену, чтобы не ставить его в неловкое положение. Тем не менее, она была напечатана, и журнал «Монист» переплел отдельные отпечатки моей рукописи, поскольку она была напечатана частями в трех номерах журнала, оформив ее как книгу. Это доставило мне удовольствие, и я воображал, что опубликована моя книга.

Статьи нашли лишь небольшой отклик. Профессор Брод из Кембриджа ссылался на них; но в те дни работа в математической логике не могла помочь в том, чтобы получить работу преподавателя математики или философии. Сегодня математическая логика является признанной профессиональной деятельностью. Подобно некоторым другим наукам, это профессия для эпигонов, а не для первопроходцев. Там стоят столы, за которыми гостей обслуживают только после того, как стол полностью сервирован. Самые лучшие профессии сохраняются для студентов, делающих именно то, что было своевременным в дни молодости их профессоров, поскольку «глиняные идолы», как известно, не выносят *hybris*¹.

Весной 1919 года я прослышал о двух вакансиях на должность преподавателя, и обе они показались мне в равной степени привлекательными. Об одной я услышал в агентстве по найму преподавателей, на отделении науки в Кливленде; другая, на которую я обратил внимание из-за профессора Осгуда из Гарварда, была в Массачусетском технологическом институте. Я не думаю, что профессор Осгуд был высокого мнения обо мне или о предлагаемой работе, поскольку прежний вклад в математические исследования, сделанный Массачусетским технологическим институтом, был ничтожен, а отделение математики тогда выполняло исключительно роль обслуживающего отделения, готовя студентов для выполнения требований по математике, предъявляемых профессией инженера. Однако в послевоенные годы был огромный спрос на любого, кого можно было назвать математиком. У меня были некоторые надежды, что профессор Веблен сможет взять меня к себе как члена группы, работавшей на испытательном полигоне, как он взял Франклина и многих других, из которых он создал впоследствии поистине

¹Гордость (*греч.*)

знаменитое отделение математиков в Принстоне; но хороших кандидатов было много, а я не вошел в число тех, кому он отдал свое предпочтение.

Я навестил профессора Тайлера, руководителя отделения математики в Массачусетском технологическом институте. Это был маленький человек с бородой и умными глазами; он не был математиком-исследователем, но он обладал дальновидностью и всеми силами стремился упрочить репутацию и благополучие своего отделения. Он определил меня на должность преподавателя, чтобы я помог управиться с новым поступлением, с перспективой предоставления мне более постоянной работы, если я буду хорошо справляться с порученной мне работой, но без каких-либо твердых обещаний. Он предложил мне заниматься прикладной математикой. Так случилось, что мои непосредственные исследования на отделении касались чистой математики, однако благодаря счастливым тридцати трем годам совместной работы с Массачусетским технологическим институтом и приобретенным знакомствам среди инженеров, а также участию в решении технических проблем мои чисто математические исследования обрели прикладной оттенок, так что обо мне в какой-то степени можно сказать, что я выполнил то, что мне было предписано профессором Тайлером.

В это время Гарвард был втянут в огромный диспут относительно *numeros clausus*¹ евреев. Чтобы воплотить свою идею о сохранении Гарварда как единого учреждения и колыбели правящего класса, президент Лоуэлл предложил ввести некоторые ограничения относительно числа принимаемых евреев. Всем было дано понять, что это административная мера и попытка противодействовать этому могла привести к тому, что попытавшийся мог опалить свои крылышки. Мой отец был категорически против ограничения числа студентов евреев, и я с гордостью могу сказать, что когда стали говорить, что в этом есть некая несправедливость и унижение, моя мать без колебаний поддержала отца. Все это происходило в период, когда я сам был вынужден искать прочное основание для своей профессиональной деятельности. Мое чувство принадлежности к национальной группе, в отношении которой допускалась такая несправедливость, убило во мне последнее желание сохранять дружеские отношения с кем-либо из Гарварда и остатки моей привязанности к нему.

В детстве я не осознавал совершенно существования антисемитского предубеждения. У моих родителей было много друзей, любивших их и в чем-то ими восхищавшихся, но были также и такие, к кому родители

¹Ограничение численности (*лат.*)

не могли позволить себе явиться без приглашения, и от кого они меньше всего ожидали, что те могут прийти к ним, не предупредив заранее. Я не думаю, что это было в силу какого-то явного отвержения моей семьи большей частью гарвардских коллег, скорее это было следствием робости моих родителей, стремившихся избежать любой ситуации, явственно свидетельствующей о таком отвержении.

Это распространялось и нас, детей. В Гарварде было всего несколько детей, к кому мне разрешено было ходить в гости, за исключением случаев, когда такие визиты были запланированы заранее согласно кодексу взаимоотношений между семьями. Таким образом, я, в основном, искал друзей в семьях, не принадлежавших университету, и теперь я думаю, что это совсем неплохо.

Что касается происхождения нашей семейной робости, я думаю, что здесь много чего намешано. Вероятно, элемент, привнесенный нашей принадлежностью к еврейской национальности, намного меньше, чем тот, что определяется нашей принадлежностью к новым американцам, жившим среди старых американцев, а также тот, что мы будучи родом с Запада поселились среди жителей Новой Англии. Как бы то ни было, эта робость усугубляла ту относительную изолированность, в которой мы, дети, находились. Но все это было не важным по сравнению с другими особенностями ситуации, в которой я оказался, будучи ребенком.

Однако к концу Первой мировой войны я уже хорошо сознавал существование предубеждения против евреев, причем в самом его неприглядном виде. Именно в этот период стало привычным, что друзья еврейских юношей и их советники на факультетах предупреждали их, что их шансы на то, чтобы сделать профессиональную научную карьеру, весьма призрачны. Это была точка зрения, которой придерживались на протяжении довольно значительного периода времени, и она прекратила свое существование в условиях переоценки отношения к национальностям во время и после Второй мировой войны.

Я ощутил чувство благодарности, когда увидел значительные перемены в отношении не только к еврейским ученым в университетах, но и самих еврейских ученых. Наряду со спадом антисемитизма наблюдалось уменьшение обиды и страха со стороны самих еврейских ученых, и сильно возросла возможность их активного участия в решении общественных проблем. То, что эти перемены происходили, я наблюдал своими глазами день за днем в своем окружении; и я надеюсь и верю, что это ничто иное, как аналог явления, происходящего в гораздо более широком масштабе.

В целом, Лоуэлл одержал верх в в борьбе за принятие *numerus clausus*, по крайней мере, на период своего правления. Внешне он потерпел поражение, но он создал административную структуру, позволявшую ему четко отслеживать численность всех не очень талантливых евреев. Я полагаю, что теперь после ужасающих деяний нацистов и после появления более просвещенного отношения к праву каждого отдельного человека на получение работы и самого лучшего образования, какое ему только по силам, эта проблема не является более животрепещущей. Во время правления Лоуэлла, тем не менее, все, кто противодействовал президенту в вопросе, принимаемом им так близко к сердцу, подвергали себя риску навсегда утратить его доброе отношение. После факультетских заседаний по вопросу о *numerus clausus* мой отец не мог больше рассчитывать на благосклонность со стороны Лоуэлла. Особенно остро он ощутил это несколько позднее, когда надеялся получить работу в Гарварде после того, как достиг установленного законом возраста выхода на пенсию. Ему абсолютно отказали в этой просьбе и отказали в выражениях, не содержащих даже намека на признательность за его долгую и преданную работу в Гарварде.

После проведения очередного лета в Нью-Гемпшире и незадолго до начала учебного года, я обратил внимание на два важных вопроса. Мне позволил Барнетт, молодой математик из университета в Цинциннати. Поскольку Барнетт работал в области функционального анализа, над чем я сам мечтал поработать, я спросил его, не мог бы он предложить мне какую-нибудь хорошую задачу для исследования. Его ответ оказал значительное влияние на мою более позднюю профессиональную деятельность. Он предложил задачу по интеграции в пространстве функции. В течение моего первого года в Массачусетском технологическом институте я нашел формальное решение этой задачи, используя некоторые идеи, принадлежавшие английскому математику, П. Дж. Даниеллу, в то время преподававшему в институте Райс в штате Техас. Однако моя первая адаптация идей Даниелла показалась мне в некоторой степени лишенной содержания; поэтому я стал искать какую-нибудь теорию в физике, включавшую в себя аналогичную логическую структуру. Я обнаружил это в теории броуновского движения. И очень похожая теория интеграции была рассмотрена Гаго, молодым французским математиком, скончавшимся во время Первой мировой войны; но его работу нельзя было прямо отнести к тому, что рассматривали Даниелл и Лебег.

Большая часть моей более поздней работы по математике так или иначе связана с моим исследованием броуновского движения. Прежде всего в ходе этого исследования я познакомился с теорией вероятности. Более

того, благодаря ей я напрямую вышел к периодограмме и к исследованию форм гармоничного анализа, более общего, чем классический ряд Фурье и интеграл Фурье. Все эти концепции вместе с работой по технике, которую я выполнял, занимая должность преподавателя Массачусетского технологического института, привели меня к тому, что я сильно продвинулся как теоретически, так и практически в теории передачи информации, и, в конце концов, к открытию науки кибернетика, являющейся по своей сути статистическим подходом к теории передачи информации. Таким образом, несмотря на все кажущееся разнообразие моих научных интересов, все они были объединены одной нитью, начиная от моей первой зрелой научной работы до настоящего времени.

Еще одно дело, ожидавшее меня в момент моего приезда в Бостон, носило более земной характер. Жилищные условия и оплата труда бостонской полиции были вопиюще несоответствующими на протяжении очень долгого времени, и некоторые представители полиции рискнули предпринять ряд усилий, чтобы добиться улучшения в этих сферах. Это привело к забастовке полицейских. Одновременно повсюду вспыхнули внезапные забастовки, и представители консервативного общественного мнения начали испытывать страх перед тем, что из этого могло бы получиться, и стали объединяться для опротестования права на забастовку тех, кто выполняет жизненно важные функции в обществе. Набрать добровольцев в полицию в случае, если регулярные силы полиции выполняют свою угрозу, не составило бы труда. Один из гарвардских друзей с отделения математики записался кандидатом для работы в добровольческой полиции, и под воздействием нахлынувшего на меня ложного патриотизма я сделал то же самое.

То, что произошло, — это история, а репутация Калвина Кулиджа, бывшего в то время губернатором штата Массачусетс, была неоправданно упрощена. Регулярные силы полиции объявили забастовку. Вместо того чтобы призвать добровольцев на рабочие места полиции после того, как полицейские покинули их, Кулидж решил дать городу возможность испытать на собственной шкуре в течение двадцати четырех часов, что такое анархия и мародерство, прежде, чем он предпринял какие-то действия. Может это было простой нерешительностью, а может политической дальновидностью; но что бы это ни было, тяжело пришлось владельцам магазинов, витрины которых были разбиты вдребезги, а также это ударило по нервам и по карманам сограждан. Нам, добровольцам, выдали полицейские значки и револьверы, и парами нас отправили патрулировать улицы. Меня направили на пост на улице Джой. В первую ночь моего дежурства толпы народа кру-

жили по улице Кембридж, площади Сколлей и улице Гановер, но во время моего патрулирования не было совершено актов насилия, хотя в соседнем районе был убит мужчина. Позже меня направили патрулировать разные улицы в Западном районе. Со мной ничего особенного не произошло, хотя меня и другого добровольца отправили помочь произвести арест человека, избившего жену, в трущобах рядом с Северной станцией. Я вынул свой револьвер, но он дрожал в моей руке, как хвостик дружелюбной собачки, и я должен поблагодарить моего ангела-хранителя, что он случайно не выстрелил. В другой раз, когда я совершал обход по спокойной улице в еврейских трущобах, я увидел мальчика, обсуждавшего со своими приятелями трудности заданного им урока по алгебре. Я прервал его и внес поправку в его рассуждения, а затем продолжил свой обход. Спустя какое-то время этот мальчик поступил в Массачусетский технологический институт и стал одним из моих первых перспективных студентов по математике. В последний раз я видел его пару лет назад в технологическом институте Карнеги в Питтсбурге, профессором которого он сейчас является.

В результате забастовки полицейских Калвин Кулидж стал Президентом, было проведено увольнение полицейских, принявших участие в забастовке, и были сформированы новые отряды полицейских, которые получили многое из того, ради чего бастующие полицейские пожертвовали своей карьерой. Что касается меня, мне было стыдно, что я позволил губернатору провести себя, как последнего простофилю, и выступил в роли штрейкбрехера.

Мое поступление в Массачусетский технологический институт означало, что я, наконец-то, обрел спокойную гавань в том смысле, что мне не надо было больше суетиться в связи с поисками работы, и не надо было больше мучиться, задавая себе вопрос: что мне с собой делать? Когда я туда прибыл, я был одним из огромного числа новых преподавателей, необходимых для того, чтобы справиться с увеличившейся нагрузкой в институте в связи с подъемом, вызванным окончанием Первой мировой войны. Тогда вопрос о постоянной работе не стоял, но у меня был шанс, как и у всех остальных, получить постоянное место, при условии, что мне удастся доказать, что я мог стать хорошим преподавателем с интеллектуальной и эмоциональной точек зрения.

Математическое отделение в Массачусетском технологическом институте в то время переживало переходный период. Хотя первоначально это отделение задумывалось как обслуживающее, на нем образовалось ядро математиков, полных научного энтузиазма, из тех, что поступили на рабо-

ту туда в течение того периода времени, и все они ожидали, что наступит день, когда их группа станет известной из-за своих оригинальных исследований, а также из-за обученных ими студентов, способных осуществлять оригинальные исследования текущих проблем в технических работах.

Среди пожилых преподавателей на отделении, интересовавшихся чистым анализом, был Ф. Г. Вудс, а Э. Б. Уилсон, недавно ушедший с отделения, чтобы заниматься физикой, и обреченный на то, чтобы оставить физику ради работы по биостатистике на факультете народного здравоохранения в Гарварде, был представителем великой Йельской научной традиции Уильярда Гиббса. Липка и Хичкок на протяжении многих лет проводили некоторые сугубо индивидуальные математические исследования; они отклонялись от проторенного пути, и их исследования были сродни тем, что приветствовались в других американских математических школах. К. Л. Э. Мур и Г. Б. Филипс были непоколебимыми сторонниками новой политики в исследованиях, и эти два человека по-настоящему были способны предвидеть, чем может стать это отделение.

Мур был высоким человеком крепкого телосложения; его зрение лишь недавно восстановилось, так как из-за смещения хрусталиков он был наполовину слеп, и спустя несколько лет он снова наполовину ослеп из-за глаукомы. Он был добрым и необычайно преданным делу научного исследования, абсолютно безукоризненным ученым. Он учился в Италии перед Первой мировой войной, где его окружала атмосфера доброты и искренности, что помогло ему еще в большей степени развить в себе эти присущие ему качества. Италия тогда была родным домом геометрии, и, соответственно, он был геометром. Хотя поле его деятельности отличалось от моего, он с отцовской заинтересованностью стимулировал во мне мои возможности, делая именно то, в чем так нуждается неуверенный в себе и неловкий молодой человек для самовыражения. Он оказал мне поддержку в создании местного математического журнала в Массачусетском технологическом институте, что значительно облегчило опубликование моей ранней неортодоксальной работы по математике.

Профессор Филипс, официально бывший на пенсии, но не оставивший полностью преподавание, всегда казался мне человеком вне времени на математическом поприще в Массачусетском технологическом институте. Когда он был молод, он не выглядел молодым, и в свои семьдесят лет вряд ли он выглядел намного старше, чем в молодые годы. Он был высоким, гибким южанином, родившимся на Юге, где память о Гражданской войне и послевоенная реорганизация затмили все остальное, и потому он был

скептиком и немного пессимистом, но пессимистом, полным оптимизма и с надеждой глядящим в будущее. Он был сильной личностью и необычайно добрым, как и Мур.

Мур и Филиппс обсуждали со мной свою собственную работу и позволяли мне обсуждать мою с ними. Им, вероятно, было очень скучно выслушивать мои наполовину сырые идеи, а моя неумелая презентация моих личных и научных трудностей была для них мукой. Но для меня было великим благом то, что они слушали меня, и впервые тогда у меня появились надежды, что я стану настоящим математиком, подкрепленные уверенностью других людей. Между собой мы обсуждали далеко идущие планы относительно будущего нашего отделения, а также планы, касающиеся развития математики в Соединенных Штатах. Когда эти два человека, столь уважаемые мною, выражали свою уверенность и надежды в отношении меня, я чувствовал себя человеком, и я стал по-настоящему взрослым человеком. Даже профессор Мур, скончавшийся в 1932 году, дожил до того дня, когда наше отделение перестало быть просто обслуживающим отделением, а стало одним из конструктивных научно-исследовательских отделений нашего института. Профессор Филиппс на протяжении нескольких лет возглавлял наше отделение после того, как оно стало выполнять современные функции. То, что в итоге увидели эти два человека, выходило за рамки их самых дерзновенных мечтаний в конце Первой мировой войны.

В течение трех или четырех лет моей работы в Массачусетском технологическом институте у меня накопилось значительное количество работ, получивших признание. Я начал интересоваться теорией потенциала, в которой я почерпнул много предположений у профессора Келлога, работавшего в то время в Гарварде. Постепенно мне становилось все яснее, что в нерешенных случаях задачи аппроксимации потенциала к определенным пограничным значениям существовала уникальная функция потенциала, соответствующая этим пограничным значениям в более свободном смысле, чем это требуется в литературе. Затем возник вопрос: Каким образом можно быть уверенным в каком-то определенном случае, что решение обобщенной Дирихле задачи, так называется задача об отыскании гармоничной функции по ее значениям, заданным на границе рассматриваемой области, удовлетворит условиям непрерывности, требуемой в классической теории потенциала?

Примерно в то время появился ряд статей великого математика Бореля, касающихся другого предмета, называемого квазианалитические функции, отдаленно соприкасающегося с упомянутым выше предметом. Новизна ра-

боты Бореля в то время заключалась в том, что он поставил задачу в зависимости не от размера числа, а от конвергенции и дивергенции ряда. И меня осенило, что моя задача, касающаяся сингулярных точек на границе функции потенциала, вполне может иметь ответ в том виде вместо вида определения какого-то конкретного числа, как предлагалось в более ранних попытках решения этой задачи. Как бы то ни было, я попотел над ответом, и мое предположение оказалось правильным. С помощью моего мексиканского студента, Мануэля Сандовалья Болльярты, позже ставшего профессором в Массачусетском технологическом институте и одной из ярчайших звезд на небосклоне мексиканской науки, я перевел мою статью на французский и отправил ее профессору Генри Лебегу для опубликования в «Comptes Rendus» («Труды») Французской Академии наук. Я поступил так, поскольку не так давно познакомился с рядом статей Лебега и молодого математика по фамилии Булиган, подходивших слишком уж близко к полному решению задачи, интересовавшей меня, что сняло бы необходимость писать в литературе о ней.

Оказалось, что после того, как я отправил свою статью, но до того, как она была получена, Булиган отдал запечатанный конверт, содержащий очень похожий результат на хранение Лебегу, чтобы сохранить за собой право на первооткрывателя в этой области. Булиган и я «одновременно подошли к финишу», и когда дошла моя статья, Лебег посоветовал Булигану вскрыть конверт. Эти две статьи были опубликованы рядом в «Comptes Rendus». Результаты в значительной мере были одинаковы, хотя мне приятно сознавать, что моя формулировка задачи логически несколько более полная.

Этот случай послужил началом дружбы между мной и Булиганом, продолжающейся по сей день; когда впоследствии я приехал навестить его в Пуатье, он встречал меня на станции с копией моей статьи по этому предмету, чтобы я смог узнать его.

Летом 1920 года в Страсбурге состоялся конгресс математиков. Хотя этот конгресс был в некотором роде ограничен, поскольку немцы не были допущены к участию в нем, я приехал на него. Это была моя первая возможность принять участие в обсуждении математических проблем на международном уровне. Я работал вместе с Фреше, бывшим в то время профессором в Страсбурге, и провел часть моего летнего отпуска в отеле в Вогезах, рядом с тем местом, где он жил.

В результате моей работы я принял участие в создании двух статей по исследованиям, приобретшим определенное значение лишь по прошествии

какого-то времени. Я превратил мою довольно несообразную и формальную работу по интегрированию и пространству функции в исследование броуновского движения, объединив его с идеями Эйнштейна и Смолуховского. Эта работа была некой внутренней стадией в развитии моих более поздних методов, которые я применил в теории передачи информации и в кибернетике.

Другая идея, которую я развил в моих беседах с Фреше, касалась обобщенного векторного пространства, для которого я создал ряд аксиом. Вскоре я обнаружил, что «поезд уже ушел», всего лишь несколько месяцев назад эта теория относительно того же самого пространства была разработана и изучена Банахом в Польше. Хотя мы продвигались почти с одинаковой скоростью, я, в конце концов, решил оставить Банаху эту область для полного раскрытия, поскольку степень ее абстрактности создала у меня впечатление, что она далека от осязаемой текстуры математики, дававшей мне наивысшее эстетическое удовлетворение. Я не сожалею о том, что поступил согласно своему мнению в данном вопросе, поскольку за какое-то определенное время математик может сделать лишь определенное количество работы, и ему приходится распределять свои усилия. И самое лучшее для него работать в той области, где он получит наивысшее внутреннее удовлетворение.

Когда я вернулся в Массачусетский технологический институт, выяснилось, что инженеры-электрики начали рассчитывать на меня в разрешении очень серьезных логических сомнений, связанных с новыми и мощными методами передачи информации Оливера Хевисайда. Я оказался действительно способным провести успешную работу в этом направлении, и в ходе этой работы я обнаружил необходимость расширения теории ряда Фурье и интеграла Фурье в более широкую общую тригонометрическую теорию, включавшую в себя обе эти теории. Таким образом, когда Гаральд Бор из Копенгагена создал свою теорию почти периодических функций, я обнаружил, что это одна из областей, для которой я уже разработал соответствующие методы и создал два или три имеющих важность альтернативных подхода к этому новому предмету. Отношения между мной и Бором всегда были дружескими и оставались таковыми до последнего дня его жизни, он умер полтора года тому назад.

С самого начала моих взаимоотношений с Массачусетским технологическим институтом я получал преданную поддержку коллег, понимание моих нужд, ограничений и возможностей. У меня была возможность почти с самого начала преподавать на старших курсах, и с тех самых дней я сотрудничал с моими более молодыми коллегами и пытался помочь им рас-

крыть их интеллектуальные способности. Я чувствовал себя некомфортно, преподавая на младших курсах. Однако важно то, что я нашел для себя ту область, где я мог преподавать эффективно, и это повысило мою самооценку, столь необходимую для успешной деятельности.

Мой опыт преподавания на младших курсах настолько сильно отличался от того, что я пережил в университете Мэн, что я испытал облегчение. Возможно, юноши в Мэне все еще хотели играть; юноши же в технологическом институте определенно желали работать. Хотя и были кое-какие редкие шалости во время занятий; тем не менее в отношениях между преподавателем и студентом всегда присутствовал дух взаимного уважения. Время от времени возникали временные проблемы с дисциплиной, но они были малочисленны и не играли важной роли в моих отношениях со студентами. Более того, я всегда был уверен, что получу в случае необходимости поддержку со стороны руководителей института в любом вопросе, касающемся моего авторитета.

В то же самое время я многому научился сам. Я научился сдерживать свою естественную торопливость в процессе объяснения материала, не намного превышая средний уровень быстроты изложения. Я узнал о том, что в целях сохранения дисциплины на занятии пользоваться остроловием — это преимущество, но одновременно это и оружие, и чтобы использовать его, надо обладать великодушием и чувством меры. Я научился тому, как вести себя перед студенческой аудиторией, и избавился навсегда от страха перед публикой, работая в аудитории, а также и в тех случаях, когда мне приходилось выступать перед более серьезной аудиторией с более серьезными научными докладами.

В тот год, когда я начал преподавать в Массачусетском технологическом институте в возрасте двадцати пяти лет, одна из девушек, пришедших к нам на семейные чаепития, особенно привлекла мое внимание. Она была из французской семьи и специализировалась по французскому языку в Радклиффе. Она росла и воспитывалась до мировой войны и в военные годы в Париже, и ее красота, напоминавшая полотна прерафаэлитов, была той статичной красотой, что доминирует над красотой движения на картинах Россетти.

Она мне очень нравилась, и я часто навещал ее или приглашал куда-нибудь. Ей не нравилось постоянное присутствие моего младшего брата, и в результате, мои родители и сестры сильно невзлюбили ее. Они постоянно насмехались надо мной, и насмешки семьи были таким оружием, против которого я чувствовал себя беззащитным. Я не знаю, как развивались бы

наши с ней отношения, если бы не было никаких вмешательств со стороны. Но как бы то ни было, на второй год нашего знакомства она мне сказала, что помолвлена с другим человеком. Я отреагировал на это не самым приятным образом, но и ситуация была не из приятных.

После этого я все чаще стал навещать клуб Аппалачи, совершая с его членами пешие прогулки, служившие мне в качестве физических упражнений на свежем воздухе, а также дававшие возможность веселого общения. Прошло уже почти восемь лет с тех пор, как я посещал этот клуб, но теперь я чувствовал себя более подходящим по возрасту и более зрелым для общения с теми, кто там был. Я познакомился с несколькими молодыми людьми, и у меня была возможность обсуждать с ними то, что представляло интерес для всех нас, таким образом, я определенно продвинулся в своем социальном развитии. И все же, мне по-прежнему не хватало общения, и я получал его, как и прежде, во время чаепитий в доме моих родителей.

Примерно в то время, когда я встречался с молодой женщиной, о которой только что поведал, я познакомился еще с одной, которая мне очень понравилась, и если бы я тогда не находился в самом разгаре взаимоотношений с первой, то непременно стал бы ухаживать за этой, второй. После того как мои отношения с первой дамой прекратились, восстановив утраченное самоуважение, я начал ухаживать за второй, и в итоге, у меня появилась надежда, что, может быть, она станет моей женой.

Ее звали Маргарет Энгманн, и вот уже на протяжении четверти века она моя жена. Я обратил на нее внимание, увидев одну и ту же фамилию в списке моих собственных студентов, получавших приглашение на чаепитие, и в списке студентов моего отца, изучавших русскую литературу. Мы узнали, что Маргарет и мой студент, Герберт Энгманн, были братом и сестрой, и что они родились в Силезии, в Германии, но жили в нескольких местах на нашем Дальнем Западе. Часть их предшественников были родом из Баварии, и хотя внешне Маргарет и Герберт были очень похожи, у Герберта волосы были светлые, а у Маргарет почти черные. Они приехали в Кембридж из Юты, где обучались в колледже штата Юта. Они оба были серьезными, энергичными молодыми людьми, сильно понравившимися мне, а позже я познакомился с их матерью (их отец давно умер еще в Германии), и она показалась мне жизнедеятельной и интересной женщиной с характером первопроходца. У Маргарет был такой же решительный характер, что и у ее матери, однако в ней было больше женственности.

Однажды зимой 1921 года моя семья отправилась в свое новое деревенское жилище, на ферму в Гротоне, немного покататься на лыжах. Мои

родители пригласили Энгманнов поехать вместе с нами. Я до этого приглашал Маргарет на прогулки всего раза два, и мне очень нравилась ее компания. Мои родители считали, что она прекрасная пара для меня, и они всячески давали мне понять, что одобряют мой интерес к ней. Тем не менее, я был очень смущен их весьма очевидным расположением к ней и отреагировал на это тем, что держался от нее как можно дальше на протяжении всего времени. Ухаживание, которое могло привести к браку, должно было быть основано только на моем собственном желании, а не на решении, навязанном мне моими родителями. Таким образом, мне нелегко было продемонстрировать Маргарет мое расположение к ней. Потом она мне призналась, что ее реакция на прозрачные намеки моих родителей была абсолютно такой же, как у меня самого.

По возвращении из Гротона я сильно заболел и очень скоро свалился с приступом бронхиальной пневмонии. В течение нескольких дней я метался в бреду, и во время бреда и выздоровления я выражал желание снова увидеть Маргарет и обсудить с ней наше будущее. У меня было чувство, что она моя жена. Однако процесс ухаживания, приведший к нашему браку, развивался не очень быстро. Меня очень смущало чрезвычайно активное участие родителей в моих личных делах. Более того, вскоре Маргарет должна была уехать из Бостона, чтобы работать в качестве преподавателя французского и немецкого языков в колледже Юниата в Пенсильвании. Проработав четыре года в Юниате, она снискала там постоянную любовь.

Маргарет, как и я, эмоционально была глубоко привязана к Европе и Америке. Она родилась в Силезии, где училась в начальной школе; в возрасте четырнадцати лет вместе с братом и матерью она приехала в Америку, чтобы поселиться в жизненно важной части Америки, «фронтире»¹. Таким образом, в ней сочетались глубокое понимание родной страны и страны, удочерившей ее, и искренняя преданность подлинным интересам обеих этих стран.

С самого начала, когда Маргарет и я вместе обсуждали наши проблемы, она твердо настаивала на том, чтобы я честно признал себя тем, кем я являлся, чтобы я принимал свое еврейское происхождение без ложной гордости, но и без стыда. Когда я задумывался о браке, мне казалось, что мои родители полагали, что Маргарет довольно легко впишется в патриархальную структуру семьи Винеров, и сыграет роль фактора, удерживающего меня в узде. Пока мои родители тешили себя такими надеждами, я с радостью об-

¹ Районы освоения. — *Прим. пер.*

наружил, что в действительности это совершенно невозможно. И все же, мы вынуждены были ждать, пока не выяснили окончательно своего отношения к данному вопросу.

Я думаю, что Маргарет так же, как и я, глубоко в душе сознавала возможность нашего брака. Как-то мы встретились с ней в доме ее друзей, на полпути между Бостоном и колледжем, где она работала, но в тот момент наши мысли были слишком заняты тем, что нам предстояло в самом ближайшем будущем, чтобы прийти к какому-то решению, касавшемуся наших отношений. И все же, чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что между нами существует очень сильная привязанность друг к другу. Постепенно я стал понимать то, что никогда не было поводом для каких-либо сомнений, а именно, что мои родители приняли слишком многое как само собой разумеющееся, поскольку они считали, что мой брак с Маргарет будет означать мое заточение в семье навечно.

В течение ряда лет после моей поездки в Страсбург на конгресс математиков в 1920 году я несколько раз приезжал в Европу с моими сестрами и один, изредка совершая восхождения на горы вместе с некоторыми моими американскими друзьями-математиками, и навещая Геттингенский университет в Германии. В 1925 году профессор Макс Борн из Геттингена приехал в Массачусетский технологический институт, чтобы читать лекции по физике. Казалось, что появился значительный интерес к моей работе, поскольку я получил приглашение читать лекции в Геттингене. Деньги были выданы только что созданным фондом Гугенгейма, оказавшим огромную помощь американским ученым и художникам. Я решил отправиться в Геттинген весной.

Имея такие планы на будущее, я почувствовал, что впервые готов немедленно жениться. Маргарет и я снова встретились в доме моих родителей в Кембридже на рождество и решили пожениться. Однако возникло небольшое препятствие, поскольку Маргарет должна была остаться на своей работе до конца июня, а я к тому моменту должен был быть по другую сторону океана. Мы стали искать возможность оформить наш брак в Германии в посольстве Соединенных Штатов, но, в конце концов, пришли к выводу, что не стоит тратить столько усилий. Наконец, мы решили пожениться в Филадельфии за несколько дней до моего отъезда в Европу, после чего каждый отправится по месту своей работы, а затем в конце учебного года Маргарет сможет приехать в Германию. Мы провели несколько упительных дней нашего медового месяца в Атлантик Сити и расстались в Нью-Йорке, наполненные грустью, частично из-за того, что мы сняли но-

мер в том древнем мавзолее, старом отеле Мюррей Хилл, а частично потому, что пьеса, выбранная нами, была одной из самых грустных пьес Ибсена.

Однако наша разлука подошла к концу, хотя казалось, что она не закончится никогда, и мы встретились вновь для того, чтобы начать европейскую часть нашего медового месяца в Шербуре. Это было двадцать шесть лет назад, и нам было по тридцать одному году. Я не нахожу слов, чтобы выразить, насколько окрепла и стабилизировалась моя жизнь в течение этих двадцати шести лет, благодаря любви и пониманию моей спутницы жизни.

ЭПИЛОГ

На этом, пожалуй, и заканчивается повествование о моей жизни со дня рождения в 1894 до 1926, когда я женился в возрасте тридцати одного года. Я поступил на работу в Массачусетский технологический институт, с тех пор там и работаю.

Данная книга, за исключением тех, кому она будет интересна из-за долгого знакомства со мной и совместной работы, в первую очередь будет прочитана теми, кому хочется выяснить, что же необычного было в моей профессиональной деятельности, а также для кого представляет определенный интерес тот факт, что я был тем, кого называют вундеркинд. Будет много таких, кто прочтет ее из любопытства, чтобы узнать, что же это за мифический монстр такой, и каким он сам себя представляет. Будут и такие, кто захочет познакомиться с некоторыми уроками, чтобы применить их для образования и воспитания собственных детей или доверенных их заботе чужих детей. Они зададут себе и мне некоторые серьезные вопросы: тот факт, что я был вундеркиндом, оказался для меня благотворным или же причинил мне какой-либо вред? Повторил бы я все это еще раз, если бы у меня была такая возможность? Пытался ли я воспитывать собственных детей таким же образом, и если нет, жалею ли я об этом?

Эти вопросы легче задавать, чем отвечать на них; и на самом деле, у человека только одна жизнь, и такой жизнью, или экспериментом над жизнью, едва ли можно управлять с предельной точностью. Теоретически можно провести управляемый эксперимент с такими любопытными половинками человеческих существ, известными как однойцевые близнецы, но проводить такой наполненный горечью эксперимент до конца означает в высшей степени равнодушие к развитию и счастью отдельной личности. Мой отец не был таким равнодушным тираном. Он обладал какой угодно, но только не холодной натурой, и он был твердо убежден, что делает для меня самое лучшее, на что способен. Таким образом, учитывая природу данного случая, ответом на эти вопросы может быть скорее предположение на эмоциональном уровне, чем точно продуманное заключение ученого.

Я приложил все усилия, чтобы моя книга не прозвучала как *cri de coeur*¹. И тем не менее, случайному читателю станет ясно, что моя дет-

¹Крик души (*фр.*)

ская жизнь отнюдь не состояла из одних развлечений. Я чересчур много работал под давлением, хотя и порожденным любовью, но все же чересчур жестким. Имея наследственные особенности, выражаемые в склонности к эмоциональному возбуждению, я прошел курс обучения, который должен был усилить эту склонность под влиянием другой личности, столь же легко возбудимой. От природы я был неуклюж, как физически, так и во время общения с другими; а мое воспитание не только не устранило эту неуклюжесть, а напротив, лишь усилило ее. Более того, я очень хорошо сознавал свои недостатки, а также огромные требования, предъявляемые мне. Это порождало во мне абсолютное ощущение, что я не такой, как все, и мешало поверить в собственный успех.

Я был наделен тем, что, совершенно очевидно, было настоящим ранним развитием, а также неутолимимым любопытством, приведшим к тому, что в очень раннем возрасте я стал много читать. Таким образом, вопрос о том, что же со мной делать, нельзя было откладывать на неопределенный срок. Я сам встретил в жизни нескольких одаренных людей, которые не добились ничего, потому что легкость, с которой они учились, сделала их невосприимчивыми к дисциплине обычной школы, и взамен этой дисциплины им ничего не дали. Именно благодаря этой жесткой дисциплине и системе обучения, которым подверг меня мой отец, хотя, может, и в избытке, я выучил алгебру и геометрию в таком раннем возрасте, что они стали неотъемлемой частью меня самого. Мой латинский, мой греческий, мой немецкий и мой английский отложились в моей памяти в виде целой библиотеки. И где бы я ни был, я всегда могу вынуть их оттуда, если возникает необходимость. Все эти блага я приобрел в возрасте, когда большая часть мальчиков изучает банальные вещи. Таким образом, я сохранил свою энергию для более серьезной работы в тот период, когда другие осваивали азы своей профессии.

Более того, у меня был шанс находиться рядом с весьма великим человеком и наблюдать за внутренней работой его ума. Я говорю это не потому, что хотел бы польстить собственной семье, и не из сыновней преданности. В течение одной трети века я жил жизнью деятельного ученого, мне очень хорошо известен ученый нрав тех, с кем мне доводилось общаться. Работа моего отца была подпорчена полетами фантазии, которым он не мог дать полного логического обоснования, и многие его идеи не выдерживали испытаний критикой. Быть первопроходцем в каком-либо предмете, не имеющим, подобно филологии, четкого внутреннего порядка, значит подвергать себя риску. Мой отец работал в некоторой изоляции, он был энтузиастом и

человеком, пришедшим в филологию из другой профессии. Все это привело к тому, что его недостатки в работе были неизбежны; и тем не менее, влияние, оказанное им на филологию, можно сравнить с тем, какое на нее оказал Джесперсон, а также он предвосхитил рождение современной школы филологов, полагающих, что исток языковой непрерывности находится в истории культуры языка, а не в формальном развитии его фонетики и грамматики. Как фонетисты, так и специалисты по семантике в настоящее время разделяют точку зрения более близкую к той, что имел мой отец, а не большинство его современников.

Моя работа с отцом может показаться практически непрерывной цепью столкновений, да и в самом деле, столкновений было немало. Он был чувствительным человеком, остро ощущавшим отсутствие общего признания, что он воспринимал как должное. Во мне он искал не только ученика, но и дружески настроенного критика и, может быть, продолжателя его дела. Эти роли были не под силу даже зрелому, хорошо обученному филологу, так что о подростке не могло быть и речи. Когда я ставил под сомнение его логику, а у меня были искренние сомнения, он меня бранил как неблагодарного ребенка, ведущего себя неподобающим сыну образом. И все же, в то же самое время я мог понять мучительные переживания отца и его потребность в одобрении. Я знал, что он искал одобрения в том, в чем по его мнению, хотя бы на одну четверть он мог ожидать его. Итак, к моему гневу и обиде, которые служили мне защитой, всегда примешивалась жалость.

Отец испытал разочарование, когда его работа не получила того, на что он рассчитывал, и что, по моему мнению, было адекватно раннему признанию. Ни в коем случае он не был неудачником, и сам он никогда не думал, что он неудачник, ни с точки зрения научного вклада, сделанного им, ни с позиции общего академического успеха. Что касается последнего, отец достиг профессорского звания в Гарварде, и, вне сомнений, его высоко ценили как филолога и лингвиста, обладавшего своеобразным талантом. Но все же, среди тех самых коллег, ценивших его, я думаю, были некоторые, понимавшие, что то положение, которое он занимал в мире филологии, было революционизирующим. Но я не думаю, что уважая своих коллег по Гарварду, многие из которых олицетворяли собой для него определенную ступень филологической учености и научного познания, он придавал огромное значение их суждениям. До того, как он отрекся от Германии, а Германия отреклась от него, его сердце жаждало признания в Германии, что было невозможно в закрытом немецком филологическом мире той эпохи. Даже когда он порвал со всем, что принадлежало Германии, мне кажется,

он все еще обращал свой взор к Европе в надежде, что каким-то чудесным образом из ниоткуда выпорхнет голубка с оливковой ветвью в клюве. Я думаю, что он никогда не мог предположить, разве что только в мечтах, то, что происходит сейчас, когда европейская филология в основном сконцентрировалась в Америке, и теперь вместо того, чтобы рассматривать его точку зрения как абсолютно эксцентричную, ее принимают и признают официально.

Тот факт, что посмертный успех ожидал его всего лишь через пятнадцать лет, едва ли может уменьшить трагичность его положения. Даже занимая почетное положение в великом университете и пользуясь огромным уважением коллег, можно оставаться трагической фигурой. Отец достиг всего этого, и надо отдать должное моей матери за то, что она соединила свою жизнь с блестящим и далеким от мирской суеты человеком и сопровождала его на пути, ведущем к большому жизненному успеху, которого он и достиг, в конце концов. Это был великий успех, и он знал об этом. Но положение, занимаемое им, не было положением, позволяющим перестраивать науку, а он заслуживал этого и к этому стремился. Он стремился стать Прометеем, несущим свет, и, по его собственному мнению, страдания, выпавшие на его долю, были сродни мукам Прометея.

От него я узнал о том, каким уровнем образования должен обладать настоящий ученый, и о том, какого уровня мужественности, преданности и честности требует профессия ученого. Я узнал, что ученость — это посвящение, а не работа. Я познакомился со жгучим чувством ненависти к любому обману и псевдонаучности, а также с чувством гордости за то, что ни одна из задач, которую я мог бы решить, не заставит меня свернуть с моего пути. Это все стоит мук и страданий, и все же я попросил бы не предъявлять такую цену человеку, не обладающему достаточной силой, ни физической, ни моральной, чтобы соответствовать подобному требованию. Слабый не может заплатить такую цену, это может просто убить его. Поскольку я был ребенком, не только наделенным определенной интеллектуальной энергией, но и обладающим физической силой, я смог вынести все тяготы спартанского воспитания. И если мне когда-либо придет в голову подвергнуть какого-то ребенка, мальчика или девочку, такому воспитанию, прежде я удостоверюсь в том, достаточно ли у этого ребенка не только ума, но и физических и нравственных жизненных сил.

Даже если мы принимаем наличие этих жизненных сил как нечто, само собой разумеющееся, в некоторых случаях, когда обычное воспитание не подходит, необходимо применять особый подход. В отношении моих

собственных детей не было никаких намеков на необходимость применения какого-то сверх особенного подхода. Но я и не пытался применить к ним тот метод воспитания, который испытал на себе. Я не могу сказать, что сделал бы я, если бы сам столкнулся с проблемой, с которой столкнулся мой отец.

И все же, сосредоточить весь интерес только на той части моего развития, где отец принял непосредственное участие, было бы сродни неправильной интерпретации урока, содержащегося в данной книге. К тому времени, как я получил докторскую степень в Гарварде, я уже закончил обычное формальное образование американского мальчика, вступающего в науку. Но возраст и мой научный кругозор не позволили мне тогда занять свое место в научном мире, равно как и заработать на жизнь. Для меня важно рассказать не только о том, как мне выпал шанс жить довольно особенной жизнью вундеркинда, но и о том, как я смог вырваться из нее и вернуться к более или менее нормальной. Мне кажется, что это так же интересно и важно, как и отход от нормального образа жизни.

Прежде чем я смог окончательно занять свое место в мире в качестве зрелого ученого, необходимо было некоторые специальные факторы, сделавшие из меня в каком-то смысле объектом, интересным для наблюдения, заместить основным жизненным опытом, который постигает каждый мальчик к подростковому возрасту. Мне надо было научиться постигать науки вдали от властного отца, строить отношения с людьми, для которых моя история чудо-ребенка не означала ровным счетом ничего. Мне пришлось стать вполне компетентным преподавателем и узнать о своих достоинствах и недостатках, как учителя. Я не мог отмыть грязь со своих рук, работая в промышленной лаборатории, и бок о бок с другими людьми научился ощущать удовлетворение от работы с инструментами. Я должен был узнать о том, что зарабатывать на жизнь литературой — это значит дисциплинированно работать определенное количество часов в день, что ничего общего не имеет с работой, выполняемой урывками. Было просто необходимо, чтобы я начал понимать, что математика — это наука, имеющая дело с действительными числами и измерениями, находимыми посредством наблюдения, и что результаты такой математики необходимо было подвергать тщательно-му критическому исследованию на их точность и пригодность. И поскольку я подошел к зрелости в военное время, мне необходимо было самому выяснить, что такое быть если не воином, то хотя бы солдатом.

В процессе профессиональной деятельности среднестатистического ученого многие из этих уроков осваиваются в подростковом возрасте, за

которым следуют годы, когда осуществляется довольно быстрый прогресс, который я осуществил в более раннем возрасте. Это более обычный порядок вещей, о нем еще многое можно сказать. Но я затрудняюсь однозначно сказать, лучше этот порядок или хуже альтернативного пути, пройденного мною. С одной стороны, в этот период самого разнообразного жизненного опыта я шел по жизни уже с открытыми глазами и мог видеть, классифицировать и выстраивать согласно некоторым центральным принципам массы отдельных явлений, привлекавших мое внимание. Я могу даже похвастать тем, что из всех этих, на первый взгляд бесцельных лет, не было даже одного года, растрченного мною впустую, и все они целиком позднее стали составными частями моей профессиональной деятельности, сгруппировавшись вокруг нескольких высокоорганизованных принципов.

Однако с современной точки зрения, должно быть, кажется, что я ушел от слепящего света славы, принадлежащей по праву Wunderkind¹, в полумрак хотя и не полного, но все-таки неудачника. Я думаю, что такое понимание моей карьеры могло бы быть вполне возможным в то время, когда я приступил к работе в Массачусетском технологическом институте, но оно неправильное. Я выбрал в качестве своей работы для более поздних лет моей жизни исследование передачи информации и приборов для передачи информации. Это предмет, включающий в себя как элементы лингвистики, так и филологии, о которых я узнал от своего отца, также содержит технологические методы, с которыми я познакомился во время обучения в лабораториях Джeneral Электрик и вычисления таблиц стрельбы на испытательном полигоне в Абердине, и математические методы, известные мне с той поры, когда я жил в Кембридже и Геттингене, и необходимость в умении выражать мысли на литературном языке, освоенном мною в период работы в «Encyclopedia» и бостонском «Геральде». Моя помощь японскому профессору в выполнении рутинной работы обернулась тем, что мне было довольно легко преподавать на Востоке и общаться с восточными учеными. Даже моя ссылка в университет Мэн, воспринятая мною как наказание, оказалась в конечном счете весьма полезной и по-настоящему поучительной для человека, вынужденного зарабатывать на жизнь, выполняя работу учителя, и испытывавшего необходимость совершать ошибки на более раннем этапе, когда они еще не имели серьезных последствий.

Все это не было каким-то специальным планом, составленным мной или моим отцом. Человек, желающий работать в разных отраслях науки,

¹Вундеркинд (нем.)

должен быть подготовлен к тому, чтобы подхватывать свои идеи там, где он их обнаруживает, и использовать их там, где они применимы. Он должен все оборачивать себе на пользу. В действительности особым преимуществом человека, бывшего в детстве вундеркиндом, — если у него были какие-то преимущества и ему удалось пройти через все тяготы пути вундеркинда без существенных травм — является то, что у него был шанс впитать в себя многое из самых разных областей науки до того, как он решил посвятить себя какой-либо их них. Лейбниц был вундеркиндом, и, на самом деле, работа Лейбница является именно той работой, для которой в особенности подходит система обучения вундеркинда. Ученый должен помнить, и он должен размышлять, и он должен приводить в соответствие. И тот факт, что наука сегодняшнего дня сильно выросла, не меняет фундаментально ситуацию в целом в том смысле, что современный ученый волей-неволей должен быть не меньше, чем полу-Лейбницем. Задача, стоящая перед учеными сегодня, намного больше той, что была во времена Лейбница; и если ее невозможно осуществить в полной мере, что в семнадцатом веке представлялось возможным, то та ее часть, которую можно выполнить, является наиболее насущной, и избежать ее выполнения почти невозможно.

Все это изложено мною с позиции уже прожитых лет. Я рано начал работать, но достижения в работе появились лишь тогда, когда я достиг возраста двадцати пяти лет. Пробираясь сквозь хитросплетения жизни, я прошел через многие испытания и не раз вступал на ложный путь. И я сомневаюсь, что существует более лучшая жизненная карьера для меня, более целеустремленная и безошибочная. Я не думаю, что ученый достиг своего пика, если он не научился черпать успех из собственного замешательства и неудачи и импровизировать новые продуктивные идеи на основе того, что было начато им по воле случая и без определенной цели. Человек, который всегда прав, так и не познал огромное достоинство неудачи. Научное достижение всегда включает в себя долю обдуманного риска, а во многих случаях и необдуманный риск; однако без риска нет удачи.

А вот, что я хотел бы сказать руководителям научных исследовательских работ и тем, кто несет ответственность за образование как в рамках университетов, так и вне их стен. Их задача заключается в том, чтобы судить о перспективах и работе одаренных и преодолевающих трудности молодых людей, и их решения могут значительно повлиять на жизненную карьеру этих юношей и девушек. И те юноши и девушки, которых они оценивают, волей-неволей должны выполнять большую часть своей работы в сферах, где еще не существуют какие-либо общепринятые критерии оценки

выполненной работы. Все истинные исследования — это азартная игра, где выигрыш бывает каким угодно, только не быстрым. Стипендия, выдаваемая творческому человеку, — это долговременное вложение в отличие от траты с оплатой по предъявлению или документа, по которому можно взыскать по прошествии двенадцати месяцев со дня выпуска. Творчество подгонять нельзя, даже Клио¹ надо время, чтобы раздать награды.

Что касается моих проблем раннего периода жизни, связанных с фактом моего еврейского происхождения и открытием этого факта, со временем они улетучились. Моя жена оказала мне поддержку в выбранном мной образе поведения и помогала быть уверенным в себе. Как я уже говорил, проблема, связанная с предубеждением против национальной группы, к которой я принадлежал, выросла в более общую проблему предубеждения против всех групп людей, признаваемых второсортными. Кроме того, какой бы сильный временный рецидив не переживал антисемитизм, он давно прекратил быть по-настоящему важным фактором в том окружении, где я живу, а также в большинстве мест в стране. И среди всех этих мест, где антисемитизм проявляется довольно слабо или вообще прекратил играть роль важного фактора в нашей повседневной жизни, Массачусетский технологический институт стоит на первом месте.

Это решительное ослабление антисемитских настроений является результатом многих факторов. Позор гитлеровской антисемитской политики глубоко ранил сердца многих американцев, и мода на нацизм и даже просто терпимость к нему ушли в небытие. Более того, евреи, подобно многим другим иммигрантам, дали новое поколение, выросшее в Америке, говорящее на американском английском и воспитанное в американских традициях, и оно больше не выделяется тем, что вызывало предубеждение: другой одеждой, языком и воспитанием, отравленным сознанием из-за существования предубеждения против их религиозных отличий и против еврейской национальности в целом. Борьба за освобождение из гетто не вызывает бурю эмоций у тех, для кого это освобождение — дела давно минувших дней. И все же борьба против подобного рода предубеждений еще не подошла к победному завершению, и везде, где только возникает это явление, с ним надо бороться.

Как бы то ни было, но к концу все как-то сгладилось. Вопрос о неумении держать себя в обществе выглядит крайне незначительным после пятидесяти восьми лет различных жизненных злоключений, когда вдруг понима-

¹Клио — греч. муза, покровительница истории. — *Прим. пер.*

ешь, что можешь достаточно успешно справляться с ними. Раннее развитие не препятствовало моей продуктивной работе на протяжении достаточно долгого времени, и этот период продуктивности продлился действительно долго. Таким образом, раннее развитие лишь дало мне возможность начать настоящую продуктивную работу на более высоком уровне, и тем самым добавило к продуктивным годам моей жизни несколько лет.

Вне всяких сомнений, оглядываясь на свою жизненную карьеру, я никогда не думаю о ней, как о загубленной моим ранним развитием, а также я не ощущаю какой-то жалости к себе из-за того, что «меня лишили детства», как это принято называть в специальной литературе. То, что я достиг такого самообладания, случилось благодаря любви, советам и критическому отношению моей жены. Одному мне было бы очень трудно, и, вполне вероятно, я не смог бы добиться всего этого. И все же это достигнуто. И теперь, когда я становлюсь все старше, я чувствую, как стирается образ вундеркинда, которым я был, в памяти моих знакомых, а также и в моей собственной. Вопрос об успехе или неудаче моих юных и молодых лет перестал быть важным и для меня, и для всех других после всех этих открытий, сделанных мною во время моей профессиональной деятельности ученого.

Норберт Винер

**БЫВШИЙ ВУНДЕРКИНД
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ**

*Дизайнер М. В. Ботя
Технический редактор А. В. Широбоков
Компьютерная верстка С. В. Высоцкий
Корректор М. А. Ложкина*

Подписано в печать 09.07.01. Формат 60 × 84¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,81. Уч. изд. л. 16,60.

Гарнитура Таймс. Бумага газетная.

Тираж 1500 экз. Заказ №

Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика»
426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Лицензия на издательскую деятельность ЛУ №084 от 03.04.00.
<http://rcd.ru> E-mail: borisov@uni.udm.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
